

Кн. 107

Новый Журнал

Июнь
1972

НОВЫЙ Журнал

107

THE NEW REVIEW

THE NEW REVIEW Новый Журнал

Основатели — М. Алданов и М. Цетлин — 1942

С 1946 по 1959 редактор М. Карпович

С 1959 по 1966 редакция: Р. Гуль, Ю. Денике, Н. Тимашев

Тридцать первый год издания

Редактор: РОМАН ГУЛЬ
Секретарь Редакции: ЗОЯ ЮРЬЕВА

NEW REVIEW, June 1972
Quarterly, No. 107
2700 Broadway, New York, N.Y. 10025
Subscription Price \$15. — for one year
Publisher: New Review Inc.
Second Class Mail postage paid
at New York N.Y.

О Г Л А В Л Е Н И Е

<i>Гайто Газданов</i> — Переворот	5
<i>Х. Стихи из СССР</i>	36
<i>В. Шаламов</i> — Город на горе	38
<i>Н. Моршен</i> — Стихи	50
<i>Е. Валентинов</i> — Антисинтетические лучи	52
<i>О. Ильинский</i> — Стихи	62
<i>Ю. Иваск</i> — Упоение Достоевского	64
<i>Дм. Кленовский</i> — Стихи	76
<i>Вл. Ильин</i> — Вячеслав Иванов	78
<i>Ив. Елагин</i> — Стихи	87
<i>Е. Каннак</i> — Неизвестные письма Тургенева	89
<i>И. Чиннов</i> — Стихи	100
<i>В. Вейдле</i> — Эмбриология поэзии	102
<i>М. Волин</i> — Стихи	141

ВОСПОМИНАНИЯ И ДОКУМЕНТЫ:

<i>Р. фон Раупах</i> — Террор с двух сторон	142
<i>Бунин о себе и своем творчестве</i> (Публикация М. Грин) . .	161
<i>Н. Резникова</i> — А. М. Ремизов	171
<i>Д. Шуб</i> — Из давних лет	179
<i>Инструкция НКГБ</i>	193

ПОЛИТИКА И КУЛЬТУРА:

<i>А. Авторханов</i> — Вечный Микоян	200
<i>Г. Андреев</i> — После Толстого	215
<i>Г. Струве</i> — Как составлялась антология «Якорь»	222
<i>В. Перелешин</i> — Русские дальневосточные поэты	255

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ:

<i>И. А. и В. Н. Бунины в канун эмиграции</i> (публикация Л. Зурова)	263
<i>Проф. А. Соловьев</i> — О Ченстоховской иконе Богоматери .	264
<i>Проф. А. Соловьев</i> — П. И. Чайковский и его музыка . . .	266

БИБЛИОГРАФИЯ: А. Авторханов — Д. Анин. Революция 1917 г. глазами ее руководителей. Р. Плетнев — А. Г. Достоевская. Воспоминания. Т. Сорокина — Записки РАГ т. 5. Б. Нарциссов — Вл. Корвин-Пиотровский. Поздний гость. А. Раннит — В. Перелешин. Южный дом. О. Сорокина — G. Struve. Russian Literature under Lenin and Stalin. С. Крыжицкий — А. Rothberg. A. Solzenitsyn. The Major Novels. Е. Климов — Фрески Ферапонтова монастыря. И. Шведе — А. Шилева. Б. Зайцев и его беллетризованные биографии. Ю. Иваск — М. Цветаева. Несобранные стихотворения. С. Крыжицкий — Е. Олицкая. Мои воспоминания. С. Крыжицкий — Вл. Максимов. Семь дней творения. Б. Нарциссов — В. Злобин. Тяжелая душа. Ю. Сречинский — Half a century of Russian Serials, 1917-1968. Б. Нарциссов — М. Каратеев. Арабески истории. Книги для отзыва.

ПЕРЕВОРОТ

Автомобиль президента республики выехал из города в четыре часа дня, в пятницу второго августа. На его пути движение было заранее остановлено, и через несколько минут, нигде не замедляя хода, машина вынеслась на большую дорогу. Перед ней и за ней ехали мотоциклисты в белых касках и белых длинных перчатках. Дорога была совершенно пустынная. Президент ехал в свое имение, расположенное на расстоянии ста двадцати километров от столицы, на опушке леса. Он был один: его жена, сын, невестка и внучка, которой было четыре года, уже больше недели жили в имении, в ожидании его приезда.

Как это нередко с ним случалось во время путешествия, — в аэроплане, поезде, на пароходе или в автомобиле, — президент думал о том, что обычно при других обстоятельствах не приходило ему в голову. Он думал, что ему шестьдесят четыре года и что, хотя он ничем не болен, надо считать, что жизнь подходит к концу — во всяком случае она ближе к концу, чем к началу. Он думал, что ему осталось быть на своем посту еще два года, до ближайших президентских выборов, и что он давно решил не выдвигать больше свою кандидатуру. Он закрыл на минуту глаза и увидел свой собственный портрет, тот самый, который висел во всех государственных учреждениях, где он был представлен во фраке со звездой и лентой через плечо и казался гораздо моложе, выше ростом и важнее. На самом же деле он был невысокий, лы-

Недавно скончавшийся Георгий Иванович (Гайто) Газданов не успел закончить свой последний роман «Переворот». Мы печатаем то, что было им написано. Рукопись «Переворота» мы получили от вдовы Георгия Ивановича — Фаины Дмитриевны за что приносим ей глубокую благодарность. РЕД.

сеющий человек с постоянным выражением спокойной усталости в глазах. Но тот, кто, взглянув на его лицо, подумал бы, что он видит только старого и усталого человека, кто поверил бы этому выражению его глаз, совершил бы явную ошибку: президент все видел, все помнил и все замечал. Когда ему приходилось выслушивать длинный доклад, в котором было много цифр и ссылок на те или иные факты, это выражение усталости и невнимания в глазах не менялось. Но когда доклад был кончен и президент делал по этому поводу свои заключения, люди, недостаточно знавшие его, с удивлением убеждались, что он все понял, все запомнил и увидел все достоинства или недостатки доклада. То, что было еще одной его особенностью, — что он никогда не выходил из себя, не терял хладнокровия ни в каких обстоятельствах и сразу отличал важное от второстепенного. Это знали все, кому приходилось иметь с ним дело. Но то, чего не знал никто и что президент тщательно скрывал от всех, — это постоянное презрение, которое он испытывал по отношению к большинству его подчиненных в государственном аппарате, начиная от министров и кончая депутатами парламента. И за всю свою долгую жизнь он знал только несколько человек, которые действительно заслуживали уважения: в их числе было несколько его единомышленников и почти столько же его политических врагов.

Сейчас, сидя в автомобиле, он думал еще о том, что, в сущности, его политическая карьера была результатом целого ряда случайностей: у него никогда не было ни особенного честолюбия, ни стремления к власти. Все получилось как-то само собой и почти против его желания. Он просто был умнее и способнее большинства своих современников, с ним было легче работать, он никогда не принимал нелепых решений, продиктованных принципами той или иной политической теории, и всегда делал именно то, что нужно и что внушалось ему здравым смыслом, а не так называемыми государственными идеями. Его политические противники обвиняли его в том, что у него не было программы и определенных убеждений, необходимых для всякого человека, занимаю-

щего сколько-нибудь значительный пост в стране. Несколько лет тому назад, когда он был назначен министром финансов, лидер оппозиции, выступая в парламенте, обвинил его именно в этом. Он стветил:

— У моего предшественника была прекрасно разработанная политическая программа и вполне определенные взгляды на то, как должна идти экономическая эволюция государства. Я не хочу критиковать ни его программу, ни его экономические концепции. Но я констатирую, что положение нашей страны катастрофично, что никогда не было такого количества банкротств и закрывшихся предприятий, что безработица достигла угрожающих размеров и наш престиж за границей резко понизился. Нам не нужна программа, продиктованная политическими соображениями или та или иная экономическая доктрина: нам нужны результаты.

В сравнительно короткое время он этих результатов добился, несмотря на глухое сопротивление большинства министров. Его поддержал только тогдашний президент республики, оказавший ему доверие. Он произвел девальвацию валюты и понизил налоги, что вызвало бурное сопротивление остальных членов правительства, считавших, что это подорвет бюджет и приведет государство к банкротству. Но понижение налогов, сопровождавшееся одновременно повышением жалованья рабочим и служащим, вызвало, наоборот, быстрый экономический подъем и сумма налоговых поступлений значительно превысила самые оптимистические предположения так называемых экспертов. Это продолжалось год. Потом президент республики погиб в аэропланной катастрофе, правительство сменилось, и он перестал быть министром. На следующих президентских выборах он, собственно против желания, согласился, чтобы была выдвинута его кандидатура — и был избран незначительным большинством голосов.

Пребывание на посту президента было для него крайне тяжелым. Он не любил той обязательной пышности, которая его окружала, телохранителей, которые следовали за ним повсюду, отрядов гвардии, выстроенных там, где он появлялся, огромных комнат и зал президентского дворца. Он

убедился очень скоро в том, что ни одному из своих министров он не мог доверять и было просто невозможно предвидеть те ошибки, которые совершали члены его правительства и которые надо было исправлять.

За два года состав правительства менялся несколько раз, но это не улучшило положения. В конце концов он пришел к убеждению, что правительство почти всегда состоит из людей, большинство которых органически неспособно справиться со своими задачами, и что, по-видимому, это незыблемый закон, борьба против которого невозможна. Но несмотря на это убеждение он продолжал действовать так, как этого требовал его долг, не государственный долг, который он считал бессодержательным и крайне расплывчатым понятием, а долг элементарной порядочности и то доверие, которое ему оказали миллионы его избирателей. Он очень уставал к концу каждого дня. Но эта усталость объяснялась не его работой, как таковой, а непрерывной и неизбежной борьбой против глупости, которой он был окружен со всех сторон. Об этом он не мог говорить ни с кем, он никому не мог сказать, что он думает на самом деле, и что никогда не фигурировало в его речах и официальных выступлениях.

Когда посол небольшого балканского государства во время церемонии вручения вверительных грамот говорил ему, что дружба их двух стран один из надежных факторов мира в Европе, он не мог ему ответить так, как бы хотел, то есть, что ни его страна, ни это балканское государство никакой роли в международной политике не играют и не могут играть, и мир или война от них совершенно не зависят. Он не мог ему сказать, что если посол это понимает, то этого не следует говорить, а если он этого не понимает, то тем более об этом лучше молчать. И в своем ответе, сглаживая то, что сказал посол, он подчеркивал необходимость культурного и экономического сотрудничества и стремления, в меру сил и возможностей, всячески способствовать взаимопониманию между разными странами. Это тоже были идиллические пожелания, иллюзорность которых была очевидна, но это все-таки было умнее того, что говорил посол.

Потом он подумал о том, что не стоит все время уделять свое внимание этим бесконечным проблемам, в разрешении которых или в попытках их разрешения состояла его деятельность. Теперь он ехал отдыхать. Его ждали дома его жена, сын, молодой инженер, и маленькая внучка, четырехлетняя белокурая девочка с большими синими глазами. Его ждал его кабинет с окном, из которого были видны деревья, и его письменный стол, на котором со времени его последнего приезда лежала книга Маккиавелли, которую он перечитывал после многолетнего перерыва. Его ждала, наконец столовая, где к обеду и ужину подавались простые блюда, которые он любил больше всего. Правда, были телефонные звонки из столицы и телеграммы, но это бывало сравнительно редко. Эти августовские недели были единственными в году, когда президент действительно по-настоящему жил и отдыхал, и когда он переставал чувствовать ту тяжелую усталость, которая была неизбежна во время его пребывания в президентском дворце, после докладов, совещаний с министрами, приемов и официальных обедов.

Автомобиль въехал наконец через отворенные железные ворота в аллею, которая вела к его дому. Навстречу президенту вышла вся его семья, и впереди всех бежала к нему маленькая девочка, которая уже через минуту была у него на руках. Был шестой час вечера. Небо было все в темных дождевых облаках, и через несколько минут блеснула молния, раздался удар грома и началась летняя гроза. Дождь шумел по листьям деревьев, в комнатах стало темно, и когда он вошел в свой кабинет, на его столе уже горела лампа со знакомым зеленым абажуром.

Дождь шел весь вечер и часть ночи. Ложась в постель, после позднего ужина, президент слышал его привычный шум за закрытыми ставнями, через створки которых время от времени были видны вспышки молнии. Но когда он проснулся на следующее утро, все было освещено ярким летним солнцем. Здесь, далеко от столицы, в его доме, в лесу все приобретало особенный вкус: утренний кофе, горячий влажный запах земли

и леса и тот особенно вкусный воздух, которого не было в городе.

В десять часов утра президент вышел на прогулку в лес. Сделав несколько шагов, он по привычке обернулся и увидел, что на расстоянии пятнадцати-двадцати метров от него шли два его телохранителя, атлетические люди с невыразительными лицами, которых никогда нельзя было заставить врасплох и которые стреляли без промаха. Они шли по двум сторонам лесной тропинки, коотрую выбрал президент для своей прогулки. Он все больше и больше углублялся в лес. Тишина прерывалась только редким криком птиц, в воздухе еще чувствовалась влага после вчерашней грозы. Президент приблизился к небольшой сторожке, построенной в глубине леса, где никто не жил, но где иногда лесники укрывались от непогоды. Перед сторожкой вместо скамейки или стульев стояли два широких пня. На одном из них сидел бедно одетый человек в кепке, с небритым лицом. Когда президент поровнялся со сторожкой, этот человек встал, снял кепку, поклонился и сказал:

— Здравствуйте, господин президент.

Президент не заметил, как рядом с ним оказались тотчас же оба телохранителя.

— Здравствуйте, — ответил он. — Вы хотите обратиться ко мне с какой-нибудь просьбой? Если я могу вам помочь, я с удовольствием это сделаю.

Один из телохранителей быстрыми, привычными движениями обыскал карманы человека в кепке и сказал вполголоса своему коллеге:

— Он не вооружен.

Человек в кепке совершенно спокойно отнесся к тому, что его обыскали и с выражением легкой насмешки взглянул на телохранителя. Потом он сделал особенный жест рукой, выразивший одобрение. И только после этого, обратясь к президенту, сказал:

— У меня действительно к вам просьба, господин президент, но несколько особенного характера, — не такая, как вы, вероятно, думаете.

И голос и манера говорить этого человека совершенно не соответствовали его внешнему облику. Президент подумал, что так может говорить только по-настоящему культурный человек, а не бедно одетый лесник. И ему показалось, что он уже где-то слышал этот голос. Но человека этого никогда не видел, в этом он был уверен.

— Моя просьба, — продолжал человек в кепке, — следующая: я буду вам чрезвычайно признателен, если вы мне уделите четверть часа вашего времени для очень важного — так, по крайней мере, мне кажется — разговора.

— Я к вашим услугам, — сказал президент и сел на один из пней перед сторожкой. Затем он обратился к телохранителям и сказал: — Вы свободны, вы можете вернуться сюда через полчаса.

Телохранители бесшумно исчезли. Человек в кепке посмотрел туда, где они только что были, и сказал:

— Господин президент, ваши телохранители недалеко и вашего приказа они не выполнили. Должен сказать, что они поступают правильно. То, что вам не угрожает никакая опасность, они это знают так же хорошо, как вы и я. Но покинуть вас они не имеют права, и это, в конце концов, понятно.

Голос этого человека и то, как он говорил, невольно располагали к себе. Президент почувствовал, не отдавая себе отчета в том, почему именно, какое-то мгновенное облегчение — с этим человеком можно было говорить свободно, хотя он меньше всего был похож на собеседника президента республики.

— Вы знаете, — сказал он, — это постоянное пребывание под охраной меня утомляет. Это одна из тягостных вещей, неизбежных в моей должности. Что делать? Изменить этого нельзя. Я сократил, насколько мог, число людей, которые должны меня охранять, но видите, отменить это невозможно. Да, так что вы мне хотели сказать?

— Я хотел вам сказать, господин президент, что вы должны уйти в отставку.

Президент внимательно посмотрел в глаза человеку в кепке. Это были спокойные глаза, в которых не было ни гнева,

ни угрозы, ни сколько-нибудь напряженного выражения. Кроме того, эти слова были сказаны с явным убеждением в голосе, с уверенностью в том, что это именно то, что надо сделать.

Президент не возмущился, остался совершенно спокоен.

— Вы говорите это серьезно?

— Вполне.

— И вы отдаете себе отчет в значении того, что вы сказали?

— Я очень долго это обдумывал, господин президент.

— Прежде чем вам ответить, — сказал президент, — я хотел бы знать, с кем я говорю. Вы, конечно, не тот, кем вы можете показаться. Вы не лесник. Вы решили изменить вашу внешность, но вас выдает ваш голос и ваша манера говорить. Их вы не изменили — вероятно, потому, что не нашли нужным это сделать. Но скажите, пожалуйста, где и когда я мог слышать ваш голос? Мне кажется, что я никогда вас не видел. Но голос ваш я помню.

— Это делает честь вашей памяти, господин президент, — сказал человек в кепке. — Тем более, что мой голос вы могли слышать только один раз в вашей жизни. Это было десять лет тому назад, когда я произносил речь в парламенте. Вас не было тогда в палате депутатов, и я предполагаю, что мою речь вы слышали по радио.

— Вот в чем дело! Теперь я вспомнил, — сказал президент. — Я помню даже вашу речь, вы в ней цитировали слова Токвиля: — «главная цель хорошего правительства должна заключаться в том, чтобы мало-помалу приучить народ обходиться без него».

— Совершенно верно, — сказал человек в кепке, улыбаясь и обнажая белые, правильные зубы.

— Но потом вы исчезли, — сказал президент.

— Я уехал за границу, — сказал человек в кепке. — Я жил в Америке, в Англии, в Германии, в Швейцарии. В нашу страну я вернулся сравнительно недавно.

— Вы — Роберт Вильямс! — сказал президент. — Теперь я вспомнил. У вас была довольно бурная личная жизнь. Вы англичанин по происхождению. Вы были женаты на кинема-

тографической артистке, потом была история с разводом, кажется, в Калифорнии, затем участие в какой-то авиационной компании. Я все это в свое время читал в газетах. Но политической деятельностью вы не занимались до последнего времени, насколько я знаю.

— Ваши сведения совершенно точны, — сказал человек в кепке. — Все обстояло именно так, как вы говорите. Единственно, что к этому следует добавить, это что моя политическая, вернее, антиполитическая деятельность, вероятно, начнется в ближайшем будущем.

— Насколько я понимаю, она начинается с того, что вы требуете, чтобы я ушел в отставку. Согласитесь, что это очень необычный подход к делу, и другой президент на моем месте мог бы подумать, что он имеет дело с явно ненормальным человеком. Но я этого не думаю. Я не думаю также, что вы представляете какую-либо террористическую организацию. Теперь — объясните мне, пожалуйста, почему я должен уйти в отставку и для чего вам эта отставка нужна?

— Господин президент, — сказал человек в кепке. — Я не буду излагать вам содержание политического трактата, в котором были бы выражены мои взгляды и знакомство с которым могло бы вам дать обстоятельный и исчерпывающий ответ на ваш вопрос. Я постараюсь все это сказать в нескольких словах.

— Я вас слушаю, — сказал президент.

— Господин президент, думали ли вы когда-нибудь о том, что представляет собой государственная система страны, во главе которой вы стоите? Этот вопрос может вам показаться наивным. Но я убежден, что у вас просто не было времени для этого. Вы настолько заняты текущими делами, что ваша работа просто лишает вас возможности думать об этом. Но этому стоит уделить внимание. Я сказал — государственная система, это просто общепринятое выражение. Но если вы дадите себе труд подумать об этом, вы убедитесь в том, что эта государственная система, то есть какая-то структура, внушенная вполне определенной программой или концепцией государства, не существует.

— Есть законы, парламент, разделение власти и то, что называется государственным и административным аппаратом. Все это не пустые слова.

— Совершенно верно. Но это не есть результат осуществления вполне определенной государственной концепции. И вы и ваше правительство в том виде, в каком оно существовало до вас и в каком оно продолжает существовать — это чисто внешний аспект вещей, это форма, в которую облечена так называемая государственная власть, так же, как ваша конституция есть, в конце концов, перечень пожеланий ваших предшественников. Но как обстоит дело в действительности? Жизнь страны, ее внешняя политика, ее экономическая система, благосостояние или отсутствие благосостояния ее граждан, деятельность суда, распределение наиболее важных и ответственных должностей в государстве — все это не определяется ни конституцией, ни законами, ни теми или иными политическими принципами. Все это определяет правительство.

— Разрешите вам напомнить, что оно именно для этого и существует.

— В этом я не могу с вами согласиться. Правительство теоретически существует для того, чтобы править страной в соответствии с основными законами и демократическими принципами, а не для того, чтобы толковать их так, как оно находит нужным, и тем более не для того, чтобы действовать в нарушение этих законов или принципов.

— Вы говорите об идеальном правительстве. Но идеального правительства нет, и в истории человечества его никогда не было. Бывают правительства более плохие и менее плохие. В этом смысле у меня нет иллюзий.

— Господин президент, вы сказали только что очень важную вещь: вы сказали, что у вас нет иллюзий. Если это так, если у вас действительно нет иллюзий — не думаете ли вы, что в этом случае вы не имеете морального права быть президентом?

— Нет, — сказал президент, — я этого не думаю. Наоборот, по-моему, самые неподходящие для власти люди это именно те, у кого есть иллюзии. Возьмите, например, так на-

зываемых революционеров. Если им удастся захватить власть, они начинают с провозглашения свободы, в которое многие из них искренне верят. Но через некоторое время с неумолимой неизбежностью это приводит к террору, диктатуре и нищете. Два наиболее известных примера — французская революция 1789 года, октябрьская революция 17-го года в России.

— Нельзя же все-таки сравнивать Робеспьера и Ленина?

— Их историческая судьба была разной. Но и тот и другой ввели в стране террор. У того и у другого были иллюзии — правда, неодинаковые.

— Вы забываете, что оба были фанатиками.

— Именно потому, что у них были иллюзии.

Человек в кепке пожал плечами и сказал:

— Если бы у нас было больше времени, этот разговор можно было бы продолжить. Но это мы сделаем как-нибудь в другой раз, если позволят обстоятельства. То, что я хотел бы вам сейчас сказать, это другое. Я хотел бы вам ответить на ваш вопрос — зачем мне нужна ваша отставка. Ваша отставка нужна мне потому, что вы единственный человек в правительстве, которого нельзя упрекнуть ни в личной заинтересованности, ни в чем-либо другом, в чем можно было бы обвинить человека, занимающего ваш пост и имеющего такую власть, как вы. Вы знаете, однако, что ваше правительство состоит из людей, которые не только не заслуживают доверия или уважения, но каждому из которых место на скамье подсудимых. Ваш министр финансов — взяточник и вор. То же самое можно сказать о премьер-министре. Остальные не лучше, вы это знаете так же хорошо, как и я. Я уже не говорю о том, что среди них нет ни одного человека, который по своим способностям и знаниям подходил бы для того места, которое он занимает. Вы только что говорили, что бывают правительства более плохие и менее плохие. Согласитесь, что ваше правительство относится к первой категории. Вы стоите во главе страны, но при существующей системе вы это положение изменить не можете. Вы можете назначить других министров, но тот человеческий материал, который есть в

вашем распоряжении, это родные братья тех, кого вы можете сменить. Полная перемена правительства не приведет ни к каким положительным результатам, все будет продолжаться по-прежнему. Ваша роль останется такой же, как сейчас: в меру возможностей ограничивать злоупотребления доверием избирателей. Вы понимаете, что этого недостаточно. Надо радикально изменить существующую систему и главное — нужно поставить всюду новых людей.

— Другими словами, произвести революцию?

— Нет, господин президент, к революции я отношусь не менее отрицательно, чем вы. Не революцию — перемену. Мы не отменим ни частной собственности, ни демократических принципов, мы не упраздним свободы и мы чрезвычайно далеки от идеи террора и диктатуры. Но невежественных и нечестных людей мы заменим людьми компетентными и порядочными.

— Где же вы их найдете?

— Они есть, господин президент.

Президент молча и внимательно смотрел на своего собеседника. Несмотря на необычность этого разговора, на невероятное требование отставки, на высказывания, с которыми президент не был согласен, он испытывал по отношению к человеку в кепке явную и несомненную симпатию. Но он был убежден, что его собеседник неправ. Он сказал:

— Вы говорите, что у вас есть порядочные люди, которые могут занять места недостаточно честных и недостаточно компетентных министров. Теоретически я готов это допустить. Но думали ли вы когда-нибудь о том — теперь моя очередь поставить вам вопрос — что порядочность и компетентность не могут рассматриваться как качества, неизменные при всех обстоятельствах? Человек может быть честен и компетентен вообще, но поставьте его в исключительные условия и, в особенности, дайте ему власть — и вы увидите, что этого испытания он не выдержит. Власть меняет людей — и далеко не к лучшему. Это немного похоже на поведение людей в бою. Вы хорошо их знаете, но вы заранее не можете сказать, кто

из них окажется достойным вашего доверия и кто, в последний момент, будет вести себя как трус. Вы были на войне?

— Я был добровольцем в британской армии.

— Значит, вы это знаете.

— Несомненно. Но, господин президент, разрешите мне привести один пример того, насколько ваши рассуждения в некоторых случаях могут оказаться неверны. Мы знаем, что вы лично человек компетентный и совершенно порядочный. Об этом свидетельствует вся ваша политическая карьера. Теперь вы президент республики, но ваша порядочность осталась такой же, какой она была всегда. Никакая власть этого не могла изменить.

— Вы думаете, что мне никогда не приходится идти на компромиссы с моей собственной совестью?

— Нет, я не так наивен. Но я знаю, что вы никогда этого не делаете в ваших личных интересах. Вы это делаете в интересах страны — так, как вы их понимаете.

— Дорогой мой Вильямс, — сказал президент, первый раз называя так своего собеседника, — я вам благодарен за этот разговор — я ни с кем никогда не могу так говорить. Но вы мой политический враг, насколько я понимаю. Вы мне поставили требование — уйти в отставку. Я это требование отклоняю. Не потому, что я хочу во что бы то ни стало оставаться президентом республики, видит Бог, что это меня меньше всего соблазняет и я был бы рад остаться здесь, в моем маленьком доме и никогда не возвращаться в президентский дворец. Если бы я был уверен, что моя отставка и то, что за ней последовало бы, то есть ваш приход к власти, дали бы положительные результаты и привели бы к улучшению того, что есть, я завтра же ушел бы с поста президента. Но я убежден, что это не только не улучшило бы положения, а кончилось бы катастрофой. Поэтому я отказываюсь подать в отставку. И если вы намерены действовать путем вооруженного восстания, то я вас предупреждаю, что это восстание я подавлю. Но я не хотел бы, чтобы вы при этом пострадали. Я думаю — откровенность за откровенность — что вы тоже

порядочный и честный человек, и мне вас было бы жаль. Поэтому я вам предлагаю — я значительно старше вас, вы могли бы быть моим сыном, — отказаться от ваших проектов.

И президент поднялся с пня, на котором сидел. Человек в кепке тоже встал и сказал:

— Разрешите вас поблагодарить за то, что вы позволили мне изложить вам мои соображения. Я, признаться, и не рассчитывал на ваше немедленное согласие с тем, что я вам предложил. Я знаю, что на это мало шансов. Но я бы хотел ответить на ваше последнее предположение о возможности вооруженного восстания. Оно вам не угрожает. Я слишком люблю мою страну для того, чтобы начать нечто вроде гражданской войны, которая неизбежно повлекла бы за собой гибель ни в чем неповинных людей. Я также далек от мысли о террористических актах, так как нахожу, что это в одинаковой степени глупо и преступно. Нет, господин президент, мы будем действовать иначе, и можете быть уверены, что вам лично с нашей стороны не угрожает никакая опасность. Но действовать мы будем. Не против вас, а против государственной власти, которая недостойна того, чтобы ее возглавлял такой человек, как вы. Еще раз спасибо и желаю вам всего хорошего.

— До свиданья, — сказал президент, и в голосе его слышалось сожаление. Он сделал несколько шагов дальше по той тропинке, с которой начал свою прогулку и которая проходила мимо сторожки. Человек в кепке смотрел ему вслед. Через несколько секунд мимо него прошли бесшумно, как тени, два телохранителя президента.

Президент вернулся с прогулки тогда, когда был накрыт стол для обеда. Его повар остался в столице, а здесь, в его имении, готовила кухарка, жительница ближайшей деревни, которая все никак не могла привыкнуть к тому, что хозяин, которого она знала столько лет и которому она рассказывала о своих семейных делах, стал президентом республики. Но то, что она знала твердо, это, что он не изменился. Совершенно

так же, как не изменились и вкусы, его любимые блюда остались теми же самыми, и поэтому к обеду она приготовила жареную курицу с ароматными травами. Разговор за столом шел о незначительных делах: сын президента рассказывал о проекте нового аппарата, который должен был, по его словам, совершить революцию в области точной механики, жена президента говорила, что крестьяне жалуются на плохое и дождливое лето. — Ты не заметила, — сказал президент, — что крестьяне всегда жалуются? Если идут дожди, они жалуются на излишнюю влажность, если нет дождей, на то, что слишком сухо. И в том и в другом случае они правы. Не потому, что это всегда соответствует действительности, а потому, что так нужно говорить. Это как коммерсанты и промышленники, которые всегда говорят, что их дела идут плохо. Если бы они вдруг начали говорить, что все обстоит хорошо, это было бы неестественно...

После обеда президент прошел к себе, сел в кресло и взял книгу Макиавелли. Он начал читать «Il Principe», но через некоторое время отложил книгу и задумался. Этические соображения в трактате Макиавелли, думал он, не играют никакой роли. Нет ни следа осуждения Цезаря Борджиа, который там упоминается, место которому на виселице. Нет, в сущности, отвлеченных рассуждений, все диктуется принципами целесообразности, успеха, выгоды, но нет заботы о народе. Все сведено к практическим понятиям. Философия истории есть только в той мере, в какой можно сказать, что то или иное поведение «государя» способствует процветанию его страны — достигнутому любыми средствами — или к обеднению и гибели. Но истории, как таковой, в этом трактате нет. Нет также соображений о возможности сколько-нибудь бескорыстных поступков — на благо подданных. Когда президент в свое время читал книгу Макиавелли первый раз, — это было очень давно, еще в его студенческие годы, — она казалась ему замечательной. Теперь он с удивлением спрашивал себя, чем могло быть вызвано это его тогдашнее впечатление.

Он вспомнил свой разговор с человеком в кепке. Конечно, тот был во многом прав — но этого недостаточно, чтобы пра-

вить страной, — думал президент. Надо найти какое-то равновесие между положительными и отрицательными вещами, вернее, не равновесие, а сдерживающее начало для вещей отрицательных. Конечно, министры, входящие в его правительство, не отличались ни блестящими умственными качествами, ни безупречной порядочностью. Конечно, у большинства их не было и той компетентности, о которой говорил человек в кепке, и, конечно, было нелепо, что министр иностранных дел не знает ни одного иностранного языка. Президенту вспомнился давний разговор Клемансо с иностранным дипломатом, который пожаловался ему на то, что один из его министров не знал, что такое Нантский эдикт. — Если бы я брал в правительство только людей, знающих что такое Нантский эдикт, то откуда я взял бы министров? — ответил Клемансо.

Да, конечно, правительство было плохое. Но другое правительство, которое состояло бы из представителей оппозиционных партий, было бы не лучше, если не хуже. Эти люди были в оппозиции потому, что они хотели занять места тех, против кого они вели парламентскую борьбу. Тут Макиавелли оказался бы прав, если бы он пустил в ход свои обычные соображения. Ни об истории, ни о благе страны, ни о народе никто из них не думал. Правда, в своих выступлениях они всегда ссылались именно на благо страны и интересы народа, но кто, кроме самых наивных людей, мог им верить? Если бы у нас была половина тех, кто, по их словам, их поддерживает, они давно уже были бы у власти.

— Гармоническое развитие страны, при котором все граждане были бы довольны, при котором торжествовала бы социальная справедливость, при котором было бы перераспределение налогов и богатые платили бы за бедных, при котором все были бы равны перед законом — вот та программа, которую мы осуществим, когда придем к власти.

Президент очень хорошо помнил эту речь лидера демократической партии. Конечно, такая программа была совершенно неосуществима, и лидер демократической партии знал это так же хорошо, как его политические противники. Никогда

не было и не могло быть политического режима, при котором все граждане были бы довольны своей судьбой и своим положением. Интересы одних граждан шли вразрез с интересами других, и это даже не было, строго говоря, классовой борьбой: конкуренты в той или иной области были не менее враждебно настроены друг к другу, чем их рабочие и служащие. Перераспределение налогов — первой жертвой которого, кстати говоря, стал бы лидер демократической партии, видный адвокат и очень состоятельный человек — то есть повышение за счет более обеспеченных слоев населения, привело бы к застою в делах, уменьшению капиталовложений, сокращению спроса на труд и безработице. Конечно, нельзя было не считать возмутительным и несправедливым то, что владелец автомобильного завода за одну ночь, проведенную в игорном доме, мог истратить столько, сколько чернорабочий его фабрики зарабатывал тяжелым трудом за годы и годы работы. Но что можно было сделать? Брат владельца завода, второй собственник этого предприятия, был депутатом парламента — кстати говоря, совершенно приличный и порядочный человек, дядя владельца был сенатором. Конечно, завод можно было бы национализировать, но общее положение от этого не улучшилось бы, а ухудшилось, так как национализированные предприятия всегда дают убыток, а не выгоду.

Конечно, состав парламента оставлял желать лучшего, так же и по тем же причинам, что и состав правительства. Конечно, исход прений в парламенте был предreshен заранее, так как правительство располагало большинством, и парламентская система в данном случае себя не оправдывала. Но какая государственная система себя оправдывает? Любая — при условии, что власть находится в руках порядочных и бескорыстных людей — как об этом говорил человек в кепке. Монархия — если во главе страны стоит умный и либеральный монарх. Даже диктатура теоретически может быть вполне приемлемой формой правления, но для этого нужно, чтобы диктатор был умен, культурен и справедлив. К сожалению, диктаторы такими не бывают. Гитлер был невежественным фанатиком, настолько не разбирающимся в, так называемых,

народных проблемах и особенно в вопросе о соотношении сил, что был убежден, что Германия может выиграть войну против такой коалиции, как США, Англия и Советский Союз. Сталин был еще хуже, еще невежественнее, еще фанатичнее и, кроме того, страдал гипертрофической формой мании преследования. Италия Муссолини, это был мираж, который рассыпался при первых же серьезных затруднениях, когда выяснилось, что итальянцы слишком умны, чтобы придавать значение фашистской идеологии и особенно защищать то, во что они не верили, считая, что это слишком глупо. Президент подумал, что задача «государя» — если пользоваться терминологией Макиавелли, — заключается в том, чтобы по возможности ограничивать то неизбежное зло, которое, в общем, условно можно назвать государственной властью. Строить лучшее будущее — да, конечно, но не иллюзии и не утопии. Человек в кепке, — мысль президента неизменно возвращалась к нему, — во время этого разговора в лесу, не сказал ни одной глупости. — Этим он отличается, — подумал президент, — и от лидеров оппозиции и от министров. То, о чем он говорил, было теоретически возможно и осуществимо. Но только теоретически.

Президент поймал себя на том, что он испытывает по отношению к этому человеку противоречивое чувство — симпатию и одновременно с ней зависть. Как хорошо верить в то, что все можно улучшить, сделать более справедливым — то, во что, по-видимому, верил этот человек, его политический враг. Но если бы он знал все, что знал президент...

В это время в его кабинет вошла четырехлетняя внучка. У этой маленькой девочки были синие глаза и совершенно белые волосы, и президент прозвал ее Blanchette еще когда ей был год. С тех пор все ее так называли. Она вошла в кабинет, взобралась на колени к президенту и сказала:

— Что ты делаешь?

— Ничего, — сказал президент, улыбаясь, — я думаю о том, что когда ты себя хорошо ведешь, то это очень приятно.

— А ты тоже хорошо себя ведешь? — спросила девочка.

— Я стараюсь, — сказал президент.

— И тебе никто ничего не говорит?

— Нет, иногда говорят.

— Ты никого не боишься?

— Боюсь, — сказал президент.

— Кого ты боишься?

— Мамы.

— Не надо ее бояться, — сказала Blanchette. — Она хорошая.

— Ну, если ты так говоришь, то я больше не буду ее бояться.

Внучка соскользнула с его колен и убежала. Президент смотрел ей вслед и видел, как она перебирала своими маленькими ножками в белых коротких чулочках и красных туфельках. Добежав до порога, она начала подпрыгивать и потом исчезла. И тогда он подумал, что судьба и здоровье этой маленькой девочки, его внучки, были для него бесконечно важнее, чем любые государственные соображения, исход любой войны, состав и участь его правительства и его президентский пост.

Шла четвертая неделя августа. Лето выдалось сухое и жаркое, но там, где жил президент, жары не было; кругом был густой лес, недалеко протекала река и в доме было прохладно. Вся страна, как это казалось отсюда, будто бы погрузилась в долгий летний сон. Ничего не происходило, событий не было, была ежедневная хроника повседневных и неизменных происшествий — ограбления, кражи, пожары, но они волновали только тех, кто становился их жертвами, и давали материал для третьей страницы газет. Правительство бездействовало, большинство министров проводило лето далеко от столицы — одни на берегу моря, другие в горах, третьи за границей. В государственных учреждениях все шло в замедленном ритме, особенно важные решения откладывались до конца лета. Газетные репортеры присылали длинные статьи о том, как проводит свой отпуск знаменитая кинематографическая артистка и каковы ее проекты на предстоящий сезон.

Были интервью с некоторыми спортсменами, но особенным успехом пользовалась, как всегда, длинная серия статей неутомимого журналиста, который рассказывал о судьбе бывших знаменитостей. Выяснилось, что прежняя героиня мелодраматических фильмов, красавица с неотразимым взглядом, живет теперь в богадельне, забытая всеми. Описывались ее приемы, ее гастроли в Париже, Лондоне, Нью-Йорке, ее поклонники, женихи и мужья, ее вилла на Ривьере, ее дом в Неаполе, все, от чего остались только сожаления и воспоминания. После этого шла статья о бывшем чемпионе мира среднего веса, владельце скаковой конюшни и нескольких ночных кабаре; судьба была к нему не менее беспощадна, и теперь он был вынужден работать ночным сторожем в гараже и жаловался на недомогания и ревматизм. Этот же журналист описывал свою встречу с одним из самых известных в свое время людей, ценителем особенно изысканных блюд и самых лучших вин: прежде одного его мнения было достаточно, чтобы обеспечить доходы крупного ресторана или, наоборот, повлечь за собой резкое уменьшение его клиентуры. Журналист встретил его утром в кафе, куда тот приходил читать газеты, — и спросил его, какое меню он предпочитает к обеду и что он находит наиболее подходящим для ужина. Журналист писал:

— Передо мной сидел небрежно одетый старик с потухшими глазами. Он посмотрел на меня невыразительным взглядом и сказал:

— Молодой человек, вы не могли бы задать мне более подходящего вопроса?

— Почему вы считаете мой вопрос неподходящим?

— Потому, — сказал он сердито, — что мои почки и моя печень ни к чорту не годятся, и если я пообеду и поужинаю так, как я обедал и ужинал раньше, то это будет моей собственной похоронной трапезой. На следующий день после этого я совершу мое последнее путешествие — на кладбище. Запомните одно, молодой человек: самый замечательный роман Бальзака называется «Шагреновая кожа». Нет ничего опаснее,

чем то, о чем все мечтают и что называется исполнением желаний. Ничто не проходит безнаказанно и за все приходится жестоко расплачиваться. Я слишком много и слишком хорошо ел в моей жизни. И вот результат — я старая развалина, неспособная ни к какому физическому усилию. Мои товарищи, с которыми я рос и которым столько же лет, сколько мне, плавают, делают прогулки и ведут нормальный образ жизни. Они едят устрицы и запивают их вином Пуйи или Шабли, они едят мясо, приготовленное по-бургундски, и пьют красное вино. Почему? Потому что они были умеренны в своих желаниях и потому, что у них не было тех возможностей, какие были у меня. Как, вы сказали, ваша фамилия?

Я еще раз назвал себя.

— А, — сказал старик, — это вы пишете о том, что случилось с бывшими знаменитостями? Я читаю ваши статьи. Большинство людей я знал лично. То, что вы о них сообщаете, верно, я хочу сказать, факты, о которых вы говорите. Но вы из этого не делаете соответствующих выводов.

— Мне не нужно их делать. Мне кажется, что факты сами по себе достаточно красноречивы, чтобы не нуждаться в комментариях.

— Нет, — сказал он, — этого недостаточно. Почему судьба этих людей сложилась именно так? В каждом отдельном случае для этого есть вполне определенные причины. И прежде всего та размашистая глупость, которая характеризует тех, о ком вы пишете. Вы писали, например, о знаменитой артистке, которая теперь живет в богадельне. Я был с ней хорошо знаком. Она казалась неотразимой, это верно. Но она отличалась таким душевным убожеством, такой неспособностью понять самую простую отвлеченную мысль, что говорить с ней было не о чем. Кроме того, она никогда не испытала ни одного по-настоящему человеческого чувства, никого никогда не понимала, никому никогда не помогла. Ее разорила неудачная спекуляция и ее обокрали те, кому она доверяла. Она стала жертвой своей собственной глупости и жадности. А когда ее молодость кончилась, но она, казалось бы, могла про-

должать свою карьеру, подтвердилось то, что мы знали все: у нее не было никакого сценического дарования и она была неспособна понять роль, которую ей поручали. Неотразимости же больше не оставалось, и это положило конец всей ее карьере. Вот что о ней следовало бы написать. Вы этого не сделали.

— Это было бы слишком жестоко.

— Может быть, — сказал старик. — Но всякое упоминание о ее теперешней жизни — это тоже жестокость. Мне ее было бы жаль. Но, я думаю, она даже не поняла того, что с ней случилось. И уж конечно не поняла, что если бы она была умнее, то все могло бы быть иначе.

— Вам не кажется, что вы склонны слишком мрачно смотреть на вещи?

— Нет, — сказал он. — Я вам приведу примеры людей, которые прославились и разбогатели и которые теперь, на склоне лет, ведут счастливую и спокойную жизнь. Я помню, например, одного человека по фамилии Миллер. Это был лучший форвард в Европе — вы этого не можете знать, это было давно. Его переманивали за большие деньги из одной страны в другую. Он составил себе крупное состояние — и потом ушел на покой. Никто никогда не видел его ни в ночном кабаре, ни на скаковом поле, ни в игорном доме. Никто никогда не видел его пьяным. Знаете, что он теперь делает? Он собственник нескольких доходных домов в Швейцарии и в свободное время, которого у него много, он пишет книги по истории литературы. Несколько лет тому назад, в Англии, он защитил диссертацию о Сен-Симоне. Его исключительные физические качества сочетались у него с душевным равновесием, здравым смыслом и незаурядным умом. И вот результат, вы видите.

Этот разговор дал журналисту тему для следующих статей, где обсуждался такой вопрос: в какой степени участь тех или иных людей определяется их волей, их желаниями, их способностями и целью, которую они себе ставят, и в какой степени все это зависит от случайностей, оборота со-

бытий, стечения обстоятельств? Теория о том, что все, в конце концов, чаще всего зависит от случайности, находила себе большое количество сторонников. Статьи следовали одна за другой, и только редактор газеты и ее сотрудники знали, что автор отдыхает уже второй месяц на итальянской Ривьере, недалеко от Сан Ремо, так как все свои статьи он сдал в редакцию еще до своего отъезда. Во всяком случае, статьи пользовались неизменным успехом, и их действительно читали все, начиная от президента республики и кончая низшими служащими многочисленных и разнообразных предприятий.

Тридцать первого августа, накануне своего отъезда в столицу, в четыре часа дня, у себя в кабинете президент республики повернул выключатель небольшого, но очень чувствительного аппарата радио и стал искать станцию, которая должна была передавать концерт, посвященный памяти Леонкавалло. И вдруг он услышал очень ясный мужской голос, коотрый сказал:

— Говорит радиостанция «Голос народа». Слушайте выпуск последних известий.

«Голос народа» — такой радиостанции в стране не существовало. Что это могло бы быть? По содержанию выпуска последних известий судить о политическом направлении станции было нельзя. Все было изложено с предельной отчетливостью и объективностью. После выпуска новостей раздалось несколько тактов музыки — президент тотчас же узнал 9-ю симфонию Бетховена. Затем женский голос сказал:

— Прослушайте теперь наш комментарий: «То, что кажется, и то, что есть».

Раздался низкий мужской голос. Президент сразу же понял, что говорит не спикер, а автор комментария, профессиональный журналист, именно потому, что получилось впечатление, что он не читает заранее приготовленный текст, а говорит по мере того, как ему приходят в голову те или иные мысли. Голос сказал:

— За несколько дней до начала летнего сезона я слышал по радио выступление министра финансов. Если вы разреши-

те, я напому вам в нескольких словах содержание его заявлений. В середине текущего года наш запас золота и иностранной валюты достиг своей самой высокой цифры, превышающей два миллиарда долларов. Наш вывоз покрывает наш ввоз на 89%. Курс нашей валюты — один из самых устойчивых на международной бирже. Согласно расчетам министерства финансов, бюджет данного года будет сведен с очень незначительным дефицитом, который будет, вероятно, покрыт добавочными налоговыми поступлениями.

— Вот такую идиллическую картину нашего благополучия представил министр финансов. В ней все казалось бы хорошо. Но несчастье в том, что все это совершенно не соответствует действительности. Если бы министр финансов был убежден, что положение именно таково, то это значило бы, что его место где угодно, но никак не во главе министерства финансов. Но дело обстоит хуже: министр финансов, конечно, знает, что все, что он сказал, это результат сознательной фальсификации. Он знает лучше, чем кто-либо, что запасы золота и иностранной валюты нам не принадлежат, это приток в нашу страну иностранного капитала, предназначенного отчасти для строительства предприятий, собственниками которых будут иностранные вкладчики, отчасти для разнообразных кредитных операций. Наш вывоз действительно покрывает ввоз на 89%, но это происходит потому, что мы резко сократили наш ввоз, так как у нас недостаточно денег для приобретения заграничных товаров. То, что бюджет будет сведен с дефицитом, особенной роли не играет, это повторяется каждый год. Но что приблизительно 40% этого бюджета уходит на то, что можно было бы назвать расхищением государственных средств, это тоже несомненно. Что же касается добавочных налоговых поступлений, то надо напомнить, что наши налоги пропорционально самые тяжелые в Европе и наш экономический маразм в значительной мере объясняется этой налоговой системой, которая соединяет в себе три особенности: несправедливость, глупость и невыгодность. Министр финансов заявил, что наша валюта — одна из самых устойчивых на международной бирже. Это верно — только при одном

условии: если эта валюта была заблаговременно переведена в доллары, немецкие марки или швейцарские франки и эти суммы лежат на чьем-то счету в Женеве, Базеле или Цюрихе. В этой области осведомленность нашего министра финансов не может быть подвергнута сомнению.

— Я только что сказал — продолжал голос по радио — наш экономический маразм. В отличие от заявлений министра финансов, это, к сожалению, соответствует действительности. В этом году 24% наших промышленных предприятий были вынуждены закрыться. Почему? — это ясно. Машины этих предприятий устарели, им 15-20 лет, поэтому стоимость производства слишком высока и товары стоят так дорого, что их не покупают. Чтобы поставить новые машины, нужно располагать деньгами или кредитом. Ни денег, ни кредитов нет. Предприятия закрываются, сотни и тысячи рабочих остаются на улице. Те, кто может, уезжают работать за границу. Те предприятия, которые еще работают, существуют потому, что мы облагаем высокими налогами иностранные товары, — чего не делают наши соседи. У нас нет достаточного количества квартир, нет нужного числа госпиталей, во многих местах нет даже водопровода. Но у нас есть постоянное узаконенное и незаконное расхищение средств и безмерное раздувание бюджета. Всему этому должен быть положен конец. Правительство, которое находится у власти, многократно доказало две истины: во-первых, что оно неспособно справляться с задачами, которые стоят перед ним, во-вторых, что оно недостойно народного доверия и не заслужило его. Нам нужны способные и порядочные люди. Мне кажется, что с этим требованием трудно не согласиться. И если вы с этим согласны, вывод из этого ясен: это правительство должно уйти в отставку — пока не поздно. Вот, в нескольких словах, те соображения по поводу нашего блестящего, как выразился министр финансов, экономического положения, — соображения, которые я хотел вам изложить.

После этого женский голос сказал:

— Слушайте нашу программу завтра в это же время на длине волн...

Затем опять раздались отрывки 9-й симфонии, и аппарат умолк.

Сидя в своем кресле, президент думал о том, что он только что услышал. Человек в кепке начал действовать. Конечно, если бы дело дошло до официальной реакции на эту радио передачу, было бы сказано, что это попытка оклеветать правительство и представить положение в неправильном и пристрастном освещении. Но президент знал, что автор передачи был прав. Этого не знали многие слушатели, следившие за правительственным радио, которое в свое время назвало выступление министра блестящим. Фраза о валюте, переведенной в швейцарские банки, и замечание о том, что в этой области осведомленность министра финансов не может быть подвергнута сомнению — все это имело вполне определенный смысл. Но что можно было сделать? Конституция не запрещала существование частных радиостанций. «Голос народа» ничего незаконного не сделал. Единственное, к чему можно было придраться, это была бы нелегальность радиостанции, а не содержание ее передач, даже если они носили явно выраженный антиправительственный характер.

Президент вызвал по телефону министра внутренних дел. Когда тот подошел к аппарату, президент его спросил:

— Что вам известно о радиостанции «Голос народа»?

— Господин президент, разрешите вам позвонить через десять минут, тотчас же после того, как я наведу справки.

— Другими словами, вы об этом ничего не знаете?

— Господин президент, я только что вернулся из отпуска...

— Хорошо, жду вашего звонка.

Через четверть часа министр внутренних дел позвонил:

— Господин президент, эта радиостанция начала действовать вчера, получив разрешение от моего министерства. Мой помощник говорит, что нет никаких оснований отказывать в подобном разрешении. Цель радиостанции — объективная информация о международном положении и внутренних делах страны. Радиостанция принадлежит анонимному обще-

ству, во главе которого стоит бывший депутат парламента Пальмер. Студия и помещение расположены в столице, на бульваре Свободы.

— Да, я понимаю, — сказал президент. — Я вас должен предупредить, что все это далеко не так невинно, как это вам представляется, по-видимому. Но мы об этом еще поговорим.

На следующий день, после своего возвращения в столицу, президент вызвал к себе министра внутренних дел. Это был толстый лысый человек, страдающий одышкой, агроном по образованию, бывший в свое время министром земледелия. Затем, при формировании одного из последних правительств он был назначен министром внутренних дел, и его кандидатуру защищал премьер-министр. Один из его коллег ему заметил:

— Простите, но ваш кандидат — агроном. Вы считаете, что этого достаточно, чтобы занять пост министра внутренних дел? Мне кажется, что министр внутренних дел должен быть специалистом.

— В какой области?

— Во всех — юридической, административной конституционной, социальной — все это входит в его компетенцию.

— Прекрасно, — сказал премьер-министр. — Я буду в таком случае вам чрезвычайно признателен, если вы мне представите кандидатуру человека, обладающего такой компетенцией. Я лично таких людей не встречал.

И министр земледелия стал министром внутренних дел.

Теперь он стоял перед президентом, тяжело дыша. Он сказал:

— Господин президент, в мое распоряжение поступила запись на ленте вчерашней передачи радиостанции «Голос народа». Содержание передачи таково, что мы вынуждены принять экстренные меры — радиостанция должна быть закрыта.

— На каком основании?

— На том основании, что она ведет антиправительственную пропаганду.

— Это право им дает конституция, которая гарантирует гражданам свободу слова.

— Господин президент, во вчерашней передаче резко критиковалась политика министра финансов.

— Это меньше всего может быть предлогом для закрытия станции.

— Но необходимо что-то предпринять.

— До тех пор, пока радиостанция не выдвигает против нас вполне определенных обвинений, за которые ее можно привлечь к судебной ответственности, пока нет явной диффамации, фальсификации фактов и клеветы, — у нас нет оснований запрещать деятельность радиостанции. В том случае, если я найду нужным принять против них какие-либо меры, я вам дам знать. Но я хотел бы вас сразу же поставить в известность о некоторых вещах. У меня есть основания полагать, что руководители радиостанции очень хорошо знают, что они делают, и что действовать они будут вполне легально.

В течение нескольких следующих дней комментатор радиостанции продолжал говорить о разных сторонах деятельности правительства. Он говорил о внешней политике, которая, по его словам, несколько напоминает налоговую систему, в том смысле, что она была невыгодна и несправедлива по отношению к некоторым союзным странам. Он говорил о миллионном строительстве и непомерно высокой стоимости строительных материалов. Он говорил о проекте висячих мостов над столицей, которые должны были разгрузить город и сделать автомобильное движение более легким: на это были ассигнованы крупные суммы, но ни один мост даже не начал строиться.

— Мы вправе спросить управление городом, которое теоретически должно заниматься разрешением этой проблемы, распределением средств и субсидированием строительства: почему ничего не делается? Где деньги, которые были на это ассигнованы, что делает директор управления и за что он получает жалованье? Таких вопросов можно поставить много — и они рано или поздно будут поставлены.

Еще через неделю после этого комментатор «Голоса народа» сказал:

— То или иное потрясение может начинаться в центре. Но иногда оно берет свое начало на далекой периферии. Я бы не хотел, чтобы у наших слушателей создалось впечатление, что мы занимаемся риторикой или стилистическими упражнениями. Дело обстоит иначе. Сегодня вернулся из Турции один из наших сотрудников, который нам сообщил, что ему удалось оттуда уехать только благодаря помощи друзей из американского посольства: в Турции не принимают больше наших денег. На биржах европейских стран это пока что не отразилось и, может быть, не отразится. Но нет дыма без огня.

И еще через три дня после этой передачи курс арга — денежная единица страны называлась арг и стоимость арга была равна стоимости швейцарского франка — понизился на сорок процентов. Центральные банки отказывались обменивать арги на иностранную валюту, ссылаясь на невыясненность положения. Но положение не менялось: курс арга оставался на том же уровне, на сорок процентов ниже, чем обычно. Появились первые сообщения о том, что иностранные фирмы задерживают выполнение заказов. Экспортные общества должны были прервать свою деятельность. Некоторые предприятия значительно сократили свою продукцию и тысячи служащих остались без работы. Уволенные рабочие на многочисленных митингах требовали возобновления контрактов и повышения жалованья. Цены на продукты первой необходимости росли каждый день. У продовольственных магазинов начали образовываться длинные очереди. Руководство коммунистической партии опубликовало заявление, в котором говорилось о том, что страна стала жертвой заговора международного империализма и что рабочие должны защищать свои права с оружием в руках. Начались столкновения полиции с манифестантами. Толпа разбивала витрины магазинов. Забастовали служащие электрической промышленности, и город с наступлением ночи погружался во мрак. Забастовали железные дороги, вокзалы

были забиты людьми, которые не могли попасть на поезд. На автомобильных дорогах образовывались гигантские пробки.

Комментатор радиостанции «Голос народа» в своем очередном выступлении сказал:

— Дорогие слушатели, я не буду утомлять ваше внимание описанием того, что происходит в нашей стране, вы это знаете так же хорошо, как и я. Все это объясняется резким понижением нашей валюты на международной бирже. Но министр финансов совсем недавно уверял нас, что никогда еще наши денежные запасы не были так велики, как сейчас. Если это так, то что, казалось бы, может быть проще: бросить на внешний рынок достаточное количество золота и валюты и восстановить положение. Почему же правительство этого не делает?

А положение продолжало ухудшаться. Огромные толпы высыпали на улицу, начались шествия к парламенту, им преграждали путь полицейские отряды, в разных концах города вспыхнули грабежи, появились баррикады, совершенно ненужные, потому что их никто не атаковал и люди обходили их как досадные препятствия. Кто-то отворил ворота парка, окружавшего женский сумасшедший дом, и оттуда хлынула толпа женщин в синих больничных халатах, которая с воем и визгом рассыпалась по окрестным улицам. То тут, то там попадались перевернутые и горящие автомобили. Распространились слухи о том, что к городу подходят вооруженные отряды коммунистической гвардии. Нельзя было понять, что происходит. Во многих местах начались пожары. Над городом стоял густой дым, и глухой шум толпы то прекращался, то нарастал. Движение городского транспорта прекратилось. По улицам, заваленным вывернутыми булыжниками, перевернутыми автомашинами, столами и стульями, выброшенными с террас разбитыми кадками, нельзя было проехать. Единственно, что еще действовало, это была автоматическая телефонная сеть.

С каждым днем положение ухудшалось. Начались забастовки. Остановились железные дороги, и дирекция была вы-

нуждена принять требования рабочих об очень значительном повышении жалованья. Потом забастовал городской транспорт. В столице возникли уличные волнения, угрожающие и бессмысленные, потому что толпы манифестантов не знали, почему это все происходит и чего они требуют. На улицах появились баррикады — никто не знал зачем и против кого. Когда полиция задержала несколько человек, возглавлявших студенческую демонстрацию, то выяснилось, что задержанные не только не имели отношения к университету, но едва умели читать и писать — это были профессиональные воры и грабители. То, что было очевиднее всего, это явная бесцельность и бессмысленность происходившего. Но волнения не прекращались.

(Окончание следует)

Гайто Газданов

Печатаемое ниже стихотворение получено из Совсоюза, где оно, повидимому, ходит по рукам. Оно принадлежит перу известного писателя, автора нескольких книг.

Редакция



Нет, не из книжек наших скудных,
Подобья нищенской сумы,
Узнаете о том, как трудно,
Как невозможно жили мы.

Как мы любили, — горько, грубо,
Как обманулись мы любя,
Как на допросах, стиснув зубы,
Мы отрекались от себя.

Мы в духоте бессонных камер
Все дни и ночи напролет
Без слез, разбитыми губами
Шептали: Родина... Народ...

И находили оправданья
Жестокой матери своей,
На бесполезное страданье
Пославшей лучших сыновей.

О, дни позора и печали!
О, неужели даже мы
Людской тоски не исчерпали
В беззвездных коях Колымы?

А те, что вырвались случайно,
Осуждены еще страшней
На малодушное молчанье,
На недоверие друзей.

И молча только втайне плача,
 Зачем-то жили мы опять.
 Затем, что не могли иначе
 Ни жить, ни думать, ни дышать.

И ежедневно, ежечасно
 Трудясь, мы ждали вновь тюрьмы, —
 И не было людей бесстрашней
 И горделивее, чем мы.

За облик призрачный, любимый,
 За обманувшую навек
 Пески монгольские прошли мы
 И падали на финский снег.

Но наши цепи и вериги
 Она воспеть нам не дала.
 И равнодушны наши книги,
 И трижды лжива их хвала.

Но если, скрюченный от боли,
 Вы этот стих найдете вдруг,
 Как от костра в пустынном поле
 Обугленный и мертвый круг,

Но если жгучего преданья
 Дойдет до вас холодный дым, —
 Ну что ж, почитите нас молчаньем,
 Как мы, встречая вас, молчим.

ГОРОД НА ГОРЕ

В этот город на горе второй и последний раз в жизни меня привезли летом сорок пятого года. Из этого города меня привезли на суд в трибунал два года тому назад, дали десять лет, и я скитался по витаминным, обещающим смерть командировкам, щипал стланник, лежал в больнице, снова работал на «командировках» и с участка «Ключ алмазный», где условия были невыносимы — бежал, был задержан и отдан под следствие. Новый срок мой только что начинался — следователь рассудил, что выгоды государству будет немного от нового следствия, нового приговора, нового начала срока, нового счисления времени арестантской жизни. Меморандум говорил о штрафном прииске, о спецзоне, где я должен находиться отныне и до скончания века. Но я не хотел сказать: аминь.

В лагерях существует правило — не посылать, но «этапировать» вновь судимых заключенных на те прииски, где они раньше работали. В этом есть великий практический смысл. Государство обеспечивает жизнь своим сексотам, своим стукачам, клятвопреступникам и лжесвидетелям. Это — их правовой минимум.

Но со мной поступили иначе — и не только из-за лени следователя. Нет, герои очных ставок, свидетели моего прошлого дела уже были увезены из «спецзоны». И бригадира Нестеренко, и заместителя бригадира десятника Кривицкого, и журналиста Заславского, и неизвестного мне Шайлевича уже не было на Джелгале. Их, как исправившихся, доказавших преданность, уже увезли из спецзоны. Стало-быть стукачам и лжесвидетелям государство честно платило за их работу. Моя кровь, мой новый срок были этой ценой, этой платой.

Этот рассказ получен нами с оказией из Совсоюза из Самиздата. Печатаем его без ведома и согласия автора. РЕД.

На допрос меня больше не вызывали, и я сидел не без удовольствия в туго набитой следственной камере Северного управления. Что со мной сделают, я не знал, будет ли мой побег сочтен самовольной отлучкой — проступком неизмеримо меньшим, чем побег?

Недели через три меня вызвали и отвели в пересыльную камеру, где у окна сидел человек в плаще, в хороших сапогах, в крепкой, почти новой телогрейке. Меня он «срисовал», как говорят блатные, сразу понял, что я самый обыкновенный доходяга, не имеющий доступа в мир моего соседа. И я «срисовал» его тоже; как-никак, а я был не просто «фраер», а «битый фраер». Передо мной был один из блатарей, которого, рассудил я, везут куда-то вместе со мной.

Везли нас в спецзону, на знакомую мне Джелгалу.

Через час двери камеры нашей раскрылись.

— Кто Иван-Грек?

— Это — я.

— Тебе передача. — Боец вручил Ивану сверток и блатарь неторопливо положил сверток на нары.

— Скоро, что-ли?

— Машину подают.

Через несколько часов, газуя, пыхтя, машина доползла до Джелгалы, до вахты.

Лагерный староста вышел вперед и просмотрел наши документы — Иван-Грека и мои.

Это была та самая зона, где шли разводы «без последнего», где овчарки выгоняли на моих глазах всех поголовно, здоровых и больных, к вахте, где развод на работы строился за вахтой, у ворот зоны, откуда шла крутая дорога вниз, летящая дорога сквозь тайгу. Лагерь стоял на горе, а работы велись внизу, и это доказывало, что нет предела человеческой жестокости. На площадке перед вахтой два надзирателя раскачивали, взяв за руки и за ноги каждого отказчика, и бросали вниз. Арестант катился метров триста, падал, внизу его встречал боец и, если отказчик не вставал, не шел под тычками, ударами, его привязывали к волокуше и лошади тащили отказчика на работу — до забоев было не меньше километра.

Сцену эту я видел каждодневно, пока не отправили меня с Джелгалы. Сейчас я возвратился.

Не то, что скидывали сверху по горе, (так была задумана спецзона) было самым тяжелым. Не то, что лошадь волокла работягу на работу. Страшен был конец работы — ибо после изнурительного труда на морозе, после целого рабочего дня надо ползти вверх, цепляясь за ветки, за сучья, за пеньки. Ползти, да еще тащить дрова охране. Тащить дрова в самый лагерь, как говорило начальство, «для самих себя».

Джелгала была предприятием серьезным. Разумеется, тут были бригады-стахановцы вроде бригады Маргаряна, была бригада похуже, вроде нашей, были и блатары. Здесь, как и на всех приисках в ОЛП'ах первой категории, была вахта с надписью «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства».

Разумеется, тут были доносы, вши, следствия, допросы.

В Джелгалинской санчасти уже не было доктора Мохнача, который, видя меня каждый день на приемах в амбулатории несколько месяцев, по требованию следователя написал в моем присутствии — ээк, имя-рек, здоров и никогда с жалобами в медчасть Джелгалы не обращался.

А следователь Федоров хохотал и говорил мне: назовите мне десять фамилий из лагерников — любых по вашему выбору. Я пропущу их сквозь свой кабинет, и они все покажут против вас. Это было истинной правдой, и я знал это не хуже Федорова...

Сейчас Федорова на Джелгале не было — перевели в другое место. Да и Мохнача не было.

А кто был в санчасти Джелгалы? Доктор Ямпольский, вольнонаемный, бывший ээка.

Доктор Ямпольский не был даже фельдшером. Но на прииске Спокойном, где мы с ним впервые встретились, лечил больных только марганцовкой и иодом, и любой профессор не дал бы прописи, которая отличалась бы от прописи доктора Ямпольского... Высшее начальство, зная, что медикаментов нет, и не требовало многого. Борьба со вшивостью — безна-

дежная и бесполезная, формальные визы представителей санчасти в актах, общий «надзор» — вот и все, что требовалось от Ямпольского высшим начальством. Парадокс был в том, что ни за что не отвечая и никого не леча, Ямпольский постепенно копил опыт и ценился не меньше любого колымского врача.

У меня с ним было столкновение особого рода. Главный врач той больницы, где я лежал, прислал письмо Ямпольскому с просьбой помочь мне попасть в больницу. Ямпольский не нашел ничего лучшего, как передать это письмо начальнику лагеря, донести так сказать. Но Емельянов не понял истинного намерения Ямпольского и — встретив меня — сказал: отправим, отправим. И меня отправили. Сейчас мы встретились снова. На первом же приеме Ямпольский заявил, что освобождать от работы меня не будет, что он разоблачит меня и выведет на чистую воду.

Два года назад я въезжал сюда в черном военном этапе — по списку господина Карякина, начальника участка Аркагалинской шахты. В этап жертву собирали по спискам по всем управлениям, всем приискам — и везли на очередной колымский Освенцим, колымские спецзоны, лагеря уничтожения после тридцать восьмого года, когда вся Колыма была таким лагерем уничтожения.

Два года назад отсюда меня увели на суд — восемнадцать километров — тайгой, пустык для бойцов — они спешили в кино, и совсем не пустык для человека, просидевшего месяц в слепом темном карцере на кружке воды и «трехсотке» хлеба.

И карцер я нашел, вернее след от карцера, ибо давно изолятор, лагерный изолятор был новый — дело росло. Я вспомнил, как заведующий изолятором боец охраны боялся выпустить меня мыть посуду на солнце — на проток, не речки, а деревянного желоба с бутары — все равно это было лето, солнце, вода. Заведующий изолятором боялся пускать меня мыть посуду, а мыть самому было не то что лень, а просто позорно для заведующего изолятором. Не по должности. А арестант, сидевший без вывода, был только один — я. Другие

штрафники ходили — их то посуду и надо было мыть. Я и мыл ее охотно — за воздух, за солнце, за супчик. Кто знает, не будь ежедневной прогулки — дошел ли бы я тогда на суд, вытерпел ли все побои, которые мне достались.

Старый изолятор был разобран и только следы его стен, выгоревшие ямы от печей оставались, и я сел в траву, вспоминая свой суд, свой «процесс».

Груда старых железок, связка, которая легко распалась, и, перебирая железки, я вдруг увидел свой нож, маленькую финку, подаренную мне когда-то больничным фельдшером на дорогу. Нож не очень был мне нужен в лагере — я легко обходился и без ножа. Но каждый лагерник гордится таким имуществом. С обеих сторон лезвия была крестообразная метка напильником. Этот нож отобрали у меня при аресте два года назад. И вот он снова у меня в руках. Я положил нож в грудку ржавых железок.

Два года назад я въезжал сюда с Варпаховским — он давно был в Магадане, с Заславским — он давно был в Сусумане, а я? Я приезжаю в спецзону вторично.

— Ивана-Грека увели.

— Подойди.

Я уже знал в чем дело. Хлястик на моей телогрейке, отложной воротник на моей телогрейке, бумажный вязаный шарф, широкий полутораметровый шарф, который я тщетно старался скрыть, привлек опытное око лагерного старосты.

— Расстегнись!

Я расстегнулся.

— Сменяем. — Староста показал на шарф.

— Нет.

— Смотри, хорошо дадим.

— Нет

— Потом будет поздно.

— Нет

Началась правильная охота за моим шарфом, но я берег его хорошо, привязывал на себя во время бани, никогда не снимал. В шарфе скоро завелись вши, но и эти мученья я

был готов перенести лишь бы сохранить шарф. Иногда ночами я снимал шарф, чтобы отдохнуть от укусов вшей, и видел на свету как шарф шевелится, движется. Так много было там вшей. Ночью как-то было невтерпех, растопили печку, было непривычно жарко, и я снял шарф и положил его рядом с собой на нары. В то же время шарф исчез и исчез навсегда. Через неделю выходя на развод и готовясь упасть в руки надзирателей и лететь вниз с горы — я увидел старосту, стоявшего у ворот вахты. Шея старосты была закутана в мой шарф. Разумеется, шарф был выстиран, прокипячен, обеззаражен. Староста даже не взглянул на меня. Да и я поглядел на свой шарф только один раз. На две недели хватило меня, моей бдительной борьбы. Наверно хлеба староста заплатит вору меньше, чем дал бы мне в день приезда. Кто знает. Я об этом не думал. Стало даже легко и укусы на шее стали подживать, и спать я стал лучше.

И все-таки я никогда не забуду этот шарф, которым я владел так мало.

В моей лагерной жизни почти не было безымянных рук, поддерживавших в метель, в бурю, спасших мне жизнь безымянных товарищей. Но я помню все куски хлеба, которые я съел, из чужих, не казенных рук, все махорочные папиросы. Много раз попадал я в больницу, девять лет жил от больницы до забоя, ни на что не надеясь, но и не пренебрегая ничьей милостыней. Много раз уезжал я из больниц, чтобы на первой же пересылке меня раздели блатари или лагерное начальство.

Спецзона разрослась; вахта, изолятор, «простреливаемые» с караульных вышек были новыми. Новыми были и вышки, но столовая была все та же, где в мое время, два года назад, бывший министр Кривицкий и бывший журналист Заславский развлекались на глазах у всех бригад страшным лагерным развлечением. Подбрасывали хлеб, пайку-трехсотку оставляли на столе без присмотра, как ничью, как пайку дурака, который «покинул» свой хлеб, и кто-нибудь из доходяг, полусумасшедших от голода, на эту пайку бросался, хватал ее со стола, уносил в темный угол и цинготными зубами, оставляю-

щими следы крови на хлебе, пытался этот черный хлеб проглотить. Но бывший министр, был он и бывший врач — знал, что голодный не проглотит хлеб мгновенно, зубов у него не хватит, и давал спектаклю развернуться, чтобы не было пути назад, чтобы доказательства были убедительней.

Толпа озверелых работяг набрасывалась на вора, пойманного «на живца». Каждый считал своим долгом — ударить, наказать за преступление — и хоть удары доходяг не могли сломать костей, но душу вышибали.

Это вполне человеческое бессердечие. Черта, которая показывает, как далеко ушел человек от зверя.

Избитый, окровавленный вор-неудачник забивался в угол барака, а бывший министр, заместитель бригадира, произносил перед бригадой оглушительные речи о вреде краж, о священности тюремной пайки.

Все это жило перед моими глазами, и я, глядя на обедающих доходяг, вылизывающих миски классическим, ловким движением языка, и сам, вылизывая миску столь же ловко — думал: — Скоро на столе будет появляться хлеб-приманка, хлеб-«живец». Уже есть наверное здесь и бывший министр и бывший журналист, работодатели, провокаторы и лжесвидетели. Игра «наживую» была очень в ходу в спецзоне в мое время.

Чем-то это бессердечие напоминало блатарские романы с голодными проститутками (да и проститутками ли?), когда «гонораром» служит пайка хлеба и по взаимному условию, вернее, — из этой пайки сколько женщина успевала съесть — пока они лежали вместе. Всё, что она не успевала съесть, блатарь отбирал и уносил с собой.

«Я паечку-то заморожу в снегу заранее и сую ей в рот — много не угрызет мерзлую... Иду обратно — и паечка цела».

День за днем я двигался к смерти и ничего не ждал.

Все еще я старался выползти за ворота «зоны», выйти на работу. Только не отказ от работы. За три отказа — расстрел. Так было в тридцать восьмом году. А сейчас шел сорок пятый, осень сорок пятого года. Законы были прежние, особенно для «спецзон».

Меня еще не бросали надзиратели с горы вниз. Дождавшись взмаха руки конвоира, я бросался к краю ледяной горы и скатывался вниз, тормозясь за ветки, за выступы скал, за льдины. Я успевал встать в ряды и шагать под проклятия всей бригады, потому что я шагал плохо; впрочем, немного хуже, немного тише всех. Но именно эта незначительная разница силы делала меня предметом общей злобы, общей ненависти. Товарищи, кажется, ненавидели меня больше, чем конвой.

Шаркая бурками по снегу, я передвигался к месту работы — а лошадь тащила мимо нас на волокуше очередную жертву голода, побоев. Мы уступали лошади дорогу и сами ползли туда же — к началу рабочего дня. О конце рабочего дня никто не думал. Конец работы приходил сам собой, и как-то не было важно — придет этот новый вечер, новая ночь, новый день — или нет.

Работа была тяжелей день ото дня, и я чувствовал, что нужны какие-то особые меры.

— Гусева! Гусева! Гусев поможет.

Гусев был мой напарник со вчерашнего дня на уборке какого то нового барака — мусор сжечь, остальное в землю, в подпол, в вечную мерзлоту.

Я знал Гусева. Мы встречались на прииске года два назад, и именно Гусев помог найти украденную у меня посылку, — указал, кого нужно бить, и того били всем бараком и посылка нашлась. Я дал тогда Гусеву кусок сахара, горсть компоту — не все же я должен был отдать за находку, за донос. Гусеву я могу довериться.

Я нашел выход: сломать руку. Я бил коротким ломом по своей левой руке, но ничего, кроме синяков, не получалось. Не то сила у меня была не та, чтоб сломать человеческую руку, не то внутри какой-то караульщик не давал размахнуться как следует. Пусть размахнется Гусев.

Гусев отказался.

— Я бы мог на тебя донести. По закону разоблачают не стану. Я помню компот. Но братья за лом не проси, я членовредителей, и ты ухватил бы три года добавки. Но я этого не сделаю.

— Почему?

— Потому что ты, когда тебя станут бить у опера, скажешь, что это я сделал.

— Я не скажу.

— Кончен разговор.

Надо было искать какую-то работу еще легче легкого, и я попросил доктора Ямпольского взять меня к себе на строительство больницы. Ямпольский ненавидел меня, но знал, что я работал санитаром раньше.

Работником я оказался неподходящим.

— Что же ты, — говорил Ямпольский, почесывая свою ассирийскую бородку, — не хочешь работать.

— Я не могу.

— Ты говоришь «не могу» мне, врачу.

Вы ведь не врач, хотел я сказать, ибо я знал, кто такой Ямпольский. Но «не веришь — прими за сказку». Каждый в лагере — арестант или вольный, все равно — работяга или начальник — тот, за кого он себя выдает... С этим считаются и формально и по существу.

Конечно, доктор Ямпольский — начальник санчасти, а я — работяга, штрафник, спецзонник.

— Я теперь понял тебя, — говорил злобно доктор. — Я тебя выучу жить. — Я молчал. Сколько людей в моей жизни меня учило жить.

— Завтра я тебе покажу. Завтра ты у меня узнаешь...

Но завтра не наступило.

Ночью, вырвавшись вверх по ручью до нашего города на горе добрались две машины, два грузовика. Рыча и газуя приползли к воротам зоны и стали сгружаться.

В грузовиках были люди, одетые в иностранную красивую форму.

Это были репатрианты. Из Италии, трудовые части из Италии. Власовцы? Нет. Впрочем «власовцы» звучало для нас, старых колымчан, оторванных от мира, слишком неясно, а для новеньких — слишком близко и живо. Защитный рефлекс го-

ворил им: молчи! А нам колымская этика не позволяла спрашивать.

В спецзоне, на прииске «Джелгала» давно уже поговаривали, что сюда привезут репатриантов. Без срока. Приговора. Их везут где-то сзади, после. Но люди были живые, живее колымских доходяг.

Для репатриантов это был конец пути, начавшийся в Италии, в митингах. Родина вас зовет, Родина прощает. С русской границы к вагонам был поставлен конвой. Репатрианты прибыли прямо на Колыму, чтобы разлучить меня с доктором Ямпольским, спасти меня от спецзоны.

Ничего, кроме шелкового белья и новенькой военной формы заграничной, у репатриантов не осталось. Золотые часы и костюмы, рубашки репатрианты променяли по дороге на хлеб — и это было у меня — дорога была длинная, и я хорошо эту дорогу знал. От Москвы до Владивостока этап везут сорок пять суток. Потом пароход Владивосток-Магадан — пять суток, потом бесконечные сутки транзиток и вот конец пути — Джелгала.

На машинах, которые привезли репатриантов, отправили в управление — в неизвестность — пятьдесят человек спецзаключенных. Меня не было в этих списках, но в них попал доктор Ямпольский, и с ним я больше в жизни не встречался.

Увезли старосту, и я в последний раз на его шее увидел шарф, доставивший мне столько мучений и забот. Вши были, конечно, выпарены, уничтожены.

— Значит, репатриантов будут зимой раскачивать надзиратели и швырять вниз, а там привязывать к волокуше и волочить в забой на работу. Как кидали нас...

Было начало сентября, начиналась зима колымская...

У репатриантов сделали обыск и привели в трепет всех. Опытные лагерные надзиратели извлекли на свет то, что прошло через десятки обысков на «воле», начиная с Италии — небольшую бумагу, документ, манифест Власова! Но это известие не произвело ни малейшего впечатления. О Власове, о его «РОА» мы ничего не слыхали, а тут вдруг манифест.

— А что им за это будет? — спросил кто-то из сушивших возле печки хлеб.

— Да ничего не будет.

Сколько из них было офицеров — я не знаю. Офицеров-власовцев расстреливали; возможно, тут были только рядовые, если помнить о некоторых свойствах русской психологии, натуре.

Года через два после этих событий случилось мне работать фельдшером в японской зоне. Там на любую должность — дневальный, бригадир, санитар — обязательно принимался офицер, и это считалось само собой понятным, хотя пленные офицеры-японцы в больничной зоне формы не носили.

У нас же репатрианты разоблачали, вскрывали по давно известным образцам.

— Вы работаете в санчасти?

— Да, в санчасти.

— Санитаром назначили Малиновского — позвольте вам доложить, что Малиновский сотрудничал с немцами, работал в канцелярии, в Болонье. Я лично видел.

— Это не мое дело.

— А чье же? К кому же мне обратиться?

— Не знаю.

— Странно. А шелковая рубашка нужна кому-нибудь?

— Не знаю.

Подошел радостный дневальный, он уезжал, уезжал, уезжал из спецзоны.

— Что, попался, голубчик? В итальянских мундирах в вечную мерзлоту. Так вам и надо. Не служите у немцев!

И тогда новенький сказал тихо: — Мы хоть Италию видели! А вы?

И дневальный помрачнел, замолчал.

Колыма не испугала репатриантов.

— Нам тут все в общем нравится. Жить можно. Не понимаю только, почему ваши в столовой никогда не едят хлеба

— эту двухсотку или трехсотку — кто как наработал. Ведь тут проценты?

— Да, тут проценты.

— Ест суп и кашу без хлеба, а хлеб почему-то уносит в барак.

Репатриант коснулся случайно самого главного вопроса колымского быта.

Но мне не захотелось отвечать.

— Пройдет две недели, и каждый из вас будет делать то же.

В. Шаламов

ВОСПАЛЕНИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА

И как будто в глаза сыпануло песком,
Так смутило меня этой штукой:
Красна девица сделалась синим чулком,
Сине море — зеленою скукой.

Привязался ко мне дальтонический дух,
Проповедует инообразие:
Синей птицей мерещится красный петух,
Белый свет — семицветною грязью,

Чистым золотом — серое слово тупиц,
Красной нитью — дорога в тумане...

Может быть, отказаться от вещей зениц
За соблазн исказить мирозданье?

НА ПРИВАЛЕ

«...и льется грусти беспричинной
квазилирический поток.
Как говорится, будь мужчиной!
Стихи не носовой платок
для слез над собственной кончиной.

Грусть хороша для ширпотреба,
но самобытен и кремнист
веселый путь, ведущий в небо»,
сказал мне старый альпинист.

ПУЩЕ НЕВОЛИ

Белое облако, белое облако,
 Тая, крадется
 От облика к облику,
 От блика к блику,
 От лика к лику:

Было облако яблоком,
 Стало облако зябликом,
 Бубликом, бабочкой,
 Обелиском, отблеском,
 Столбиком, стебель-ком,
 Оболочкой и комком,*
 Белобоким колобком...

Пока настигнешь эти облака,
 Они стократ успеют измениться,
 И вечно будет форма далека
 От той, что коченеет на странице.

Откуда ж мне, к чему мне эта страсть —
 Уж не охотничья ль? — как выстрелом — оленя,
 Стихом заставить

на колени

пасть

Мгновенье?

Николай Моршен

* Стебель растаял — остался ком,
 Два таких облака
 Слились два облика
 Стали одним ком-ком.

АНТИСИНТЕТИЧЕСКИЕ ЛУЧИ

Я медленно приходил в сознание. Прежде всего я начал чувствовать свое тело. В нем пульсировала и ныла боль. При малейшем усилии сосредоточить внимание в голове начинало стучать, как будто какой-то молот отбивал такт на наковальне мозга. Когда я переставал сосредоточиваться, становилось легче. Удары в голове становились все слабее. Я открыл глаза. Надо мной было ржавое небо, солнце светило, как через запыленное стекло. После нескольких попыток подняться, от которых меня тошнило, мне удалось сесть, а затем и встать. Ноги дрожали.

Я оглянулся вокруг и не узнал окружающей местности. Это был пригород, но в нем не было ни домов, ни улиц. Т.е. улицы были, но на них не было обычного асфальта. Вместо домов — кучи бесформенного мусора. Но деревья и кусты показались мне знакомыми. И — гора, которая круто обрывалась за домом (когда на этом участке был еще дом), у подножья которой протекала речка по каменистому дну. Да, да, это был пригородный квартал, где я жил. Но, Боже мой, что с ним случилось? Я вдруг понял: вокруг меня не было ничего человеческого, ни людей, ни того, что было делом их рук.

У меня закружилась голова, я закрыл глаза. Через мгновение я осознал, что на мне не было никакой одежды. Я был гол, было холодно, оглянувшись вокруг, я не нашел ничего, чем бы мог прикрыться.

Мысль медленно и тяжело работала. Но вдруг как-то сразу пришла разгадка: — внезапной атакой на нашу страну были уничтожены все люди и всё, что было делом их рук. Я начал припоминать, что писали в печати о новых видах оружия. И о новых достижениях в области искусственного воздействия на некоторые мозговые центры человека. Мне показалось вероятным, что наши враги опередили нас. Они

могли взять какого-нибудь гениального ученого, отечественного или похищенного, «промыть ему мозги», а затем, при помощи химико-электронного усилителя активизировать только те центры, которые управляют изобретательской функцией мозга. Оставалось поместить такого мозгоробота в абсолютно изолированную «шарашку» и привить, посредством гипнотрона, одну-единственную идею-цель: изобрести лучи, уничтожающие все, что содержит в себе элементы искусственности, т.е. все то, что произведено либо человеческими руками, либо машинами. Радиус действия этих лучей, названных антисинтетическими, мог быть управляем при помощи соответственного генератора, наподобие лазеровских лучей, только, конечно, в гигантском масштабе.

Мозг человека, гениального по природе, в искусственной обстановке, в которой его *ничто* не отвлекало от основной идеи, многократно усиливал свою мощь, наподобие того, как лупа сосредоточивает рассеянные солнечные лучи в пучок, а затем в фокус, и концентрирует их зажигательную силу до такой степени, что они зажигают любой удобовоспламеняемый материал. Столь сосредоточенная мощь мозга с легкостью решала любую проблему, *создавая новые реальности*. Мозг действовал, как лупа. Разум, направляемый волей, обладал такой силой, что элементы бытия становились предельно прозрачными для знания и, наоборот, знание открывало законы и свойства бытия до такой степени, что могло кристаллизироваться в бытийных сущностях.

Я не отдавал себе отчета в том, *как* был создан генератор антисинтетических лучей. Можно было догадываться, что это изобретение было основано на законе взаимодействия соответственных частиц и античастиц, излучающих новый вид энергии. Но не удивительно, что мне все это было непонятно. В последнее время наука, на своих верхах и глубинах, проникла так далеко в сущность мирового вещества, что перестала, собственно говоря, оперировать понятиями и законами, пользуясь символами и констатациями. Понятие, ведь, есть суждение в «капсульном» виде, а суждение есть соотнесение субъекта с объектом, подлежащего со сказуемым. Понятие или обла-

дает наглядностью, или же интеллигибельно в умозрительном порядке. О какой же наглядности или интеллигибельности может быть речь, по крайней мере для обыкновенного смертного, когда имеется в виду какая-то мини-античастица, вес и дление жизни которой выражается в миллиардных дробях мельчайших единиц веса и времени? Необъятность вселенной разорвала наши понятия меры и пропорции. Всё стало относительным. То, что является настоящим для меня, представляет собой прошедшее для одних и будущее для других, и наоборот. Бесконечное число элементов делает возможным бесконечное количество вариаций соответственных комбинаций.

Антропоцентрическое понимание мира и антропоморфическое восприятие его снизошло на ступень одного лишь из бесконечно-возможных восприятий, зависящих от данных структурных возможностей воспринимателя. Это, конечно, всегда так было, но мы, люди, не подозревали этого. Конечно, узкие специалисты умеют как-то объяснять явления, которые рядовому обывателю кажутся чудом... Взять для примера хотя-бы умение человека управлять с земли космическим кораблем при спуске его на Венеру, или возможность передавать процесс пересадки сердца по телеспутнику в любое место земного шара... Как... Я снова пришел в себя. Все эти мысли сумбурно пролетали в голове, когда я был в полусознательном состоянии.

Я с трудом приподнялся и сел, стараясь сосредоточиться на окружающем. Да, вероятно, случилась непоправимая катастрофа. Интересно, в каком радиусе? Но ведь антисинтетические лучи, припомнилось мне, не уничтожали естественных, живых организмов, а только вещи, предметы, сооружения. Так где же люди? Если же они убивали и людей, то почему один я остался жив? В голове помутилось. Как молния, пронзила мысль: а что, если *все, кроме меня*, погибли? От внезапно нахлынувшего чувства одиночества у меня как бы остановилось, а потом бешено забилося сердце. Природа, которая всегда была *на некотором расстоянии от меня*, как бы вдруг приблизилась вплотную ко мне. Мне трудно выразить это ощущение. Мне показалось, что привычная, благо-

получная прослойка цивилизации, которая всегда была между мной и природой, исчезла. Я больше не наблюдал природу, а чувствовал ее. И она мне показалась суровой и враждебной... Во мне проснулось нестерпимое желание увидеть живого человека, неизъяснимая тоска наполнила меня. Я стал перебирать в уме образы моих близких, знакомых... Я вспомнил и о моем «враге»: среди моих сослуживцев был один, которого я не любил. Это был карьерист, интриган, наглец, обладающий, правда, недюжинными способностями. Он обогнал меня по службе и, в свою очередь, ненавидел меня. Так вот, очутись он теперь здесь, подле меня, я, вероятно, задохнулся бы от счастья... Я бы обнял его и сказал: «Брат, ведь мы же люди! Как глупо и нелепо было нам ссориться и ненавидеть друг друга из-за каких-то пустяков, мелочей, когда в жизни так много важного, доброго, красивого!». Увы, я был один-одинёшенек. Не было даже собаки, кошки!

Я почувствовал жажду. Губы пересохли. Я вскарабкался на кучу груза и попытался найти то место, где, по моим расчетам, были водопроводные трубы и краны. Но все было завалено. Да ведь и воды, которая раньше поступала по трубам, не могло быть, так как была разрушена водонапорная башня. Оставалось спуститься по склону крутой горы к ручью.

Выбрав более пологий скат, я начал продираться сквозь заросли кустов. Какие-то колючки в кровь расцарапали мне кожу, а щебень и корни растений больно резали ступни ног. Я ведь с детства не ходил босиком! Неожиданный звук справа заставил меня насторожиться. Я не мог увидеть, что производит этот звук. На расстоянии нескольких метров была куча камней, заросшая ежевикой. Я сперва подумал, что какая-то большая птица запуталась крыльями и бьется в ежевике, чтобы освободиться. Нет, это скорее рой диких пчел, вырвавшихся из дупла дерева и повисших на кустах, жужжащих... Внезапно я вспомнил этот стрекочущий шелест-шорох, когда, однажды, видел на экране телевизора змею... Это гремучая! Я шархнул в сторону и сорвался вниз. Тело мое дрожало мелкой дрожью. При падении я сильно ушибся,

и молот снова заработал в голове... Успокоившись, я двинулся к берегу ручья, теперь уже все время зорко оглядываясь вокруг.

Ручей был мелкий, вода в нем теплая и пресная на вкус. Я долго пил, прильнув губами к ручью. Захотелось обмыть тело. Стало легче и свежее. На смену жажде пришел острый голод, до слабости в ногах. Но как раздобыть какую-нибудь пищу? Может быть, на склоне горы растут плодовые деревья? Я начал медленно взбираться на гору. По дороге попадались кусты с черными ягодами, но мне они были незнакомы, и я боялся, что они ядовитые. Они не были похожи на те, что я всегда покупал в супер-маркете. В сущности я даже не знал, каковы овощи в их «натуральном» виде, на огороде, на своих стеблях или на земле. Я *покупал* пищу, не задумываясь, кто и как ее производит. Все эти фермеры, скотоводы, механики, углекопы, ремесленники, фабричные рабочие — были для меня «морлоки», работающие в той части мира, куда я не имел ни нужды, ни интереса, заглядывать. Собственно говоря, я не умел ничего *сделать*. И эта мысль меня теперь поразила.

Мое знакомство с множеством предметов было чисто *внешнее*. В случае неисправности чего-либо вызывался специалист-морлок. Я был стопроцентный городской *дилетант*. По образованию я был юрист. Но я никогда не выступал в суде, как защитник. Я принадлежал к особой общественной касте, члены которой различно называются на разных языках: экзекютивами, аппаратчиками, делопроизводителями, толкачами, лоббистами, дилерами, дельцами, агентами и т.п. Мы ничего *реального* не создавали. Мы продавали наши услуги для удовлетворения тех потребностей, которые мы же сами часто и создавали, или находили выходы из трудностей, которых бы без нас, может быть, не было. В гигантской машине современного государства мы исполняли роль *смазки*, помогающей легче двигаться разным поршням, колесам, винтикам... Мы были катализаторами, прослойкой между производителями и потребителями. И в то же время мы, конечно, были *паразитами, пауками*, втягивающими в свои сети менее опыт-

ных. Наряду с тем, как бывает загрязнение воздуха, земли, воды, мы были загрязнением человеческой среды...

Я очнулся и собрал разбегавшиеся мысли. Надо найти что-нибудь съестное, пока светило еще солнце. Был ранний август. Я начал осматривать деревья. На некоторых были яблоки и груши, но совсем еще зеленые. Сорвав с одного дерева яблоко, я попытался раскусить твердый, как камень, плод, но к своему ужасу убедился, что у меня нет зубов. Челюсти были, ведь, искусственные... Отчаяние овладевало мной.

Усиливающийся озноб заставил меня подумать о тепле. Хорошо бы развести костер, это я умел. Сухого хвороста было вдоволь. Но где взять спички? Из воспоминаний детства нахлынуло, что огонь можно выбить ударами стали о камень. Но, увы, у меня не было ни стали, ни кремня. Я даже не знал, чем отличается камень от обыкновенных камней.

Начинало темнеть. Я стал лихорадочно сгребать руками сухие листья и рвать сухую траву, чтобы устроить себе какое-то логово. Вскоре я собрал достаточно подстилки, чтобы не только лечь на нее, но и насыпать на себя сверху. Я лег. Время от времени меня охватывал озноб. Мысли снова вернулись к прошлому. Поразительным казалось, что вся человеческая культура, построенная в течение тысячелетий, сохранялась только в соборной памяти людей в динамическом, так сказать, виде и на библиотечных полках, в книгах, учебниках и чертежах, в статическом виде. И если это правда, что в последней катастрофе все и всё погибло, то я, последний человек на земном шаре, не в состоянии ничего сделать, чтобы как-то закрепить хотя бы какой-нибудь след этой культуры. Померкнет мое сознание, и от человеческой культуры не останется следа! Было непонятно, непостижимо, что природа, миллиарды лет стремившаяся развивать в человеке его разум и культуру, не создала непреложных законов сохранения высочайших ценностей, созданных ею же самой. В факте, что почти мертвый камень может пребывать веками, тысячелетиями и миллионами лет, тогда как самое драгоценное, что осуществилось в порядке развития, наука и искусство, могут

погибнуть от нелепейшей случайности, в этом факте крылся какой-то парадокс.

Согревшись под сухой травой, я, по-видимому, заснул, так как, когда я открыл глаза, стояла полная темнота. Звезд не было видно. Чувства обострились. Я вздрагивал от каждого шороха. Мне все казалось зловещим.

Захотелось молиться, звать помощи свыше. Я старался вспомнить молитвы, произносимые в детстве, но вспоминались только несвязные слова...

Потом был какой-то черный провал, движение остановилось. Я понял, что я на какой-то новой планете. Как она называлась? Не знаю. Вероятно, она была страшно далеко от Земли, так как я видел наш Млечный Путь, как еле заметное облачко. Я употребил неправильное выражение «видел». Ведь у меня не было тела, не было, значит, и глаз. Это «видение» было скорее умозрительно, когда ваши глаза видят одно, а в то же время орган умозрения видит совсем другое, по вашему желанию... Так я умозрел Землю и события моей прошлой жизни. В то же время я воспринимал присутствие вокруг меня личных центров, духов или субстанциальных деятелей, как бы вы их ни назвали... Мы общались друг с другом не словами (у нас не было говорительных аппаратов: губ, зубов, языка, нёба, гортани и легких), а смыслами, т.е. чистыми идеями, вне их физических оболочек. Это трудно рассказать...

Поясню на примере. Если вы покажете, скажем, рисунок треугольника энному количеству математиков разных национальностей, из которых каждый говорит только на своем языке, то они *без слов* поймут, что на бумаге представлено. Если же этот треугольник стереть резинкой, то исчезнет данное конкретное и индивидуальное изображение треугольника, но представление треугольника останется в уме этих математиков. Но если бы так случилось, что вследствие какой-нибудь катастрофы все эти математики погибли, то вместе с ними исчезли бы только эти индивидуальные представления, но *идея* треугольника осталась бы незыблемой, так как она принадлежит идеальному миру, трансцендентному и универсальному, независимому от временного и пространственного мира. Вот

именно наше общение и основывалось на таких чистых идеях. Мы обменивались мыслями, а не словами. Ошибки или непонимания были исключены. Внешний мир мы постигали конгломератно, связками *окачествованностей*, симфонически и синхронически сочетаемыми. Выражаясь иначе, скажем, что наше восприятие было квинтэссенциальным. Было невыразимо хорошо и не хотелось никаких перемен. Общение между индивидуальными личными центрами было основано на чувстве симпатии, дружбы, любви. Нам было хорошо вместе. Мне «поведали», что на этой планете все было основано на принципе восходящей гармонии. Преобразование совершалось не путем уничтожения элементов изменяющейся реальности, а путем включения их в высший план. Поэтому не было тех явлений, которые мы на Земле называли болью и страданием.

Пришел черед и мне «рассказать», с какой планеты я прибыл к ним и какова жизнь на Земле. Если бы у меня было лицо, я, несомненно, густо покраснел бы. Область с которой я был недурно знаком, относилась к материальной цивилизации, могучим двигателем которой были потребности тела. Что это дало бы им, если бы я стал описывать современные холодильники, стиральные машины, гигиенические уборные, автомобили, фабрики консервов и пластмассы? В области же духовной культуры я был сущий профан: американские общеобразовательные школы, в которых я учился, общего образования не давали. Они учили нас, как в жизни «делать дела». Я знал имена нескольких философов, но никогда не читал их. Мне известны были, по-наслышке, фамилии разных художников, но я никогда не был в картинных галереях и на художественных выставках. Слышал я и о прославленных композиторах, но никогда не бывал на концертах. В свободное время я занимался спортом, смотрел телевидение или бывал на «партиях», заводя полезные знакомства.

Чтобы замять смущение, я начал рассказывать об организации политической и общественной жизни, но почувствовал, что заинтересованность у моих новых друзей сильно понизилась. Сбитый с толку своим невежеством, я перебрался в область истории... Интерес временно как будто раз-

горелся. Однако я чувствовал, что и здесь у меня не выйдет. Получалось, что люди на Земле только тем и занимались, что изыскивали какие-то ужасные средства взаимоуничтожения и одновременно провозглашали, что хотят мира. Когда я дошел до второй мировой войны и рассказал, как по воле двух извергов погибли десятки миллионов людей, я ощутил вокруг себя пустоту. Духи как-бы исчезли, так как им было недоступно *иррациональное и дисгармоническое*. Я бросился было за...

...я очнулся снова со страшной головной болью на моем окровавленном логове. Я ощущал соленый вкус крови на губах, на голове нащупал рану, покрытую струпом запекшейся крови и волос... Мне хотелось вернуться на удивительную планету, на которой только что жила моя душа. Для этого надо было расстаться с телом. Ринуться с вершины скалы на острые камни у ее подножья? Я начал карабкаться вверх, на четвереньках. Силы оставляли меня, в висках стучало, я задыхался.

Сколько времени прошло с момента катастрофы? Иногда мне казалось, что оно мчится с непостижимой быстротой, а иногда, что оно вдруг останавливается совсем.

Когда мне казалось, что я никогда не доползу до обрыва, что сердце вот-вот разорвется, я нащупал рукой край скалы. Еще одно движение, и всему будет конец. Но мне не захотелось умирать, задыхаясь. Уж слишком было мучительно. Я решил передохнуть и лег плашмя на сырую землю. Вдруг меня сильно укололо в руку, повыше локтя. «Змея» — с ужасом мелькнуло в мозгу, и я задрожал, а затем замер, ожидая неизведанно-страшного.

Но что это? Вместо новой боли я почувствовал облегчение. Успокаивающая теплота расплывалась по моему многонапруженному телу. И как-то сразу появилось солнце. Не на предполагаемой линии горизонта, а в зените. Странное это было солнце: оно светило, но не освещало. Лучи его были сосредоточены на моем лице. Я не понимал, в чем дело. С усилием сосредоточивая все свое внимание, я собрал воедино мой

ум и волю, мои разлетающиеся мысли и... как-бы перескочил в иной план восприятия мира. Я увидел, что это было не солнце, а больничная висячая лампа с абажуром. Скосив глаза, я увидел доктора в белом халате, передающего шприц сестре милосердия. Заметив мой осмысленный взгляд, доктор облегченно вздохнул и, улыбнувшись, сказал: «Ну, кризис, слава Богу, миновал. Теперь будете выздоравливать. Но как это вас угораздило так, под машину?»

Я слабо улыбнулся в ответ. И сразу же заснул, на этот раз — без сновидений.

Е. Валентинов

ФЕВРАЛЬСКИЕ СТРОФЫ

Лабиринт переулков в венце
Голых веток и голых деревьев,
И капель на янтарном крыльце
Выбивает насечку за дверью,
А в окне проплывает, клубя
Голубое крыло февраля.

Ночь в тиши запекает трубой,
В деревянные бьёт тулумбасы,
В непроглядный полуночный бой
Снеговые бросает запасы,
Сыплет тонкую пыль хрусталя
В голубое лицо февраля.

И уже — приращение дня,
И улыбки оконных ледышек,
И уже словно тайну храня,
Предвесенние шорохи слышит
Голубое ядро февраля —
Поворот золотого руля.

Зодиака всеильны бразды,
Беззащитно упорство сугроба —
Рыжеватое солнце воды
Снежный мрамор сведёт и угробит.
Вон худеют сосульки, сверля
Голубое ведро февраля.

Голубое ярмо февраля
Оплывает в Аид водостока,
Голубые разрывы кругля
Облака проплывают высоко,
Эвридика выходит, как встарь,
Зажигая зелёный фанарь.

ВЕСЕЛЫЙ ТЕЛЕФОНЩИК

Пока весна, февраль закончив,
Сплавляла снежный Арарат,
Пришёл весёлый телефонщик,
Поставил чёрный аппарат.
Казалось, он щеглов пернатей,
Мой телефонщик — озорник,
Он на столбе висел, как дятел,
В плену весенних позывных.
Был у него высокий повод
У птиц быть принятым, как брат —
Заворковал, как голубь, провод,
Скворцом защёлкал аппарат.
И я включился в шорох веток,
Услышал гроздь птичьих гнёзд,
В огромное пространство лета
Свою квартиру перенёс.
А он, весёлый камертонщик
И совопросник проводов
Весенний день собой закончив
Оставил птичий городок.

Олег Ильинский, 1972

УПОЕНИЕ ДОСТОЕВСКОГО

Всё, что делают герои Достоевского, они делают с увлечением и никогда не устают. То же самое Розанов сказал о Достоевском, и он, несомненно, был духовным иудеем, а не эллином, как новый Гомер — Толстой. Известны досадные антисемитские выпады Достоевского, напр., в письмах к жене, но неприятных евреев он не выводил. «Блаженнейший и незабвенный» Исай Бумштейн в «Мертвом доме» несколько комичен, но это не отрицательный тип, а вот неприятных поляков, немцев, французов у него немало...

Достоевский смолоду увлекался Шиллером, но его страсть негерманская, философская. Он не Маркиз Поза, хотя этот *герой-идея* предвосхищает его спорящих «русских мальчиков». Достоевский сродни Иову и ветхозаветным пророкам: и с ними его иногда сравнивали. Еще ближе ему новозаветные апостолы, тоже иудеи, которые стали верными учениками Христа через отречение, сомнения, ненависть: Петр, Фома, Павел.

Измерение Достоевского: напряжение, а также упоение, и о его героях следовало бы судить по двенадцатибальной шкале, установленной для землетрясений, но приспособленной для душе-духотрясений! Достоевский, как и пророки, апостолы, прежде всего «переворачивает» личность, и потом уже общество. В этом его отличие от политических революционеров. «Чтобы переделать мир по-новому», учил старец Зосима, «надо, чтобы люди сами психологически повернулись на другую сторону». Это древняя иудейская мудрость библейских пророков, которые, прежде чем учить, духовно воскресали в Боге. Это религия личного Бога, от которого его герои часто отступали, но, вместе с тем, никогда о Нем не забывали.

Черные козлища Достоевского: самодовольные неподвижные пошляки, Лужин, Кармазинов или Миусов, но уже не Вельчанинов, которого встряхнула неожиданная встреча с «вечным мужем» — Трусоцким. Есть пошлость и в добро-

вольных шутах Достоевского, но их неуверенность в себе, их скандальные буффонады, повышают этих паяцов в чине, и при измерении силы их напряжения и упоения, они дают несколько очков вперед многим праведникам. Сократим шкалу душе-духотрясений до шести баллов и попытаемся оценить героев романа «Бесы». Окарикатуренный Тургенев — «нувеллист» Кармазинов — безнадежный пошляк, мертвая душа, впрочем, с аппетитом поглощающая котлетку за завтраком! Его измерение нулевое, как и у бездушного фанатика Шигалева.

Единицу в этой шкале заслуживает Ставрогин, вызвавший столько душе-духотрясений у бесов, но сам не сотрясавшийся. Он «пустое место» под маской красавца, и в конце концов осознает свое небытие: вешается, и уже поэтому он выше нулевых героев — вульгарного Кармазинова и автоматического Шигалева. Может быть, ту же отметку заслуживает и праведник — епископ Тихон, не христанский иудей, а христианский эллин: он хорошо (изнутри) понимает заблудших овец, но сам — уже успокоился в духовной гармонии: обратился к Богу, свидетельствуя о Нем, но никого не обращает, ничего в мире изменить не может.

Двойку поставим бесоводцу Петру Верховенскому, и не за энергию-динамику, а за энтузиазм, за упоительную мечту о революционном Иване-царевиче — Ставругине, которому он неожиданно целует руку. Та же отметка неврастеническим бесам: Виргинскому, Лямшину или пошлому, но умному обывателю Липутину, которого сбила таки с панталыку революционная мечта. Также и шуту Лебядкину — за воображение, за комический дар (Краса красот сломала член). Влепим двойку и двум бесам реакции, отметив, что были и такие, хотя критики обыкновенно их не замечают. Это губернатор Лембке, немчик-полуидиот, который втайне от жены склеивает из картона игрушечный театр или же пишет роман... Его очеловечило безумие, и не только комично, но и трагично его сидение в поле с букетиком желтеньких цветочков! Другой бес реакции — русский полуидиот Семен Яковлевич, не лишенный прозорливости и наградивший верного рыцаря Лизы Маврикия Николаевича чаем «внакладку».

Кому тройка? Т.е. удовлетворительная отметка. — Генеральше Ставругиной — за девичьи вздохи о красавце Ку-

кольнике, за материнские мечты и тревоги о сыне — принце Харри, за все разочарования в презренном, но и любимом Степане Трофимовиче. Тот же балл простым *служащим* женским душам — Даше и Книгоноше. Удовлетворителен и юный Эркель — ангел, попавшийся в сети демонов.

Четверка Федьке Каторжному, хотя бы за то, что он режет-грабит, а убийцам ведь легче покаяться, чем честным обывателям... Но сверхчеловеки-душегубцы в «Мертвом доме» (напр., Орлов) куда правдоподобнее, живее, чем этот фольклорный разбойник... Рядом с ним барышня Лиза, которая рискнула-таки, и убежала с бала к Ставрогину, а также и ее рыцарь Маврикий Николаевич.

Пятерка Степану Трофимовичу, хотя в первых главах он сродни пошлому Кармазинову, либералу и атеисту. Он духовный отец бесов и, к тому же, еще паразит, приживальщик. Всё же его тревожит-сотрясает «вечная тоска». Вот он взрывается на фестивале литературы, и Достоевский вкладывает в его уста свои заветные мысли о красоте, которую не понимают гоголевские «коротенькие люди», все эти новые Бобчинские-Добчинские, ставшие интеллигентами — прогрессивными личностями и даже революционерами-заговорщиками. Но настоящей высоты духа Верховенский достигает в финале, — когда с палочкой-посохом уходит в романтические дали, а на самом деле к Богу, которого он на своем вольтерьянском жаргоне называет Великой Мыслью. Это самый грандиозный герой Достоевского, и не ближе ли он Ламанчскому рыцарю, чем кихотик-христосик Мышкин! Степан Трофимович Верховенский, большое испорченное дитя, до самого конца лепечет свои русско-французские фразочки и, сам того не ведая, приобщается не Великой Мысли, а самому Христу... Пятерка и честному плебею Ивану Шатову, разочаровавшемуся в бедах революции и в прекрасном, побитом им, Ставрогине. Он поверил в Россию, ну, а в Бога он еще будет верить! Ню есть блаженство в его кротости, а кроткие наследуют землю... Пусть Бога Шатов не обрел, но в невинной своей гибели он *хриstopодобен*, как св. мчк. Борис и Глеб в гениальной поэме-сказании 11-го века.

Шестерка Кириллову — любимому герою Альбера Камю, француза с «русской душой» Как и его духовный брат и «идейный» недруг Шатов, он с собой не «возился», но стал

личностью... Может быть, по силе напряжения, нет ему равных в мире Достоевского. Он утверждал человекобога, а любил только Христа, хотя и не верил в Его воскресение. Петр Верховенский, на лакейском своем языке, верно определил Кириллова: — свинство в том, что в Бога он верит пуще, чем поп... Кириллов гибнет во мраке отчаяния, безумия, а мог бы стать новым Петром, Фомой, Павлом.

Самый «положительный», самый светлый и вполне удавшийся образ Достоевского — Хромоножка, которую он не побоялся скомпрометировать клиническим идиотизмом! И ей самая высшая отметка! Пусть Лебядкина не понимает самых простых разговоров, но она понимает ту высшую правду, которая скрыта от других героев «Бесов». Эта правда — Христос и поэтому она видит в Шатушке праведника, а в Ставрогине самозванца. Не портит ее даже стилизованная фольклорная философия из песен духовных (мать-сыра-земля — Богородица). Эта святая идиотка — единственная в мире Достоевского *героиня-идея*, и ее высокое упоение — белое, а не красное или черное.

Мои отметки-баллы можно изменить... Но явно: героев Достоевского нужно судить преимущественно по силе напряжения их страстей, по мощи их идей, по упоению муками и восторгами, а не по одним только проблемам «экзистенциальной» философии их творца.

Достоевский был философом, но его мысли слиты с его образами. Он философ-поэт, и свои романы он часто называл в письмах поэмами. Многие из его героев (а также и Мария Лебядкина) — тоже философы-поэты, страстные мечтатели. Но они не идеалисты-романтики, увлекавшие его в драмах Шиллера или в романах Санд, а реалисты «в высшей степени» или же «евангельские реалисты», как сказал бы Эрих Ауербах. Тезис его ученой и мудрой книги «Мимесис»: античный классицизм — абстрактен, враждебен живой жизни. Для греков отрекающийся Петр годился бы разве что для комедии: это жалкий, струхнувший рыбак! Но в Средние века и в эпоху т.н. европейского реализма, *в особенности же русского*, утверждает Ауербах, в новом облике возродился евангельский реализм, и трагических царей сменили обыкновенные люди, которые, то отталкиваясь от Спасителя, то притягиваясь к Нему, иногда падают ниже Эдипов, но зато и куда выше их поды-

маются. Именно поэтому едва ли, по-моему, прав Вячеслав Иванов, назвавший романы Достоевского романами-трагедиями в классическом смысле. Достоевский отчасти и драматург, но не классик, а евангельский реалист.

Герои Достоевского чаще мучаются, чем восторгаются! Счастливых среди них нет. Относительно счастливы только безнадежные пошляки вроде Лужина, Кармазинова, Миусова. Но зато его Несчастливцы полны напряжения и упоения как в восхищении, так и в страдании. Разве не упоительно умирает Катерина Ивановна, распевая на улице французские и немецкие песенки? Разве чахоточный студент Ипполит не упивается своим необходимым объяснением и эффектом «неполучившегося» самоубийства на восходе солнца?

Иннокентий Анненский (в «Книге отражений») вскользь заметил, что в мире Достоевского смерти нет. Мысль, казалось бы, нелепая! Так, в эпилоге «Бесов» погибает почти все многочисленное население этого романа! Но сравним *достоевские* смерти с толстовскими! Кто не умирал с князем Андреем, с Николаем Левиным, с Иваном Ильичем! Их смерть страшная, окончательная. А герои Достоевского, при всей страстности, слишком духовны, чтобы принимать их смерть всерьез. Их динамическая диалектика не обрывается в читательских душах и часто продолжается другими героями. Так, бунт Ипполита продолжают Кириллов и Иван. Отец Зосима очень реалистически «провонял», но смутившийся было Алеша оправился, и позднее он пойдет по пути старца-учителя, хотя бы и через участие в революционном движении (если верить рассказу А. С. Суворина). Смерть у Достоевского неокончательна, как неокончательны и его герои. Они не классические маски, и у них нет племенных или родовых признаков эпических героев Гомера или Толстого. Можно даже утверждать, что его люди не очень русские, что, конечно, очень возмутило бы Федора Михайловича. Отсюда: необыкновенная популярность Достоевского на Западе. Один французский критик сказал: — «У нас в Париже вы за каждым углом найдете Раскольникова!»

Быт у Достоевского имеет второстепенное значение. У него больше бытия, всегда граничащего с небытием, но непобеждаемого смертью. В его мире никто не работает: инже-

нер Кириллов не строит мосты, студенты не учатся, генералы не воюют. Все гуляют-бродят, думают-говорят, убивают, убиваются. Для других занятий у них не остается времени. Они напрягаются-упиваются, словно предчувствуя, что время когда-нибудь погаснет в уме (Кириллов). Это понял в своей замечательной книге М. М. Бахтин («Проблемы поэтики Достоевского»). Известен его тезис о полифоничности, но существеннее другое: в романах Достоевского он обнаруживает черты и приемы сатиры Мениппа (мениппеи) или же средневековых скандальных действий, т.е. элементы серьезно-смехового жанра, которые ярче всего выражены в упоительных *достоевских* скандалах. Достоевский, несомненно, был мастером увлекательных сцен, в которых нарушаются общепринятые нормы, и всё летит вверх тормашками. Так, почтенные генеральши Епанчина и Ставрогина вступают в «речевые мезальянсы» с шутами гороховыми, будь то Лебедев или Лебядкин, хотя «по этикету» им не полагалось бы даже сидеть с ними в той же комнате. Но Достоевский позволяет этим дамам присутствовать на скандалах! Всё позволено и на карнавалах. Так, в Риме Гёте слышал, как мальчишка, потушив свечку отца, весело крикнул ему: — Смерть тебе, сеньор падре! (Бахтин). А у Достоевского мелкий чиновник Лебедев запугивает их превосходительство апокалипсическими ужасами. Но тот «римский» отец только смеялся, а вельможа (в «Идиоте») хватил кондрашка.

Карнавал — веселый праздник-скандал, нарушающий монотонию будней. А в литературе карнавальная функция мениппеи зачастую сатирическая или пародийная. Достоевский не был сатириком, как Свифт или Салтыков. Для чего же нужны были ему мрачноватые, но и карнавально-упоительные скандалы? Настоящего ответа я у Бахтина не нашел. Может быть, эти его мениппеи — репетиции грядущих катастроф. Так, еще до окончания безобразного фестиваля в «Бесах», разгорается пожар в городе, Федька Каторжный убивает Лебядкиных, и вскоре погибают многие другие герои. Первый большой скандал Настасьи Филипповны предопределяет ее гибель от руки Рогожина. Митины неистовства в селе Мокром оканчиваются его арестом. Так, комический взрыв предваряет трагический взрыв (климакс). Напряженно-упоительны у Достоевского не только скандалы, но и многое другое: беско-

нечные блуждания по фантастическому Петербургу мечтателя из «Белых ночей», Подпольного человека, Раскольников, Мышкина, Рогожина, Вельчанинова. Труссоцкого или новые сократические диалоги в кабаках — Версилова и Подростка, Ивана и Алеши, буффонады Мармеладова, Лебедева, Лебядкина, Ф. П. Карамазова. Всё это делается с увлечением, без усталости, со страстью! Но для чего? Это особенное библейское богострастие. Достоевского и его героев поистине Бог мучил, Бог присутствующий или же чаще отсутствующий, и это мучение было упоительное, несравнимое ни с каким семейным счастьем Толстого или же с роковыми «влюбленностями» Тургенева.

Обратная сторона медали... Лакей в доме М. К. Морозовой в Москве, отказывая непрошеным посетителям, говорил: — Барыня нынче заперлись, они Бога ищут! (По рассказам покойной М. М. Морозовой). Федор Михайлович искал Бога иначе, но для некоторых его врагов он недалеко ушел от той московской барыни, окруженной Скрябиным, Бердяевым, Вячеславом Ивановым, Андреем Белым... Для профессиональных убийц Достоевского (будь то напр. Бунин), достоевщина — безвкусица. Зачем вообще понадобилось ему совать Христа в бульварные романы? (Фраза из бунинского рассказа «Петлистые уши»).

Тоцкий, соблазнитель Настасьи Филипповны, после учиненного ею скандала, восхищается: — Как всё это эфемерно, романтично, неприлично! Пусть он и пошляк, но в данном случае он попал «в точку» скандально-карнавального Достоевского. И немало есть здравомыслящих, талантливых, но всё же *коротеньких людей*, которых «неприличие» Достоевского не восхищает, а только раздражает. При этом, они обыкновенно видят только его промахи: мелодраматическую Соню Мармеладову или же сюсюканье над *деточками* в «Братьях Карамазовых» (забывая, что Коля Крastoкин, несомненно, удался, и на *деточку* не похож).

Литературно-неприличен и богословски-неприемлем был Достоевский и для совсем не *коротенького* Константина Леонтьева, обвинявшего в розовом христианстве будто бы поддельного, т.е. непохожего на настоящих (оптинских) старцев Зосиму. Но этот «великий разбиватель стёкол» (как его одобрительно, хотя и не соглашаясь с ним, называл Толстой)

сам был скандалистом и с упоением описывал карнавальный кавардак на консульском приеме («Одиссей Полихрониадес»), а в дерзновенной своей публицистике был реакционером с темпераментом древнегреческого хулигана Алкивиада! Это хорошо понял Розанов, и я не сомневаюсь, что Леонтьеву было бы куда интереснее разговаривать не с одобряемым им Вронским, а с «неприличными» богоискателями Достоевского. Христианство Сони, может быть, и розоватое, но не христианство Зосимы и Паисия. И как пламенно богоборчество бунтарей — Ипполита, Кириллова, Ивана, которые отрицая или отвергая Бога, Его утверждали хотя бы уже тем, что принимали веру всерьез и ничего положительного противопоставить Богу не могли. Они сродни Савлу, еще не ставшему Павлом.

Замечание не отрицателя, а только не-любителя Достоевского. Х. как-то сказал мне: — Достоевский — писатель для гимназистов старшего возраста! Да, молодежь он увлекал и увлекает, напр., американскую. Так, один из моих студентов в Сеаттле сказал: — Мне несколько раз в день хочется поговорить с Достоевским по телефону. Если во взрослом человека уже ничего юношеского нет, он едва ли будет перечитывать Достоевского (а юные энтузиасты редко увлекаются Толстым или читают Бунина). Но и старикам не следует вытравлять из души пережитков юности. А мужественность *достоевских* бунтарей: не смелее ли они толстовских офицеров? Но всё же и Кириллов мельче Иакова, которому, однако, легче было жить: он, богоборец, не знал безбожия...

Увлекающий, упоительный Достоевский Христа нам не раскрыл: раскрыться Он может только в жизни. Но мы знаем: живой личный Христос был ему дороже всего, дороже справедливости и прочих положительных понятий. Об этом он писал в Сибири Фонвизиной и то же самое сказал его любимый герой — Шатов. *Самое главное* Достоевского: Христос есть мера всех вещей, мера, прежде всего, человеку, но и Богу. Это знают не только успокоившийся старец Зосима и не вполне воплотившийся Алеша, но и реализовавшиеся бунтари Достоевского. Ипполит сказал: вся земля «создавалась-то, может быть, единственно для одного появления этого существа», т.е. Христа. Почти то же самое говорит Кириллов: — Этот человек был высший на земле, составлял то, для чего ей жить. А в «Легенде» Ивана Карамазова, хотя Христос ни

в чем не убедил Великого инквизитора, но побеждает его силой духа. Поэтому инквизитор не сжег Его, а отпустил на волю. Может быть, в будущем ко Христу скорее приведут не благообразные старцы, не христианские эллины, а страстное отрицание духовных иудеев обернется еще более страстным утверждением.

Немало было написано о стиле Достоевского, и многое было верно подмечено, но далеко не все еще угадано и объяснено. Так, остался не понят комизм Достоевского, хотя писалось и об этом. Увлечение, упоение многих его героев было выражено ими на языке странном, нелепом, даже неправильном и иногда комическом. Неправильно говорят и герои Толстого, а также и он сам, но по другой причине. Еще в одном из Севастопольских рассказов Толстой провозгласил, что главный его герой — Правда, которая, по его убеждению, не любит и даже не может изъясняться красноречиво, как, напр., ненавистный ему Тургенев (который возмущал и Достоевского). Академик Виноградов собрал немало примеров сомнительных синтаксических построений у Толстого, который так боялся писать красиво. Функция *красной* и бедной речи очевиднее всего в драме «Власть тьмы». Есть настоящий словесный дар у Матрены, вдохновительницы убийств, она так и сыпет забавными поговорками и знает все семьдесят семь уверток краснбайства и лжи. А правдолюбец Аким еле лыко вяжет: — Тут, тае, Божье дело идет... кается человек, а ты, тае, ахту... Бог-то, Бог-то! Он во! — Но его устами говорит толстовская Правда.

У Достоевского «люди одного безумия» живут в упоительной для них атомосфере сумасшедшего дома, о чем они сами иногда догадываются (в «Идиоте», «Подростке», «Братьях Карамазовых»). Они часто завираются от избытка пафоса, как искреннего, так и лицемерного (батоса). Весь Митя в этом упоительном восклицании: Смрадный переулочек и inferнальница! И как наслаждается своими издевательскими суперлативами Лебедев, величающий Мышкина «лучезарнейший князь!» А старый Карамазов в насмешку величает отца Зосиму «божественный и святейший старец!». Добровольные шуты Достоевского — комики, но и энтузиасты. Экстазы переживают самовозвеличивающий себя бывший приживальщик

Фома Фомич и самоуничижающий себя пьяненький Мармеладов в смрадной распивочной.

У Гоголя великие словесники и гении гротеска — пошляки, хотя бы Ноздрев с его эвфонической бессмыслицей: рюши-трюши, суптильное суперфлю, каналья-канарейка... Или молчаливый Собакевич, неожиданно и очень красноречиво расхваливающий силу и сноровку проданных им мертвых душ. Словесно одарен и Чичиков, задумавшийся о судьбе беглых душ Плюшкина. А лучшие словесники Достоевского — его шуты. Особенно талантливы Лебедев в прозе и Лебядкин в поэзии.

Песня песней Лебедева — его уже упоминавшийся рассказ о том, как он толковал апокалипсис вельможе Нилу Александровичу, спросившему: — Правда ли, что ты профессор Антихриста? И не потаил: — Аз есмь, говорю... Одарен и Лебядкин, мастер звучных виршей. Он нелеп, смешон, гадок, но был у него слух к поэзии:

И порхает звезда на коне
В хороводе других амазонок...

В своих увлечениях, в безумной спешке многие герои Достоевского, сами того не замечая, говорят до нелепости отрывисто, с перескоками. Мышкин спрашивает Лебедева: — ...участвовали ли вы сколько-нибудь в этой вчерашней коляске? Аглая впопыхах признается Мышкину: — ...из бутылки замуж пойду. Татьяна Павловна говорит Подростку, что он любовник из бумажки. Петр Верховенский отцу: — Я ведь думал, что мы тут свои, Степан Трофимович, твои свои, а я-то в сущности чужой. Ополоумевший губернатор Лембке кричит полицмейстеру: — Для зажигания домов употребили гувернанток! Лиза издевается над Ставрогиным: — Я оперной ладьей соблазнилась!..

Лучший пример нелепой и вдобавок неправильной речи, которая, однако, не воспринимается как комическая, это монологи Кириллова. Его дурной русский язык будто бы объясняется оторванностью от России, отвлеченностью мыслей. Но речи Кириллова не беспомощные, эмоциональные, как у других запыхавшихся героев, и не издевательски-насмешливые. Существенно, что этот «отрывистый человек» и гениальный философ-атеист, любивший Христа больше мно-

гих правоверных христиан, не хочет тратить лишних слов, которые расточают более болтливые богоискатели. — Я презираю, чтобы говорить, заявляет он при первой нашей встрече с ним. А перед самоубийством он кричит Петру Верховенскому: — Я и теперь каждый день хочу, чтобы не слова! Это — не эпиграф ли ко всему Достоевскому, а также и к Толстому: оба ведь стремились к тому, чтобы слова, наконец, перешли в дело! Какой накал философского бешенства в скупых речах Кириллова! Он самый мужественный из бунтарей Достоевского. Неловко-нелепо, но и живо-убедительно он утверждает, что надо всем людям «узнать, что они хороши, и все тотчас же станут хороши», т.е. наступит рай на земле. Той же мыслью Достоевский позднее одарил рано умершего Маркела, брата о. Зосимы, но в речах старца эта мысль теряет электрическую силу: слова как будто те же самые, но вялые, не заряжающие энергией. Есть в Кириллове и детские черты, он играет с ребенком хозяйки, «который кричит очень, живот. Мать спит, старуха приносит; я мячом» (развлекаю). Кириллов дружит с Федькой Каторжным, который его почитает: — Я ему апокалипсис читал, и чай... говорит он, и здесь та же предельная сжатость языка. Если бы Кириллов обратился, то учил бы убедительнее, доходчивее, чем житийный старец Зосима. Учил бы сухо-кратко и огненно-опалаяюще. Может быть, такие вот нехристи и возродят христианство, если только обратятся к Богу. Кириллов «неполучившийся» апостол Спасителя, еще отрекающийся Петр, еще неверующий Фома, еще ослепленный Павел.

Замечательно, что Достоевский не боялся вкладывать в уста своих гротескных героев самые заветные мысли. Забавен анекдотец Лебедева о средневековом людоеде, который «умертил и съел лично и в глубочайшем секрете шестьдесят монахов и несколько светских младенцев, — штук шесть, но не более...» Финал: преступник доносит на себя духовенству, его ждут колеса, костры... В этом его величие, объясняет Лебедев: у раскаявшегося антропофага 12-го в. была «связующая мысль», т.е. была совесть, был Бог в душе. В 19-м в., продолжает Лебедев, чаще прежнего подвозят хлеб голодающему человечеству, и уже незачем заниматься людоедством, теперь прогресс по сравнению с 12-м в., но есть и регресс: нет Бога. Люди живут сытнее, но бессмысленнее. Пусть Ле-

бедев всех потешает, но его идея не смешная, это одна из главных идей самого Достоевского. Без Бога можно жить с удобствами, и даже жить честно, но такая жизнь лишена настоящего смысла и доведет человечество до неслыханной бесчеловечности, что и случилось в 20-м в.

Потешен и Степан Трофимович с его комическим гимном красоте на фестивале литературы, но и здесь слышится голос Достоевского, утверждавшего, что красота спасет мир, тогда как его яростный противник Константин Леонтьев знал только то, что красота вдохновляет...

Здесь Достоевский — «барочен»: сжимая до нелепости речи Кириллова или снижая, высмеивая свои верования в серьезно-смеховом жанре мениппеи, он иногда утверждал дорогие ему идеи с большим успехом, чем в полуфольклорной повести о старом Долгоруком или в полужитийных записках о старце Зосиме. А в рассказе о Хромоножке слились мотивы фольклорные, житийные, мениппейные, и эта бедная дева Мария не просияла ли в его мире, как омытое любовью евангельское солнце? Она и святая, и смешная, и глупая, и мудрая.

Книгу о Христе Достоевский не написал: не было для нее материала в религиозно-равнодушном 19-м в. Но напрягая-потрясая души, он страстно, с упоением, подводил-приближал своих бунтарей, безумцев, шутов, юродивых, убийц, самоубийц к евангелию, ко Христу: и Христом только и можно измерять человека, то низко падающего, то высоко поднимающегося. В этом выразилось его библейское богорвение. Странник Долгорукий, епископ Тихон, старец Зосима уже обрели Христа, и он перед ними благоговел, но живого слова о них сказать не сумел. Нет в мире Достоевского эллинской гармонии, нет дневного света, а есть иудейский ночной огонь, опаляющий неисправимых энтузиастов: они без устали бунтуют или шутуются, губят, гибнут, но на самом деле не умирают: и не потому ли, что их упоение вне времени, которого они в вечной спешке почти не замечают.

Юрий Иваск



Быть может счастье быть любимым
Лишь слабый отголосок тех
Далеких и неповторимых
Еще дожитенных утех,

Когда на узкой кромке рая,
На том последнем рубеже
Мы были счастливы, не зная,
Что мы обречены уже,

Что наше ясное блаженство
Переродится навсегда
В такое вот несовершенство
Сомнений, боли и стыда.



Всё обогнало цель свою,
Всё процвело и облетело,
Но жадно в памяти таю
Твое прижавшееся тело.

От губ и до колен оно
Запечатлелось в жаркой глине
Воспоминанья моего
И никогда в нем не остынет.

Оно всё ближе, всё точнее,
Хранимо от других настолько,
Что слепок близости твоей
Одна разбить ты можешь только.



Горький миндаль цветет
Так же свежо, как сладкий.
Горек ли будет плод,
Сладок ли — вот загадка!

Так и любовь в цвету
Тайной всегда овита:
Можно ль предвидеть ту
Горечь, что в ней сокрыта?

Вспомни, когда глотнешь
Первого огорченья,
Вспомни тогда, что всё ж
Было сперва цветенье!



Да, ты уйдешь, но ты оставишь
Всё то, что подарила ты,
Как пианист дыханье клавиш
Средь наступившей немоты.

И будет петь в воспоминаньи
Тот смутный, мнилось мне, мотив,
Что лишь сейчас, среди молчанья,
Стал подлинно красноречив.

Дм. Кленовский, 1972

ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВ

Вячеслав Иванович Иванов, которого Л. И. Шестов недаром прозвал «великолепным», намекая на красу Флоренции Лоренцо Великолепного, — несомненно краса и великолепие русского ренессанса и русской классической филологии, славистики и литературоведения, гениальный друг гениальных двух ученых и мыслителей — Фаддея Францевича Зелинского, профессора С.-Петербургского университета, и о. Павла Флоренского, профессора Московской Духовной академии и Московского университета. Это, можно сказать, целый «Пир», сияющее духовное солнце: тут и досократики, тут Сократ с Платоном, тут пифагорейцы, неопифагорейцы и неоплатоники, тут и дивное духовное солнце Достоевского в окружении меньших светил.

Вячеслав Иванов прежде всего один из величайших русских поэтов по культуре и по бесподобному мастерству и звучанию стиха и его инструментовке, автор несравненного сборника *Cor ardens*», которым, кажется, нельзя вдоволь начитаться. Но сверх того он блестящий филолог, классик, совершенно свободно говоривший и писавший по-латыни и по-древнегречески, не говоря уже о том, что он был знаток античной культуры и превосходный славист, не знавший себе равного. Но еще не все: Вячеслав Иванов был поистине великий мыслитель, писавший несравненные метафизические исследования и украсивший соответствующую литературу многими томами работ, где глубина и новизна мысли и проникновения в суть дела услаждают читателя потоком еще неизведанных духовных наслаждений, ибо тут что ни строка, то откровение, новая мысль, новые перспективы, а главное — изложенные на бесподобном русском языке, на каком еще, кажется, никто не писал. Можно удивляться только тому, что

Вячеслав Иванов. Собрание сочинений. Под редакцией Д. В. Иванова и О. Дешарт, с введением и примечаниями О. Дешарт. Изд. «Foyer Oriental Chrétien» т. I, Брюссель, 1971, (871 стр.)

проф. В. В. Зеньковский в своей «Истории русской философии» не только не уделил ни одной строки этому гениальному человеку, но даже просто не упомянул о нем. Случай, увы, не редкий в летописях истории русской культуры.

Но с тем большим благоговением и сознанием исполненного долга мы здесь воздаем по заслугам великому мастеру, ученому и мистiku-мыслителю и надеемся, что настоящий отзыв о первом томе полного собрания его сочинений будет только началом. Настоящий том представляет в полном смысле слова сокровищницу духовно-ювелирного дела. Он содержит: 1) великолепное введение; 2) повесть о младенчестве великого мастера; 3) повесть о Светомире-Царевиче; 4) «Кормчие звезды»; 5) «Поэт и чернь»; 6) «Ницше и Дионис»; 7) «Копье Афины»; 8) «Прозрачность»; 9) «Символика эстетических начал»; 10) «Кризис индивидуализма». От одного этого оглавления начинает сердце биться сильнее и всем существом овладевает жгучая и одновременно радостная жажда чтения, возникает предвкушение предстоящих духовных наслаждений, предчувствие взлетов «во области заочны».

В. И. Иванов (1866-1949) увидел свои дни в первопрестольной столице России Москве и был типичным сыном московской утонченнейшей культуры. Окончив гимназию и университет (в Москве) и сначала учась на историко-филологическом факультете у известного проф. П. Виноградова (впоследствии проф. Оксфордского университета), он впоследствии перешел в Берлинский университет к знаменитому проф. Моммзену, под руководством которого блестяще и до последних глубин изучил классическую филологию и древнюю историю. Докторская диссертация была им написана по-латыни (*De societatibus vestigialina populi Romani*) — об обществах откупщиков, в древнем Риме. Труд этот произвел весьма благоприятное и сильное впечатление своей эрудицией, культурой и великолепным *классическим* латинским языком, на котором он был написан. Даже сухость темы лишь оттенила благородство стиля и высокую дисциплину умственного труда.

Однако, подобного рода тем В. И. Иванов больше уже не касался — иные темы, иные духовные установки и измерения религиозно матафизического и религиозно философского типа на основе художественной их обработки овладели всем существом великого маэстро. Сюда, конечно, надо отнести истол-

кование этой тематики и ее глубинные взятые в специфически эротическом смысле, так сказать, выноса за скобку мужески-женской любви и общности вкусов и установок, но еще и богословско-метафизических и философских манер вникания в сущность вещей. Перед Влад. Соловьевым Вяч. Иванов не только преклонялся (как одно время перед ним преклонялся Константин Леонтьев), но готов был считать великого русско-го философа-метафизика и поэта святым и праведником. Эту оценку гениального ученика следует, во всяком случае, принять во внимание, ибо тут с Вяч. Ивановым готов сходиться и В. В. Розанов, несмотря на ссоры и временные расхождения.

Гёте и Фридрих Ницше были те из западных гениев, влияние которых Вяч. Иванов испытал, по-видимому, в наибольшей степени. Ярко выраженное поэтическое дарование символического типа сделало его одно время вершиной русского символизма. Это — знаменитый в свое время сборник стихов под заглавием «Кормчие звезды». Кстати сказать, в нем было действительно нечто звездно-символическое или, если угодно, астрологическое и даже роковое. Так же, как и у Фридриха Ницше, его любимой историософской и культурно-исторической темой было сопоставление Аполлона и Диониса, причем главной темой его был древний фракийский бог Дионис, где сочетаются эллинизм и славянизм. Его первым шедевром в этом направлении, сразу составившим ему имя и сделавшим эту тему модной — в известном смысле навсегда, как и «Рождение трагедии из духа музыки» Фр. Ницше, — была гениальная и блестящая книга «Эллинская религия страдающего бога». С этих пор синтез языческого дионисизма и христианской религии Креста стал неизбежным (то, о чем в свое время мечтал Бетховен, обдумывая свою Десятую симфонию, так и оставшуюся нереализованной).

В скорости Вячеслав Иванов стал, и в известном смысле остается, центральным солнцем русского символизма и передовой поэтики со включением эллино-римских мотивов в изобилии. Посещение «сред» Вяч. Иванова, собиравших на его «башне», как не без основания была прозвана его квартира в Петербурге, превратилось в своего рода культурническое и литературно-символическое и поэтическое паломничество. Это было настоящее половодье, весенний, воистину дионисический разлив новорожденной РУССКОЙ ЭЛИТЫ, в сущности создан-

ной или, если угодно, порожденной из духовных недр этого удивительного, незабвенного человека. По своему духовному типу, по манере писать, говорить и преподавать к нему как будто бы ближе всех подходил Иннокентий Анненский, такой же, как и Вячеслав Иванов, превосходный классик-филолог. Вяч. Иванов и был профессором эллинистики, эллинских древностей и греческой литературы на Высших женских курсах, хотя сравнительно короткое время (1910-1912).

После заграничного путешествия (1912-13) Вяч. Иванов поселяется окончательно в Москве, где его и застает революция, которой он сочувствовать не мог. Подобно Иннокентию Анненскому, переведшему Эврипида, Вяч. Иванов перевел превосходными стихами трагедии Эсхила. Вообще, сравнительный, параллельный анализ творческой и переводческой деятельности Иннокентия Анненского и Вячеслава Иванова напрашивается сам собою, и давно уже пора его предпринять. С 1920 по 1924 год Вяч. Иванов был профессором классической филологии во вновь основанном университете в Баку. Там же ему удалось опубликовать одну из своих лучших книг: «Дионис и парадионисийство». В 1924 г. начинается страннический, изгнанный период жизни, как и для огромного большинства русской элиты. Как и следовало ожидать, местом своей новой родины он избрал Италию, куда переселяется в 1924 г.

В 1931 г. появился французский перевод знаменитой диалогической книги «Переписка из двух углов», где было напечатано его открытое письмо к Du Bos, где он объясняет свой переход в римско-католическое вероисповедание, совершившийся при весьма торжественной обстановке в 1926 г. в соборе Св. Петра в Риме. Профессорствовал по кафедре литературоведения в Павии (1926-1934), а потом был до конца жизни профессором в Pontificium Collegium Russicum, где преподавал также и автор этих строк. Умер в 1949 г.

Приходится удивляться, что такого превосходного классика-эллиниста не сделали ученым «тузом» именно по классической филологии. Автор этих строк догадывается, почему это случилось, но предпочитает о своей догадке умолчать, ибо «ходить бывает скользко — по камешкам иным».

Однако Вячеслав Иванов не только не скользит ни по каким камням, но еще, при первом случае, вовсе отделяется от земли в восторгах религиозно-эротического экстаза и летит все

выше и выше, открывая себе такие горизонты, которых еще никто не открывал. Его товарищем по полету был отец Павел Флоренский, которого духовное дерзание тоже не знало ни пределов, ни удержу. Недаром один из гениальных своих очерков, полный историко-филологических ухищрений и грандиозной античной эрудиции, он посвятил Вяч. Иванову.

Для того, чтобы хорошо разобраться в каждом из этих столь родственных друг другу авторов и с пользой для метафизико-мистического познания горнего мира провести их сравнительный анализ, необходимо усвоить себе одну терминологическую деталь, которая, впрочем, не деталь, но нечто первостепенной важности, без чего и психоанализ религии Карла Юнга не мог бы состояться. Эта терминологическая деталь есть различие и, порой, противостояние «*anima*» (душа) и «*animus*» (дух). Для Вяч. Иванова «душа» означает пассивно-женственную сторону, а термин «дух» — действенно-активную сторону человеческой личности как образа и подобия Божия. Но вместе с тем, это как два заряда колоссального напряжения: один положительный электрический, другой — отрицательный электрический, готовые ежемгновенно произвести яркую молнию — одновременно животворящую и смертоносную, источник которой — божественный эрос, производящий «динамитные взрывы» (по выражению Н. А. Бердяева, толкующего эрос Достоевского), и произвести то «землетрясение души» (по выражению Генриха Гейне), без которого не только нет и быть не может творчества, но нет и быть не может жизни, в настоящем смысле этого слова. Это словно та «ракета», о которой с такой силой и энергией говорит увлекаемый ее подъемом-полетом гениальный чудесник Фет:

Лечу на смерть вослед мечте,
Знать, мой удел — лелеять грёзы,
И там со вздохом в высоте
Рассыпать огненные слезы.

Это и есть великая тема взаимоотношения экстаза и религии, тема, которой всю жизнь горел Вячеслав Иванов. По этому поводу великий мыслитель-поэт возвышенно любознательствует: «Если дистанция между Богом и человеком остается после этого грозowego соприкосновения неумаленной, то их взаимоотношение становится после этого качественно чем-

то иным, чем-то, что древние италики называли словом 'религия' (что, собственно, означает связь, соединение, даже вновь восстановление когда-то существовавшей, потом порванной связи)». Как тут не вспомнить блестящее метафизическое созерцание Мартина Бубера в его «Я и Ты». «Присутствует новый элемент как зародышевый зачаток того, к чему позднейшая созерцательность стремится под именем «*unio mystica*» (мистическое единение, чему Карл Юнг посвятил свои лучшие три тома и о чем мы впоследствии будем говорить). Отныне богословской рефлексии дана возможность истолковывать слово «*religio*» в более духовном смысле, выводя его из слова «*religare*». Тут не мешает вспомнить великолепный том прот. проф. Николая Боголюбова «Философия религии», украшение некогда Киевского университета.

С каким-то умирительным внутренним жаром говорит по этому поводу Вяч. Иванов: «Религия становится более интимной, когда человек научается говорить 'Ты' тому, присутствие чего он ощутил в собственной груди — будь то как внезапное посещение, будь то как постоянное пребывание, которое его древний предок со священным трепетом почитал в Царе и првидце».

Совершенно особое случается с тем человеком, который одержим этим экстазом (его можно еще назвать «трансом», согласно проф. Б. П. Вышеславцеву, который здесь видел исток и причину «трансцензуса», исхода в совершенно иные миры. Сюда же относится несомненно и то «божественное безумие» о котором говорит Платон — воистину божественный.

С удивительной энергией и великим углублением в сущность темы говорит тут Вяч. Иванов. В этом пункте (и в ряде других) Вяч. Иванов подкрепляет себя Анри Бремоном. Находит он мощную опору и в уже цитированном Карле Юнге.

При своеобразии сожительства «духа» и «души», и о всех его неровностях и кризисах, которые, оставляя в стороне соответствующие намеки в мистической литературе, подслушали и разгласили не только поэты, как Поль Клодель (первые рассказавший притчу о «душе» и «духе»), но и ученые, как К. Юнг, — вряд ли удивит допущение, что экстатические состояния, предполагающие повышенную восприимчивость, надо рассматривать, как действие женского начала нашего духовно-душевного существа. Ведь и в оргиастических культах

элементы экстаза представлены главным образом женщиной. «В такие мгновения, — говорит Вяч. Иванов, — *anîma*, по-видимому, убегает от опеки мужского 'я', а последнее погружается в некоторого рода самозабвение. Тогда она блуждает, подобно Психее-сказке; она похожа и на Менаду, в диком безумии призывающую Диониса» (стр. 184).

Здесь Вяч. Иванов сближает античные мифы с библейскими сказаниями во внутренне весьма правдоподобном синтезе. «Как Ева восстает из тела Адама во время его сна, так подлинная жизнь *anîma* пробуждается, лишь когда заглох огонь очага наших целесообразно и рассудительно действующих регулирующих и сдерживающих душевных сил» (стр. 184). Далее нечто весьма важное: «Развивающееся в ней тогда сомнамбулическое влечение решительно берет верх над сознательной частью нашего существа и вызывает параличи или летаргию *anîmus'a*, и тем она начинает уже совсем походить на бешеных мужеубийц мифа. Ибо если в большинстве мифологии нельзя не подметить отражение обрядов, то это еще в большей мере относится к психологии, обосновывающей миф».

Кажется, еще ни разу не было среди мыслителей о религии и ее философов такого, который бы подошел с такой глубиной и серьезностью к основному морфологическому и литургическому ядру религии, как Вячеслав Иванов. И действительно, если, как нами было уже давно показано, религия есть триединство мифа, догмата и культа, то миф и культ являются действенной иконографией религии (ее активная иконография), а догмат — ее философией и метафизикой. Вячеслав Иванов как раз вскрыл глубинным анализом своим идеологический или идеократический момент в связи мифа и литургически обрядового, мистериального действия неорелигии, как акта, реализующего догмат, и обратно — догмат, как реализующий мифо-иконологическую действенность или действительность. Насколько можно сделать это человеку — гению Вячеслава Иванова при содействии его необычайного литературно-поэтического дара удалось прозреть в существо религии, хотя это не значит, что в ней не осталось вовсе тайных, неосвященных углов. Как раз наоборот! И мы твердо убеждены в том, что дальнейшие анализы творчества Вяч. Иванова — как художественные, так и философско-метафизические, историософские и культурно-исторические — готовят

читателю не один, а много сюрпризов, духовных драгоценностей, еще не усвоенных, но которые остается лишь усвоить, освоить и подвергнуть дальнейшей углубленной и пристальной разработке.

Вчера во мгле неслись титаны
На приступ молнийных бойниц,
И широко сшибались станы
Раскатом громких колесниц;

А ныне сил избыток знойный
Пролив на тризне летних бурь,
Улыбкой осени спокойной
Яснеет хладная лазурь.

Она пришла с своей кошницей,
Пора свершительных отрад,
И златотканной багряницей
Наш убирает виноград.

И долго Север снежной тучей
Благих небес не омрачит,
И пламень юности летучий
Земля, сокрыв, не расточит.

И дней незрелых цвет увядший
На пире пурпурном забвен;
И первый лист любезен падший,
И первый плод благословен.

В лице Вячеслава Иванова русская метафизическая поэзия дала наследника Пушкину и Тютчеву с их красотой осенних чар полновесного злато-багряного увядания. Но также в лице «Копье Афины» русская культура стала наследницей греко-римских классиков. Вот чем сверкает «Копье Афины» в руках Вячеслава Иванова:

«Ошибочно думают о новых исканиях в области художественного творчества те, которые объединяют их в понятии малого искусства, изначально и по существу рассчитанного на постижение немногих, в противоположность искусству боль-

шому, обращенному к толпе. Как между отдельными стадиями эпохи этих исканий и отдельными ее представителями, так и в самом понятии малого искусства необходимы точные различения. Большого, всенародного искусства нет для современного человека, — быть может, потому, что нет самого современного человека, как сущего, то есть достигшего некоторого статического типа бытия; есть тип динамический, потенциальный и текущий, всецело принадлежащий потоку возникновения, генезиса, становления. Между тем большое, или всенародное, искусство нам было доселе известно только как отражение народного бытия в смысле статического момента в процессе эволюции, — как творческое истолкование уже созданного, как творчество вторичное. В нем художник — не зачинатель, а завершитель; орган непосредственного народного самосознания, он не имеет иной задачи, кроме раскрытия самоутверждения народного, когда это самоутверждение, в определенном цикле развития, уже закончилось и доколе оно еще не разложилось». — «Потому эпохи истинного большого искусства, при высоком уровне народной культуры так редки и так кратковечны; зато монументальное бессмертие обеспечено его произведениям, часто вне прямой зависимости от гения отцов их. Ибо когда заговорит музыка соборной души, не скоро замирают ее отзвуки в соборной душе изменившихся поколений; да и самый язык соборной души всегда существенно один, как голоса стихий — гул горного обвала, рев водопада или набат морского прибоя». — «Статический и соборный характер этих эпох делает их по преимуществу эпохами стиля, который обычно напечатлевается на памятниках вполне самостоятельного и в себе законченного зодчества и определяет в сфере повседневной жизни единство форм художества домашнего, чему примером может служить искусство древнейшей утвари и античных ваз строгого образца» (стр. 728).

Этими «бронзолвами» самого великого мастера Вячеслава Ивановича Иванова заканчиваем мы здесь наш скромный очерк о нем.

Владимир Ильин



Стоит у дома букинист.
— Прохожий, в книги окунься!
— Для всех служителей искусства
Удешевленно продается
«Путеводитель по беспутству»
И «Руководство по сиротству».
— Вот «Алфавитный указатель
Нас возвышающих обманов».
(Хватает книгу покупатель,
На цену даже и не глянув!)
— Вам нравится изящный слог?
Вам слыть поэтом очень хочется?
Вот вам «Бессонниц каталог»
И «Справочник по одиночеству».
— Заглядывайте чаще, братец,
В «Словарь нелепиц и невнятиц».
— Недавно издана опять
Для тех, кто незнаком с предметом,
Статья «Наука погибать,
Или как сделаться поэтом».
— Берите! Невелик расход!
А приложенья не хотите ль?
«Самоубийство как исход», —
Прекраснейшей самоучитель.
— «От литераторских подмостков
До Литераторских мостков» —
Ряд драматических и хлестких
Биографических набросков,
Пособие для новичков.
— Там даже критику найдете,
Читайте все статьи подряд:
Статью «Поэт на эшафоте»,
Статью «Поэт-лауреат».
— И, наконец, совет прощальный:
Читайте пристальней, поэт,
В «Энциклопедии журнальной»
«Классификацию клевет».



По земле шатаюсь я давно,
И везде вожу с собой окно.

Хоть люблю я в жизни перемену,
Но окно всегда вставляю в стену.

Приглашаю я в окно закат.
Птицы пусть в окне моем летят.

Ветку на окно мое кладу,
Рядом сбоку вешаю звезду.

Или, чтоб увидел целый свет,
Создаю ночной автопортрет, —

В раме, за стеклом, стою в окне,
Свет фонарный шастает по мне.

Пусть стоит вселенная вверх дном,
Мне не страшно за моим окном!

Я поеду в городок морской,
Я мое окно возьму с собой

И у волн поставлю непременно,
Пусть окно окатывает пена,

Пусть там волны ходят ходуном,
Хорошо мне за моим окном!

Я от океана отделен,
В раме океан, и застеклен!

Каждым утром, сразу после сна,
Я выбрасываюсь из окна

И лечу на камни мостовой
В мир невыносимо-деловой.

Иван Елагин

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПИСЬМА ТУРГЕНЕВА

Тургенев был двадцатипятилетним мало известным поэтом, когда 1 ноября 1843 года, в Петербурге, он познакомился с Полиной Виардо, выступавшей с огромным успехом в Итальянской опере. По свидетельству современников, знаменитая певица была нехороша собой: глаза на выкате, резкие черты лица, сутуловатая фигура. Но в двадцать два года она уже прославилась на всю Европу своим изумительным голосом; она была сестрой Малибран, дочерью Манюэля Гарсиа, отличалась умом и решительным характером, а кроме того в ней было, вероятно, и личное обаяние, потому что до конца жизни она была окружена верными поклонниками.

Для Тургенева этот ноябрьский день был решающим: он положил начало его исключительной привязанности, продолжавшейся сорок лет, до смертного его часа. Эту дату он будет отмечать ежегодно; семь лет спустя, в 1850 году, он пишет Полине из Петербурга: «Я пошел сегодня поклониться дому, где я имел счастье впервые говорить с Вами. Этот дом стоит на Невском проспекте, против Александринского театра, Ваша квартира была угловая... помните? [...] Как мне сладко сознавать в себе после семи лет всю ту же подлинную, глубокую, неизменную привязанность в Вам [...] и какое для меня счастье, что отблеск Вашей жизни упал и на мою. Пока я жив, я постараюсь быть достойным этого счастья; я сам себя стал уважать с тех пор, как ношу это сокровище в себе... А теперь позвольте мне упасть к Вашим ногам...»

О роли Полины Виардо в жизни Тургенева давно известно; но только что в Париже вышел первый том его до сих пор неизвестных писем, хранившихся у потомков Полины, ее внуков и правнуков;¹ они по-новому освещают глубокую привязан-

¹ I. Tourguénev, Nouvelle correspondance inédite, t. I. Introduction et notes par Alexandre Zviguilsky, Librairie des Cinq Continents, Paris 1971. В этом сборнике напечатано 112 писем Тургенева к Полине Виардо, 36 писем к ее дочери Клоди, 1 письмо к Марианне

занность Тургенева не только к Полине, но и ко всей ее семье, ставшей ему семейным очагом. Даже западничество Тургенева связано с его любовью к Полине: не будь ее, он, вероятно, не прожил бы столько лет за границей.

Уже через год после их первой встречи Тургенев приезжает во Францию и проводит в замке Виардо, в Куртавенеле, все лето, — вероятно, к вежливому удивлению французов, не привыкших к таким длительным посещениям. Тут он сближается и с мужем Полины, Луи Виардо, литератором и переводчиком (на двадцать лет его старше), балует ее детей. Письма его к Полине, вначале сдержанные и почтительные, становятся понемногу фамильярнее. Он позволяет себе с ней даже вольные шутки и прибавляет: «я вижу отсюда, как Вы улыбаетесь, приподняв правое плечо и склонив к нему голову... этот жест очарователен». В его памяти всё связанное с Полиной запечатлелось навсегда.

На протяжении десятилетий центральное место в письмах Т. занимает Полина, ее семья, ее выступления и успехи; о себе, особенно вначале, он забывает. Из Парижа и Лондона, из Петербурга и Москвы он шлет ей подробные описания музыкальной жизни столиц, критические отзывы о концертах и спектаклях, причем строго судит ее соперниц: так например, о Женни Линд, обладательнице замечательного сопрано, он говорит: «Женни Линд прелестна... но у нее нет трагического дарования, но у нее усталый голос, но она поет на немецкий манер, но я знаю одну особу, которую я легкомысленно сравнил было с ней...» Эта особа, конечно, Полина, которую сравнивать нельзя ни с кем.

Впоследствии он первый расскажет Виардо о Мусоргском, гений которого он сразу оценил, о «могучей кучке»; он разделит ее увлечение Вагнером. В шестидесятых годах он будет издавать на свой счет в Петербурге сборники романсов Полины, переводить для нее немецкие тексты на русский, писать о ней хвалебные статьи, — а в Баден-Бадене, в 1867 году, в ее оперетке «Кракамиш или последний колдун» (либретто для

Виардо, 13 писем к княгине Анне Трубецкой, 8 писем Полины Виардо Тургеневу, 11 французских «басен» Тургенева, две басни из собр. проф. Мазона. 42 письма Тургенева к Полине Виардо вышли в СССР в русском переводе.

которой он сочинил) сыграет роль Кракамиша — к великому негодованию своих соотечественников.

Но вернемся к началу их дружбы. После нескольких лет проведенных во Франции, в кругу семьи Виардо, Тургеневу в 1850 году приходится вернуться в Россию. Там его давно ждут, мать настаивает на его приезде: неотложные дела по разделу имения.

Перспектива разлуки с Полиной его глубоко удручает. «Я знаю теперь, что испытывает растение, которое вырывают из земли; оно пустило корни во все стороны — с полным доверием — и вдруг все сломано и разбито... Нет, не все, — мы останемся друзьями, не правда-ли?» Он не знает еще, как длительна будет их разлука, не знает, что за невинную статью о Гоголе его арестуют, потом сошлют в Спасское и что Крымская война задержит его в России до 1856 года.

В Москве, кроме встречи с матерью и братом и бесконечных споров о разделе (постаревшая, но все такая же властная Варвара Петровна сознавала, что пора дать взрослым сыновьям материальную независимость, но никак не могла на это решиться), — Тургенева ждала неожиданность в лице его незаконной дочери, восьмилетней Пелагеи, прижитой им с крепостной портнихой. Об этой встрече, взволновавшей его и пробудившей в нем отцовское чувство, он спешит сообщить Полине, которую посвящает во все свои дела. «О Боже мой, я чувствую теперь, как обожал бы ребенка, черты которого походили бы на любимые черты его матери!..» Но с матерью маленькой Пелагеи у него была лишь мимолетная связь, ее он не помнит и не хочет видеть, — девочка же похожа только на него: «Глядя на нее, мне представлялось, что я вижу самого себя в ее возрасте...» И он решает заняться ее судьбой, просит совета Полины: «Вы моя Полярная звезда, путеводная звезда мореплавателей... Скажите мне, что Вы об этом думаете и что мне с ней делать [...] Ее положение в доме моей матери страшно фальшивое. Из нее сделали что-то вроде служанки. Я не собираюсь делать из нее принцессу, — но Вы меня понимаете. Я хочу, чтобы она была свободной — и она будет свободной».

Варвара Петровна не находила положение девочки ложным; у нее в доме жила на положении компаньонки и ее соб-

ственная внебрачная дочь, семнадцатилетняя Варвара Лутовинова. История литературы, надо признаться, порядочная сплетница и любит рыться в семейных тайнах, которые ее, в сущности, не касаются, — но все же любопытно отметить, что любовником Варвары Петровны был молодой врач (на 28 лет ее моложе), Андрей Евстафьевич Берс, ставший впоследствии тестем Льва Толстого.

На просьбу Тургенева Полина, у которой была большая семья и большой дом, немедленно отозвалась предложением взять девочку к себе. И уже через несколько месяцев маленькая Пелагея, переименованная в Полину или Полинетту, для отличия от «большой Полины», была отправлена во Францию.

«Перед ее отъездом, — пишет Тургенев (8 ноября 1850 года), — я внушил ей только одно: что она должна обожать Вас, как своего Бога (и не она только будет Вас так обожать) и что, думая о Вас, она должна складывать руки, как на молитву и преклонять колени». И он прибавляет — по-немецки, потому что всегда прибегает к этому языку, когда говорит о своих интимных чувствах: «Прошу Вас, позволяйте ей почаще целовать Ваши руки... Помните, что хоть это и не мои губы, но губы мне близкие...»

Ясно, что после таких внушений Полинетта могла только возненавидеть свою благодетельницу; к тому же она, вероятно, ревновала ее к Тургеневу. Идиллии в Куртавенеле не вышло. Полина Виардо упоминает в письме о недостатках своей питомицы: она дуется без причин и ест за четверых. Тургенев пытается вступить за свою дочку, уверяя, что и он в детстве был обидчив и обладал аппетитом Гаргантюа. Из дальнейшей переписки видно, что в 1854 году Полина пыталась отделаться от девочки, предлагая отправить ее обратно в Россию. Тургенев возразил с непривычной для него горячностью: «Это было бы жестоко, это значило бы похерить всё, что до сих пор для нее сделано». И он обещает обеспечить материально будущее своей дочери.

Скажем, забегаая вперед, что жизнь Полинетты сложилась печально: неудачный брак, по-видимому, заключенный наспех, чтобы «пристроить» ее, — одиночество и бедность, потому что «большая Полина» не поделилась с ней тургеневским наследством.

В начале переписки с Виардо о своей литературной работе Тургенев говорит мало и неохотно: «Начал работать, — пишет он Полине из Парижа в 1848 году, — не знаю еще, что из этого выйдет», — он писал тогда для «Современника» ряд рассказов, вошедших в «Записки охотника». Но позже, когда слава писателя перешла границы России, когда во Франции начали появляться переводы его рассказов и романов (многое он перевел сам в сотрудничестве с Луи Виардо), когда он подружился с Флобером, Жорж Занд, Гонкурами, а Ламартин посвятил ему один из своих знаменитых «Entretiens», Полина стала интересоваться его творчеством, а он — с наслаждением посвящать ее в свои литературные замыслы.

В 1859 году, работая в Спасском над романом «Накануне», он делится с ней своими сомнениями: «Я сочиняю теперь дневник молодой девушки... Нелегко схватить эту смесь безрассудства и инстинкта, которая стбит всякой рассудочности. И потом, надо быть наивным...» Несколько лет спустя он пишет ей из Баден-Бадена: «Боже! Какое это было для меня счастье прочесть Вам отрывки из моего романа! (Речь идет о «Дыме»). Я намерен теперь писать очень много, исключительно для того, чтобы доставить себе это счастье. Впечатление, которое это чтение производило на Вас, отдавалось во мне стократно, как горное эхо. В Берлине я прочту Вам всё до последней строчки, изменю или сокращу всё, что Вам не понравится». И прибавляет, конечно, по-немецки: «Мой друг, как я счастлив при мысли, что я весь теснейшим образом связан с Вашим существом. Если я — дерево, то Вы — мои корни и моя вершина» (6 февраля 1867 г.).

Ее одобрение и похвалы его таланту приводят его в восторг, помогают забывать об ожесточенных нападках на него русской критики и «прогрессивно» настроенной молодежи после появления «Отцов и детей», «Накануне» или «Дыма».

«Уверяю Вас, — пишет он еще, — что мое чувство к Вам — что-то совершенно новое в мире, что-то, чего еще никогда не было и никогда не будет». В этом несомненно есть доля правды.

Характерна роль фетишизма в его отношениях к Полине: в разлуке с ней он окружает себя предметами, ее напоминающими: планом ее комнаты в Буживале, слепком ее руки, таба-

керкой, ею подаренной, — и благодарит ее за присланные ему обрезки «ее милых ногтей». И надо отметить также беспрерывно, во всевозможных вариациях, возвращающийся мотив целования рук: «Целую Ваши милые, прелестные, любимые и т.д. руки». Полина же некоторые свои письма заканчивает так: «Протягиваю Вам руки для поцелуя...»

Как он тоскует без нее и без ее семьи, как ему хочется, в разлуке с ними, приобщить их к своей жизни! Этому чувству мы обязаны набросанной им картинкой его пребывания в Спасском в июне 1863 года.

«Воеет ветер, сильный дождь, смешанный с градом, хлещет в окна, небо грязно-серое, темное... термометр показывает 4° выше нуля (в полдень!), в комнатах сыро и холодно, вороны, гонимые порывами ветра, жалобно и мрачно каркают, Фет, только что отсюда уехавший, садясь в коляску, завернулся в толстую зимнюю шубу, и даже лошади его ежились и дрожали от холода; мимо проходят мужики в бараньих тулупах, надвинув меховые шапки на самые бороды, которые ветер треплет, как куриные хвосты; мухи — да что мухи! — две полузамерзшие мухи липнут к рукам, и кислый запах непроветренной комнаты и пересохших грибов проникает в мозги и вызывает беспокойство в ногах и урчание в желудке, — вот Вам точная фотография данной минуты моего пребывания в «сага patria». Можете себе представить, как я мечтаю о моем дорогом и обожаемом Бадене. Право, я чувствую себя здесь, как в карантине. Терпение! Терпение!»

«Дорогой и обожаемый Баден?» Но он восхищается Баденом, только пока там живет Полина, — а потом охладевает к нему. Без Полины, без ее окружения, любое место теряет для него свою прелесть. Так охладел он к Куртавенелю, когда семья Виардо переехала в Буживаль, под Парижем, — и природа области Бри, которую он так любил, стала казаться ему серой и пресной.

Во время своих частых наездов в Россию Тургенев с напряженным интересом следит за изменением политической обстановки и сообщает о своих наблюдениях Полине, которую это, вероятно, не слишком занимало. За несколько лет до освобождения крестьян он пишет ей: «Большая часть дворянства протестует — не против освобождения людей, на этот

счет нет разногласий — но против уступки земель крестьянам. Но надо надеяться, что правительство, опираясь на большинство, доведет это дело до конца». И тут же сообщает, что сам уже принял нужные меры и что весной 1859 года «освободится от клейма рабовладельца».

По природе своей Тургенев — умеренный либерал; ему ненавистно всякое насилие, от кого бы они ни исходило, — от деспотичного ли правительства или от революционеров-террористов.

В 1862 году, во время известных петербургских пожаров, в которых правительство обвиняло революционеров, а те — полицию, Тургенев сообщает Полине: «В Петербурге положение серьезное. Там царит настоящая паника из-за распространяемых безумных прокламаций и из-за пожаров, которые связывают — по-моему, ошибочно — с этими прокламациями. Надо надеяться, что Государь сохранит достаточно хладнокровия, чтобы не поддаваться увещаниям людей, толкающих его на реакционные меры. Народ обвиняет в пожарах студентов и помещиков, то-есть дворян. Все это довольно опасно, и Государь — наш единственный шанс на спасение». (6 июня 1862 года). А немного позже, 27 июня, он пишет ей: «В Петербурге реакция все усиливается и, к сожалению, она до известной степени оправдана». Его особенно поразило запрещение «Современника», в котором он сотрудничал в течение тринадцати лет. «Хотя в последнее время в этом журнале на меня сильно нападали, я не могу не пожалеть о его запрещении... Но надо признать, что он стал очень неосторожен...»

Недрузи часто упрекали Тургенева в «заискивании у молодежи». Упрек несправедливый: острый наблюдатель, он внимательно следил за эволюцией нравов и убеждений, но никогда, чтобы польстить молодежи, не изменил ни одной написанной строки: слабовольный в жизни, как художник он был непреклонен и совершенно убежден в своей правоте. Поэтому его так раздражали нападки «прогрессивных» критиков на искусство для искусства. Спорить с ними было бесполезно. «Я избегаю встреч с литературным миром... эти господа похожи на бубенчики: маленькие, внутри пустые — а звякают. Пробежал журналы и газеты, вышедшие до моего приезда [...] Почти полное отсутствие талантов. Молодые люди говорят, что их и не надо, что это устарело...» (11 января 1864 г.). А годом позже:

«Вы не поверите, в каком жалком состоянии находится в данный момент русская литература [...] ни тени зарождающегося таланта, — это настоящая пустыня» (13 июня 1865 г.). Это раздражение несомненно вызвано отчасти и грубыми нападками на него литературной молодежи.

Но проходит десять лет, и картина резко меняется. В 1879 году, когда он приезжает в Россию, в феврале и марте в честь его устраивается ряд вечеров, и молодежь окружает его шумным поклонением. «Боже мой, что это было! Вообразите себе более тысячи студентов в этой огромной зале Дворянского Соборания. Я вхожу, поднимается шум, от которого могли обрушиться стены, кричат ура, шляпы взлетают вверх, потом приносят два огромных венка [...] меня вызывали раз двадцать, барышни хватили мои руки, чтобы их поцеловать...»

Успех его, впрочем, не обольщает: «всем этим я обязан скорее моему либерализму, чем моим литературным заслугам [...] но все же я чрезвычайно тронут тем, что со мной произошло, — и изнемогаю от усталости» (17 марта 1879).

Но как бы глубоко его ни затрагивало все, что происходит в России, как бы ни интересовали настроения молодежи и судьба отечественной литературы, — все же центром его жизни остается Полина, ее семья, ее дела, ее заботы, — и, как он сам говорит, по первому ее зову он готов бросить всё и спешить к ней.

А Полина? Конечно, она ценит дружбу Тургенева — да и как ее не ценить? Она постоянно осведомляется о его здоровье, уверяет, что все по нем соскучились. Но письма ее довольно сухи и прозаичны, она рассказывает в них главным образом о том, что интересует ее, называет его просто «милый друг Тургенев»; и если почти все концовки его писем — признания в бесконечной верной любви, то Полина свое последнее письмо в этом сборнике заканчивает: «Тысячу приветов tutti quanti, следовательно Вам тоже». Полина позволяла себя любить, ничем себя не компрометируя.

Полной неожиданностью для читателя является впервые напечатанные в этом сборнике тридцать шесть писем Тургенева к одной из дочерей Полины Виардо — Клодине или Клоди: и к ней, узнаем мы, он был так же страстно привязан, как к ее матери. Для современников это не было секретом: некоторые биографы писателя предполагали даже, что она была его до-

черью. Это опровергается фактами: Клоди родилась в 1852 году, Тургенев же с 1850 до 1856 года жил в России. Но несомненно, что к этой дочке его боготворимой Полины он испытывал с самого раннего ее детства необычайную нежность, перешедшую впоследствии в глубокое и сложное чувство, в котором было и духовное отцовство, и отблеск любви к ее матери, и настоящая, не лишенная чувственности страсть. По мнению А. Звигильского, редактора сборника, это сложное положение — любовь к матери и дочери — вдохновила Мопассана и послужила ему темой для известного романа «Сильна как смерть», герой которого неожиданно для себя влюбляется в дочь своей любовницы. «...В сердце художника зародилось странное впечатление двойного существа, очень знакомого и почти неизвестного, двух тел, созданных из той же плоти, — той же самой женщины, но помолодевшей и ставшей такой, какой она была прежде...»

Клоди всего десять лет, когда Тургенев пишет ее матери: «Как я был глуп, что не увез ее с собою. Диди или ее фотографию? Я во власти этой маленькой особы... что ей не неизвестно. Не смею сказать ей, что целую ее руки, но я это делаю» (6 июня 1862 г.). А месяц спустя: «...На свете для меня есть одна только Диди. Не говорите ей этого; она и без того знает, что я ей принадлежу, она способна была бы надеть на меня ошейник, как на Фламбо (собаку) и, что хуже всего, мне это не было бы неприятно...»

Впоследствии он скажет Клоди еще откровеннее: «Я — твоя собственность, а ты — моя собственница». Тут сказывается особенность его темперамента: потребность не владеть женщиной, а принадлежать ей.

Его переписка с девочкой начинается в то же время, в 1862 году. Он набрасывает собственную карикатуру и посылает ее Клоди; «Подумай, хочешь ли ты такого Дон Кихота в мужья? Но как бы то ни было, Дон Кихот любит тебя до безумия, обнимает тебя изо всех сил...»

Шли годы, Полина старела, а Клоди подрастала и хорошела, превратилась в стройную темноглазую девушку испанского типа, — и чувство Тургенева странно двоилось, с матери незаметно перешло на дочь. Как все Виардо, Клоди была талантлива, — хорошо рисовала, много и серьезно работала; и если в письмах Тургенева к Полине значительное место за-

нимают музыка и театр, то Клоди он чаще всего пишет о художниках, о виденных им картинах, настаивает на том, чтобы она ежедневно делала наброски с натуры и, чтобы насмешить ее, вставляет в свой текст юмористические рисунки.

И в письмах к Клоди для выражения интимного чувства, он постоянно прибегает к немецкому языку и тогда дает себе полную волю: «Süßes Mädchen, geliebtestes aller Mädchen in der ganzen Welt». Мотив целования рук тоже часто встречается в этих письмах, но в них гораздо ярче проявляется чувственность: он не только «целует ее милые руки», но и «благословляет все ее прекрасное тело, целует все, что она позволяет ему целовать...»

С ведома и благословения родителей Виардо, Тургенев в течение нескольких лет копил для Клоди порядочное приданое, а когда она выходит замуж, спешит подружиться с ее мужем, — так дружил он с Луи Виардо. И страстная привязанность, полная одержимость Полиной и Клоди переносится на следующее поколение — на дочку Клоди. «Итак, Марсель прелестна? — пишет он ей 1881 году, — меня это не удивляет...» И он спрашивает, похожа ли она на «бабушку Полину», если не чертами лица, то выражением.

Необходимо, однако, сделать тут существенную оговорку: отношения Тургенева не только с Клоди, но, как можно заключить из их переписки, и с Полиной, были чисто платонические и никогда не выходили из дозволенных границ. Физическая связь у него бывала с женщинами, в социальном и интеллектуальном отношении стоявшими ниже его: например, с крепостными его матери или петербургскими «мещаночками». Но любить по-настоящему он мог только женщину-повелительницу, сильную и уверенную в себе, которой он с наслаждением покорялся, не претендуя на большее.

Быть может, в такой женщине он бессознательно искал образ своей матери — деспотичной, неумолимой, подавившей его волю, но по-своему страстно его любившей. Эта особенность его психики отразилась в его творчестве: все героини Тургенева, даже неопытные девушки, сильнее и решительнее мужчин.

Была ли встреча с Полиной роковой для Тургенева? Иными словами, помешала ли ему «цыганка», как с ненавистью называла ее Варвара Петровна, создать для себя нормальную се-

мейную жизнь, спокойно жить и работать на родине, вместо того, чтобы вслед за семьей Виардо скитаться из Парижа в Баден-Баден, из Баден-Бадена в Лондон? («Если бы *семья* уехала в Австралию, я последовал бы за ней».) Известно, как горько он жаловался на то, что ему пришлось ютиться на краю чужого гнезда, — и жаловался, вероятно, искренно: в старости он все больше страдал от одиночества.

Но эту участь он избрал сам; как его героев, Рудина, Санина, рассказчика «Аси», его пугала мысль о браке, пугала связанность, ответственность; роль главы семьи не соответствовала его женственной натуре. Скажем больше: если бы Полина при первой их встрече не была уже замужем, он, может быть, и не привязался бы к ней на всю жизнь.

В семье Виардо он нашел не только необходимый ему уют и удовлетворение тайной потребности отцовства, но и атмосферу насыщенную высокой художественной культурой.

Избранной им судьбе Тургенев остался верен до конца. К нему более, чем к кому-либо, применимы слова Шиллера: судьба человека — его характер.

Е. Каннак



Как большая темная миндалина,
У певицы мандолина.
И глаза — миндальнее миндального.
Музыкантша уличная, дальняя:
Флорентинка, синьорина.

И мелодия сентиментальная
Всё прозрачней и печальней,
Всё нежней, вечерней и усталее.
Всё — певица, пьяцца, вся Италия
Всё хрустальней и прощальней.

И видна — незримая — зелёная
Озаренная долина
(Не Италия, скорей Инония),
Где поёт счастливая, прощенная,
Неземная Магдалина.



Удивительно, как удлинен
Голубой силуэт минарета.
О, высокий расчёт и закон,
И высокое царство колонн,
И объёмы из тени и света!

Золотисто-зелёная вязь
Синевато-лазурных мозаик,
А на улице мулы и грязь
(И лазурная муха впилась),
И глаза малышей-попрошаек.

Гадит голубь на пыльный порфир,
Лепестки устилают ступени.
Царство грязи и царство сирени,
И стоит гармонический мир,
Композиция света и тени.

1

Темные водоросли предвесенней ночи,
Темные лепестки ночной души пустынного мира.
Но уже возникает над бесшумным садом
Серое пламя.

Пепельные кораллы предрассветного часа,
Серая лава небытия, молчанья, забвенья.
Но уже на туманном пепелище жизни —
Голос из пепла.

Что же, плыви, уплывай, саркофаг ночного покоя,
Медленный катафалк безмолвных бессонниц.
Снова — влачить на плечах тяжелую ношу дневного
Скорбного скарба.

2

Тополь полон волненья и липа звучит, как лира.
На яблоке и на облаке ясный
Отблеск золота вечности.
Сердце, как бутон розы, раскроется скоро
От лазурной музыки мира.

Около озера ирисы, белые ибисы
(Точно маленький беленький архипелаг);
На светлом песке бело-сизый птичий помет.
А в небе жаворонок, будто якорь блаженных минут,
В светлую вечность закинутый якорь.

Ты ела изюм, золотистый, словно янтарь.
Твои зрачки были мелкие черные жемчужинки.
Завитки, как черный гиацинт, чернели над шеей.

Память! Навеки, точно голубенькая татуировка,
Знак на душе.

Игорь Чиннов

ЭМБРИОЛОГИЯ ПОЭЗИИ*

4. «Как часто милым лепетаньем...»

Помню, тому лет двадцать, когда я впервые читал «Теорию языка» Карла Бюлера, я вдруг, посреди первой ее части, остановился и в тот вечер не продолжал чтения. Книга и тогда была не нова; вышла в 34-м году; это одна из четырех или пяти классических книг по языковедению нашего века. Я, конечно, прочитал ее до конца и не раз возвращался к ней с тех пор, но тогда — точно споткнулся на двух строчках 54-ой страницы и мысль моя выскользнула в сторону. Автор упоминает там о своем ребенке, маленьком мальчике, только еще учившемся говорить, произносившем пока что лишь отдельные слова, и вдруг, однажды, после того, как солдаты прошли с пением по улице, сказавшем первую свою фразу: «датен ля-ля-ля». Нелегко ему было это сказать; возгласу предшествовала напряженная внутренняя работа. Ведь и не простым возгласом это было. Автор справедливо подчеркнул, что было это, пусть и не грамматическим, но предложением, сочетанием сказуемого с подлежащим, отчетом о происшедшем и увиденном; он даже, хоть и с улыбкой, назвал это творением, произведением языка... Но я перестал в тот день следить за ходом его рассуждений.

Вспыхнуло во мне: да ведь это — поэзия! И в тот же миг я себе представил улицу в Вене (Бюлер до своего отъезда в Соединенные Штаты был профессором венского университета) и почему-то бульвар, часть знаменитого Ринга. Солдаты дружно поют, четко шагают по мостовой; мальчик смотрит на них с балкона, потом бежит к отцу, силится что-то сказать, изобразить виденное, слышанное, выразить пережитое; и вот: высказал, нашел: «датен ля-ля-ля» — человеком стал, и не иначе, как в то же время став поэтом. Или верней, как пишет его отец, очень важной ступени достиг на восходящем

* См. кн. 160 «Н. Ж.».

пути от младенца к человеку. Но тем самым и поэзии приобщился; это уж я, читатель, услышал, едва только произнес внутри себя эти два беспомощных — если о поэзии забыть — словца. Будь где-то в протоколе записано, что солдаты пели, я, пожалуй, спросил бы какую песню, где, когда; не услышал бы, однако, в воображении моем, пусть и очень смутно, этого пения, не увидел бы бульвара, деревьев, балкона, самого мальчика, руки протянувшего к отцу, — всего увиденного и услышанного мной мгновенно, как бы сквозь интонацию этих слов, неотделимую от них. Выражающую то, или чувство того, что ими изображено. Но изображено опять-таки, даже если от интонации отвлечься, не без выражения.

Если человек — по Аристотелю — «зоон логон эхон», то есть живое существо, обладающее разумом и словом, то людьми не рождаются, а становятся. Становятся, обретая мысль и язык. Приготовление к этому начинается в утробе матери. Однако само оно — не биологический, а педагогический процесс; длительный, медленный; две ранних и решающих ступени его установить сравнительно не трудно. Детский возглас, о котором у Бюлера мы вычитали, соответствует второй; первая, предполагаемая ею, была отпрыском его малолетним уже пройдена, знал он уже имена, не только собственные, то есть относящиеся к единичным предметам, но и нарицательные, относящиеся к таким конкретным общим понятиям, как «ветер», «вода» или те же «солдаты» (с отсеченным первым слогом) и не только их знал, но умел пользоваться ими, без чего он и этой первой своей фразы образовать никак бы не сумел. Глухонемая и слепая Эллен Келлер научилась этому в шестилетнем только возрасте, но и она лишь этим положила начало своему человеческому бытию. Когда она впервые поняла, что такие-то прикосновения пальцев ее воспитательницы к ее руке значат именно «вода», а не «пора умываться» или «выпей» (если пить хочется), ей открылся мир, человеческий мир — по ту сторону «ах!» и «бья!», «пиль» и «тубо», но по эту сторону H_2O , после каковой формулы, или в ходе мысли, пользующейся ею, мир перестает быть миром вполне человеческим. Но вместе с тем и врата поэзии открылись девочке Эллен, потому что слова поэта не формулы, не термины, но и не сигналы, и не к единичному чаще всего относятся, а к тому невещественно-конкретному, о котором писал Малларме:

«Говорю цветок, и вот передо мной тот, которого нет ни в одном букете». Поэзия — о розах — и шипах — *вообще*, о водах земных, небесных и морских, а не о том колючем цветке, что цвел, быть может, в стакане воды, в тот день, на столе поэта. И не о той воде...

Или верней и о ней и о нем, но через посредство слов, не для него одного живущих, и колеблющихся вечно между вот этим и любим, между тем, «о котором речь», и всеми теми, о которых речь была и будет. Без таких «нарицаний», без именующих мысли, прежде чем вещи, имен нет человеческой речи и тем более нет поэзии. Но «датен ля-ля-ля» — уже вторая, дочеловечивающая нас ступень, дарящая нам речь: еще не все возможности языка, но всё, в чем нуждается поэзия. Это ведь и не просто «датен» (Зольдатен) общее имя, отнесенное к частному случаю; и не отдельно, лишь во внешнем соседстве с ним, наименование музыки или пения. Это зародыш и эквивалент сообщения вроде «солдаты только что пели на улице», и вместе с тем это прообраз — особенно, если интонацию, легко представимую, учесть — уже не простого сообщения об этом факте, но, скажем, песенки-ба-сенки о нем, или пусть и сообщения, но не об одном факте, а тут же и в той же мере о впечатлении, произведенном им. Такого рода сообщение выражает чувство неразрывно с изображением того, чем оно было вызвано. Не с каким-нибудь протокольным о нем отчетом или копирующим, «факсимильным» воспроизведением его: чувство приемами такого рода как раз и устраняется; а лишь наброском, намеком, легчайшим уподоблением тому, что нас, как говорится, «задело за живое». Но с этого и начинается поэзия, да едва ли и не всякое искусство.

Тут мальчик-с-пальчик свою фразу, весь синтаксис которой сводится к интонации (да еще, быть может, к порядку слов), мог бы дополнить движеньями, жестами, превратив таким образом свое высказывание в целую маленькую мимодраму. Он ее, быть может, и разыграл. Без нее или без зачатков ее, из двух слов состоящий рассказ был во всяком случае понятен лишь тем, кто вместе с мальчиком слышал за окном звучавшее пение. Но и сами по себе эти слова к поэтической речи ближе, чем к обычной, обходящейся без поэзии. Ближе хотя бы уже отсутствием грамматического

аппарата, который в поэзии, если и присутствует, то играет в ней либо меньшую, либо другую роль, чем в прозе (особенно в наотрез непоэтической прозе). А затем ведь из этих слов только первое позаимствовано (в усеченном виде) из языка взрослых, а второе, «ля-ля-ля» создано, и притом в соответствии — можно сказать по сходству — со своим смыслом создано; это в точности то самое, что для греков означал термин их риторики «имяделание», ономотопея. Возможно, разумеется, что мальчик, пение услышав на улице, это детское словцо произнес не в первый раз, и что перенял он его от взрослых. Существа дела это не меняет. Это все-таки не слово, которое вы найдете в немецком словаре; оно языку как речевой способности принадлежит скорее, чем отдельным языкам; и это все-таки подражающее своему смыслу слово. Конечно, если на ленту записать ту солдатскую песню, не получится «ля-ля-ля»; но ведь ясно и без того, что ни поэзия, ни язык не образовались у людей путем записи чего-либо на ленту.

Основной принцип образования языка — это поняли в свое время Вико, Гердер, Руссо — тот же, что основной принцип поэтической речи. Назову его ономотопейным. Не просто словотворческим (этим не было бы сказано ровно ничего), но в согласии с греческим пониманием делания имен, таким, где творчество состоит в создании сходства между именем и тем, что названо этим именем. Сходство это всякой буквальности чуждо и отнюдь не может быть сведено к простому звукоподражанию. Ведь и ля-ля-ля никаким определенным звукам не подражает, — разве что музыкальным, в отличие от немзыкальных, да еще светло и звонко музыкальным, скорей чем мрачным, низким и глухим. Все бесчисленные недоразумения в этой области, всё столь распространенное нынче недоверие не только к теориям *происхождения* языка (гипотетическим, разумеется, и ни на какие детали не распространяемым), но и вообще к теориям языка или искусства, связанным с этим принципом, всецело объясняется чрезмерной узостью обычного понимания ономотопеи и обычных представлений о сходстве, а в применении к поэзии еще и в полном забвении той истины, что ею высказывается нечто такое, чего нельзя высказать вне поэзии. В языке детей есть зачатки языка поэтов, но именно потому и улавливается тут в зачатках, намеках вся его сложная — и зыбкая — «ономотопейность».

Собственных своих детских слов не помню. О двух рассказали мне родители. Лет до пяти или шести я вместо альбома говорил «аблом», а яблоко называл «лябиком». В хорошо знакомой нам семье все три девочки говорили «кусарики» вместо «сухарики»; а крошечный мальчик, которого в юности моей знал я и любил, трогательно повторял «усь, усь», когда уходил кто-нибудь, только что возле него бывший. Творчества в этих творениях было не много и везде в них сквозит готовый его материал — как впрочем и всюду в человеческих творениях, — но если «аблом» всего лишь изделие лентяя, которому легче было произносить сочетание звуков более свойственное русскому языку, то «кусарики» — очень милое и меткое переосмысление уже осмысленных — но скучней — сухариков. В основе здесь тот же речевой акт, какой порождает так называемые «народные этимологии» («мелкоскоп» у Лескова, но едва ли выдуманный Лесковым, или «спинджак» вместо заморского «пиджака», ничем не дававшего понять, что его надевают на спину). Акт этот создает сходство (хоть и не звуковое) между словом и его значением. Сходства ищут и метафоры между нужным говорящему смыслом, и тем, говорящему ненужным, которого он, дай мы ему волю, отнюдь не назвал бы прямым. Все это, в сущности, *смысловые ономотопеи*, как и большинство «иносказаний» (опять, с точки зрения говорящего, нелепое выражение: он ведь не «иное» хочет сказать, а как раз «то самое»). Но об этом будет речь в дальнейшем. Признаюсь пока, что не ниже «кусариков» я ставлю «лябик», мое создание — тех лет, когда я был поэтом; ономотопею любви моей к яблокам; не жевательную: ласкательную. Похожую на что? Не на яблоко, так на яблочко; и на эту самую любовь. Горжусь не ею, но поэмой о ней в одном единственном слове. Только все же отступаю, в тень ухожу, схожу на нет перед младенцем. Ему и односложного полусловца было достаточно, чтобы элегию сложить обо всех разлуках, прощаниях, утратах, которую я шопотом теперь, через столько лет, повторяю, о нем думая, ручку его мысленно целуя — «усь, усь» — Боже мой — и о стольких других — усь, усь...

«Как часто милым лепетаньем...» Это Алеко в «Цыганах» не о младенце говорит. Но ведь из любовного лепета Земфиры точно также могла возникать поэзия. И порождают ее то и

дело не только речи ребенка, ласкающего мать, но и матери, ласкающей ребенка. Сколько тут вспыхивает ономастопей, заумно выразительных звукосочетаний, и конечно образов, сравнений, всяческих «фигур», вполне пригодных для регистрации и классификации их Риторикой. Да и вообще, обрывки поэтической речи разве не всплывают сами собой в разговорной, в шутливой, взволнованной, издевательской, ругательной; в казарменном или воровском жаргоне; или попросту, как заметил еще Монтэн, «в болтовне горничной», в кухонной какой-нибудь, чаще еще чем в салонной, болтовне? Как неправ был Балли, лучший (если не считать Мейе) ученик Соссюра, мастер стилистики, т.е. анализа выразительных средств речи, в своем решительном отказе приравнивать эти средства к тем, что «пускаются в ход» писателями и поэтами! Виной тому были неверные представления его (и не его одного) о нарочитости такого нажиманья на кнопки или рычаги; да и эстетика (т.е. взгляд на искусство как на прикладную эстетику) его попутала. На самом деле, нарочитым или полностью сознательным позволительно считать, у автора художественных произведений, лишь решение применить или не применять такой то «прием», а не самый импульс то-то сказать, так-то в своей работе поступить, такое-то движение мысли и чувства в звуки, в слова или в зримые образы облечь, которое, воплотившись, даст тем самым возможность критику (или критикующему себя автору) констатировать известного рода эффект и назвать предполагаемую его пружину, прием, каким-нибудь заранее готовым, а порой и вновь придуманным именем. Что же до эстетики или ее критериев, то их и сам Балли из обыденной речи (верней, из импульсов, руководящих ею) не исключал; он заблуждался лишь в том, что поэтическую (в прозе или стихах) к таким эстетическим заботам склонен был сводить. А ведь чувствовал ее! Вырвался-таки у него в «Трактате о французской стилистике» (1908, I, стр. 188) возглас: «Разве поэзия не замаскированное признание, что счастье наше не в истине и не в познании». То же ведь думают и менее «позитивные» умы. Они только полагают, что не все истины познаются мышленьем не примиримым с поэзией и заранее исключаящим ее.

Если б не было недоказуемых истин, поэзия была бы ненужна. Если бы, кроме доказуемого, все было бы бессмыс-

ленным, незачем было бы ей, как и другим искусствам, существовать. Предаваться любому из них было бы пустым времяпрепровождением; заниматься любым из них — пустым занятием. Ради удовлетворения того, что зовут эстетическим чувством? Но мало ли чем возможно его удовлетворить. Если же о «ранге» художественных произведений рассуждать, то и это предполагает признание недоказуемых истин, и их иерархии, сугубо недоказуемой. Но мы пока что не о поэзии говорим и не о произведениях ее, а лишь о поэтической речи, которая, однако, предполагает соответственное ей мышление: без него — как и без нее — поэзии не может быть. Не возникнет она из «велений» эстетики: намерение написать превосходное стихотворение не гарантирует появления на свет даже и посредственных стихов. Не возникнет из критики, хоть и нуждается — в самокритике, по крайней мере — с самого начала. Для возникновения ее необходимо брожение мысли, словесной и до-словесной, скорей похожей на то, откуда родились младенческие «усь» и «ля-ля-ля», чем на работу, обозначаемую по-французски глаголом редижé (письменно что-либо изглаживать, в сыром виде существовавшее и до этого).

Неправильный, небрежный лепет,
Неточный выговор речей...

Нет, — это не о том. Не в небрежности тут дело; в неправильности и того менее; а уж выговор, напротив, должен быть вполне точен. Но «лепет» все-таки подходящее слово, и справедливо оно тут с «трепетом» рифмуется. Во внутреннем этом собственном своем лепете поэт может найти отдельную интонацию, отдельное словосочетание или слово, откуда — или из нескольких таких ростков — вырастет все дальнейшее. Блок записал в декабре 1906 года: «Всякое стихотворение — покрывало, растянутое на остриях нескольких слов. Эти слова светятся, как звезды. Из-за них существует стихотворение». Из-за них, хотя звезда, излив весь тот свет, что поэту путь открыл, может и исчезнуть; но порой и ради них; если коротко оно, ради одного, главного в нем слова. Как в четверостишии Клаудиуса (нижне-немецкого, европейской славой обойденного набожного современника Гёте), где говорится о смерти, о темной горнице смерти. Двинется ее обитатель (смерть по-немецки мужеского рода), и уныло она зазвенит,

а потом подымет он свой тяжелый молот (это и есть главное, в рифме поставленное слово всего стихотворения) — и час пробьет:

Ach, es ist so dunkel in des Todes Kammer,
Tönt so traurig, wenn er sich bewegt
Und nun aufhebt seinen schweren Hammer,
Und die Stunde schlägt.

Ключевые эти слова — по звуку ключевые не менее, чем по смыслу — могут и не явиться в начале, могут лишь в самую последнюю минуту быть найдены поэтом. Одно из трех или четырех лучших, всего верней пронзающих душу созданий Бодлера, «Дожди и туманы» начинается обращением к «усыпляющим временам года», — поздней осени, зиме, черной (как сказал бы Анненский) весне, похвалой им, выражением любви, за то, что обволакивают они сердце и мозг «туманным саваном и влажною могилой». Последний стих первого этого четверостишия я передал стихом, но у Бодлера могила не названа влажной. В первом издании «Цветов зла» она была «туманной» (по-русски иначе не скажешь, но в оригинале эпитет был *brumeux*, тогда как эпитет савана был и остался *varogueux*); во втором (через четыре года) стала «широкой» или «просторной» (*vaste*); и лишь правя корректуры этого текста, Бодлер нашел нужное здесь и по смыслу и по звуку, долгому своему *a*, слово *vague*, непере译имое по-русски (прилагательное «неопределенный» передает лишь его прозаическое, безразличное к звуку значение), но дающее впервые тот органый пункт или итоги подводящий всему четверостишию тон, которого до тех пор вовсе у этих стихов не было. Да и только правя ту же корректуру, догадался поэт в первой строчке заменить «поздней осенью» совершенно здесь неуместные «осенние плоды» (*O fruits d'automne...*). Только теперь родилось, таким образом, то живое и без изъяна жизнеспособное существо, которое давным-давно стало рождаться, но не сразу породилось. Теперь нечего менять и нельзя ничего изменить в совершенном этом существе, — совершенном в себе, хоть и служащем преддверием к остальным десяти стихам, то есть остающемся органической составной частью органического целого:

O fins d'automne, hivers, printemps trempés de boue,
 Endormeuses saisons! je vous aime et vous loue
 D'envelopper ainsi mon corps et mon cerveau
 D'un linceul vapoureux et d'un vague tombeau.

Попытайтесь теперь вставить отброшенные варианты на место новых. Никак этого и не сделаешь без скрежета зубного.

Чаше всего, однако, роды происходят быстрее. Поздние поправки не относятся обыкновенно к самым жизненно существенным клеткам поэтической ткани и образуемого ею поэтического целого. Зачаточное брожение мыслимого слова или мысли, ищущей слов, трудно восстановить, трудно его бывает и приблизительно вообразить. Большей частью ключевые слова, вроде бодлеровского предмогильного зевка *vague...* (tombeau) или тех, о которых думал Блок, кристаллизуются первыми в предзачаточном брожении. Порой и целые фразы или стихи готовыми приходят и повторяются множество раз мысленно или вслух, покуда не породят себе подобных или не обретут требуемой ими звукословесной среды. В одном из давних уже томов немецкого ученого журнала погребено живое свидетельство на этот счет. К началу века оно относится. Одна литературная лондонская дама* на чашку чаю пригласила к себе поэта, мистера Йетса, как она говорит (он еще был молод тогда и полной славы не приобрел). «Лежа в кресле во всю длину и горящими глазами глядя прямо перед собой, он два или три раза, растягивая слова, повторил: «Ряды над рядами, крича несказанное имя» (или: ступень над ступенью; речь, по-видимому, идет об амфитеатре)

Tier above tier, crying the ineffable name

«Мне удалось уговорить его взять ломтик пирожного, но тут же он впал в прежнее состояние и, не отведав его, твердо и громко повторил

Tier above tier, crying the ineffable name

«Какое удовольствие это для него было! Должно быть величайшее в жизни!» Наслаждался он, это верно; обо всем другом забыл; но и несомненно, вместе с тем мучился, искал:

* Mrs. Grace Rhys. Archiv f. d. gesamte Psychologie, 65 (1928), p. 77.

ждал отклика этому стиху, прислушивался полусонным сознанием к тому, что в ответ и в помощь этим звукам и словам — трепеща и лепеча и вспыхивая — рождалось.

Могут оказаться и тщетными такие поиски. Или найденный прекрасный стих может найти применение, не найдя, тем не менее, достойных себе спутников (как случилось у Бодлера с его насыщенным сложной музыкой уже упоминавшимся мной двойным оксимороном *O fangeuse grandeur! Sublime ignominie!*, неожиданно завершающим одну из нелучших — надуманную и трескучую — двадцать пятую «пиесу» его книги). Может явиться счастливый певучий стих и совсем заурядному незадачливому стихотворцу, как явился он некоему (чтобы примеров не столь давних избежать) В. Лебедеву, издавшему в 1835 году альманах «Осенний вечер» и напечатавшему в нем собственное стихотворение «Ничтожность», подражающее в общем «Последней смерти» Баратынского, но где встречается строчка, скорей напоминающая Батюшкова

В безбрежной пустоте небес —

прелестная строчка, с ее тремя ударными и двумя неударными *е*. Батюшковская (из «Тени друга»)

В бездонной синеве безоблачных небес

правда, еще лучше; вероятно, она лебедевскую и навеяла; которая, однако, *по-другому* гармонична, и все таки хороша, — как и не снилось другим его стихам. Стихописание обманывает нас: мы сплошь и рядом думаем, что «сочиняем», когда мы всего лишь вспоминаем. Как и бывает, что случай нам подбросит самоцветный камушек, непривычного для нас и вовсе нам ненужного оттенка. Разборчивый ювелир, если и вставит его в ожерелье, то разве что в застежку, незаметно. Ну-ка, откуда этот стих? На своего сочинителя он во всяком случае не похож. И в свежести, в скромности своей до чего «доходчив» (как нынче говорят) и лиричен:

И свет и грусть. Как быстры ночи!

Откуда? Небось не отгадали? Разрешите вам помочь. В «Литературных очерках» (изданных в 1898 году, стр. 197) Розанов писал: «Горе от ума» есть самое непоэтическое про-

изведение в нашей литературе, и какое вообще можно себе представить». Он поэзию тем самым определял слишком узко. Но, пожалуй, если с лирикой ее отождествлять... Пусть так. Однако со стихом этим на устах Софья появляется на сцене в первом действии комедии.

Боги нами играют... Но и каким натянуто-сучным было бы искусство, если бы художник всегда достигал лишь того, чего достигнуть положил. Золотых дел мастер, ошибайся! Ведь и Верлен велел... Только я напрасно даже и пускался в ювелирные эти сравнения. Металлы и камни тут не причем. Из живого родится живое; из лепета возникает речь. И в лепете этом уже, если дитя или поэт лепечет, звучание и смысл то в прятки играют друг с другом, то мирятся, то ссорятся, то любовную начинают игру, которая всегда может оборваться, но которой нет другого Музе угодного конца. Есть лишь один: рождение поэзии.

5. Очарование имен

Эмерсон, следуя Гердеру и его традиции в немецком романтизме, называет поэта творцом имен и языка, или, если перевести его слова менее гладко и более точно, «именователем», «делателем языка». Это звучит менее восторженно, хоть и значит то же самое; но грех романтиков не только в слишком уж заранее готовой восторженности тона, он и в за облака возлетающей без всякого препятствия мысли. Поэт, как правило, не выдумывает имен, и не создает языка, будь это так, мы бы его не понимали. Но анти-романтик Валери был прав, когда сказал, что мыслить, это значит преувеличивать; и мыслили романтики о поэзии, при всех преувеличениях, верней, чем почти все до них, как и после них. Гёте, во многом их учитель (и во многом ученик Гердера), мыслил о ней более трезво, хоть уже и сходно с ними, но высказался на ту же тему — о языке — более осторожно, чем они. По случайному поводу, он писал (в 1787 году):

«Мы в языках ищем слов наиболее счастливых по меткости; то в одном языке их находим, то в другом. Мы также изменяем слова, добываясь их верности, делаем новые и т.д. Даже, когда по-настоящему войдем в игру, сочиняем имена людей, исследуем, подходит ли тому или этому его имя и т.п.»

Как видим, он не старался в этом случае четко оформить свою мысль. В виду имел, однако, нечто вполне определенное: соответствие, о котором незадолго до того говорил его друг, К. Ф. Моритц, звуковой стороны слов смысловой их стороне. Ясно, например, что соответствия этого больше в немецком слове «блиц», чем в русском «молния», и что его вовсе нет во французском слове «эклер» (обозначающем, кстати сказать, также и начиненный кремом сладкий пирожок). Поэты, если о макароническом жанре забыть, на разных языках одновременно пишут редко, так что гётевское «мы» не понимает непременно их, или не относится исключительно к их творчеству. Но неопределенностью этого «мы» сказанное им как раз и ценно. Не одни поэты, все мы при случае ощущаем силу или слабость соответствия нужному нам смыслу в словах, которые предполагаем применить; по этому признаку их и выбираем; тут и звучание их учитываем; а если вполне подходящего слова не находим, интонацией восполняем недостатки найденного. Способны оказываемся порой и сочинить или полусочинить словечко, как и кличку придумать, лучше характеризующую (на наш взгляд) именуемое ею лицо, чем его паспортное, безразличное и бесцветное (как нам кажется) имя. Еще в наши дни, как о том свидетельствует книга Амальрика, сибирские колхозники и ссыльные не упускают случая прибегнуть к этой своей именовательной способности, причем и звук прозвища может играть в его выборе большую, а то и решающую роль. Творцы вымыслов — Гоголь, Рабле — еще куда изощренней, разумеется, сочиняют имена, да и не одни собственные имена (тут Рабле даже и Гоголя на много верст обскакал), чему, впрочем, и воры, каторжники, или попросту советские граждане, в пику властям и сукну их речей, подают пример. Только суть дела все же — и для поэтов особенно — не в прямых изобретениях, а в той проверке и поправке уже имеющегося словесного запаса, которую несомненно и Гёте, и все те, кто поэта к образу Адама, нарицающего имена, возводили и творцом языка называли, по преимуществу и с наибольшим правом имели в виду.

Проверка, поправка — бедные, что и говорить, слова. Их преимущество лишь в том, что они указывают предел никогда ведь и прямо не беспредельному человеческому творчеству. Они правдивы, точны; но слишком все-таки скромны.

Дар речи каждому из нас прирожден, но откуда мы не получим языка, его все равно что у нас и нет, а учимся мы языку не так, как позже будем учиться писать или пользоваться пишущей машинкой. Речь не отделима от мысли, а язык хранит в себе следы всех мыслей и речей, которым он некогда служил и тень которых оживает по мере того, как он снова делается речью. Наша речь должна овладеть языком, усвоить его, то есть сделать своими его звуки, их смысловые коррелаты и способы сочетания тех и других, основанные на сплетении не вполне совпадающих друг с другом законов разума (или, быть может, лишь рассудка) и правил данного, русского, например, языка. Но этой логико-грамматикой отнюдь не исчерпывается все то, что язык дает речи и что речь требует от языка. Ей нужны не только орудия дискурсивной мысли и знаки, необходимые для утилитарно-практического общения между людьми, но еще и средства передачи испытанного, воспринятого, пережитого, для изображения или выражения всего того, что иначе, то есть при отсутствии этих средств, осталось бы невыраженным и неизображенным. Средства эти точно также добываются речью из потенций языка, но не образуют внутри него столь отчетливой системы, как грамматика и связанная с ней или независимая от нее логика. Речь ими пользуется более свободно, — и вместе с тем она не просто пользуется ими, они не просто средства: оживают они в ней, и она ими живет. То, что мы зовем нашей душевной жизнью, это в человеческой (не всего лишь животной) ее части, именно и есть речь. Высказанная или нет, не так уж важно. Прежде всего, конечно, внутренняя речь.

Учась говорить, младенец делается человеком, обретает духовно-душевную, вместо животного-душевной, жизнь; добывает ее из языка через речь своих близких; овладевает в собственной своей речи все более широкими возможностями языка; но еще не скоро научится отделять рассудочные его возможности от выразительно-изобразительных; еще не скоро перестанет быть поэтом. То, что Пушкин о себе и Дельвиге сказал:

С младенчества дух песен в нас горел,
И дивное волненье мы познали;
С младенчества две музы к нам летали
И сладок был их лаской наш удел —

очень немногие могут повторить о себе, если «дух песен» отождествлять с подлинным стихотворным даром; но если понимать его шире, поэтами были все мы — в младенчестве гораздо более раннем, чем то, которое имел в виду поэт, когда вспоминал не младенческие презренной прозой говоря, а лицейские, отроческие свои годы. Все мы были поэтами, потому что *звучали* для нас слова, и потому что их смысл, понимавшийся нами порой весьма превратно, то и дело завораживал нас, казался не просто пристегнутым к звуку, а им порожденным, присущим природе этого именно звука, подобно тому как наши собственные (пусть и подсказанные нянюшкой) «ням-ням» и «бо-бо» непосредственно вытекали из несложных наших переживаний или как на зов наш «мама!» всегда появлялась одна и та же *наша* мама, и ничто на свете не могло призываться и зваться тем же именем. Да и гораздо позже, когда возросла вместимость и стала тем самым улетучиваться конкретность наших и слышимых нами слов, мы все еще не по взрослому, куда острее и сильнее, ощущали их звук и их внутреннюю форму (в метафорических или составных словах), из чего происходило два рода последствий, друг другу как будто враждебных, но в равной мере приближавших нас к поэзии. Порой настораживал нас голый звук — «гиппопотам», или пленяло образное имя — «анютины глазки», независимо от предметного значения; порой мы требовали, напротив, чтобы «имя» в точности отвечало «вещи», как тот немецкий мальчик, который хотел, чтобы купца называли продавцом (феркауфман): «он ведь не покупает, а продает»), или как тот, охрипший, которому давали питье против кашля, хустентее и который переименовал его в хейзертее (питье против хрипоты). Конечно, первоначальный интерес, к «слову как таковому» может легко перейти к вопросам о том, где Аня и кто такой гиппопотам; но есть слова, которых никто не объяснит, заумные от рожденья или переставшие по недоразумению быть умными. Если они смыслом и обростут, то смыслом, чуждым языку, существующим лишь для нас, в *нашей* речи, в нашей домашней, частновладельческой поэзии.

Жил-был мальчик, много лет назад, Лёвушка Толстой, знавший злое, ужас внушавшее существо по имени Мем, оттого, что возглас дьякона, призывавшего слушать священные слова — «Воннем!» — он истолковал как окрик «вон!», обра-

щенный к врагу, нечистому духу, Мему. По вине юного Лермонтова, начавшего волшебное стихотворение — столь волшебное, что шероховатостей его не замечаешь — строчкой с повтором мнимо-однозначных слогов

По небу полуночи ангел летел,

еще на много более юный Мережковский, услышав слова эти, решил, что существует нечто именуемое «луночь», что ангелы по этой луночи летают, и мог бы на такой основе создать (хоть, кажется, и не создал) целую мифическую космологию. Мифы из превратно истолкованных слов возникали не раз. Афродита не родилась бы из морской пены, если бы ее финикийское имя, слегка переделанное греками, не было истолковано ими при помощи двух слов их языка, означающих странствование и пену: странницей она стала в пене волн, прежде чем стать пенорожденной. Народы не хуже детей умеют осмысливать слова (но и обессмысливать их), давать им новую выразительность (как и лишать прежней). Юркий «блитц» и впрямь молнией сверкнул, тогда как предок его древневерхне-немецкий глагол «блекхэццен» блистал немножко мешковато; но и обратные примеры не редки; и многие латинские слова утратили во французском, а то и во всех романских языках не только свой вес, но и свою наглядность. Анонимная работа осмысления дает порою забавные, порой всего лишь благо-разумные плоды; мила «мартышка», получившая своего Мартына из Голландии, взамен индийской «маркаты», которую немцы находчиво превратили в морскую кошку (Мееркатце); они же из карибейского «гамака», так везде и оставшегося гамаком, сфабриковали с поразительным мастерством сперва какой то «гангмат», а из него паиньку примерного поведения: «висячий коврик» (Хенгематте). Поколения работали дружной артелью, — поздравляю; но этого рода народному творчеству предпочитаю, хоть и ему поэзия не чужда, детское, сплошь проникнутое ею. Недаром изрек не детский отнюдь поэт, Бодлер: не что иное она (или гений ее), как вновь найденное детство.

Совсем недавно я впервые прочел к этой теме относящиеся удивительные страницы «Воспоминаний детства» о. Павла Флоренского, написанные полвека назад, но опубликованные лишь теперь «самиздатом» в СССР, издательством Студенче-

ского Христианского Движения в Париже. Будущий философ, математик и высокой культуры гуманист, маленький Павлик, был очень восприимчив к музыке и к стихам, причем и в стихах, по его словам, меньше привлекал его их смысл, чем их ритм и их звучание. «Самым привлекательным, — пишет он, — было для меня явно иррациональное», то есть ему в то время отчасти или вовсе непонятное. Он особенно любил романс Глинки на слова Пушкина «Я помню чудное мгновенье», где в четвертом стихе «Как гений чистой красоты» два первых слова сливались для него в одно, так что возникло из них нечто аналогичное «луночи» и «Мему»: «кагэни», «символ бесконечности красоты», причем, как он пишет, и тогда уже он отлично понимал, что любое разъяснение могло бы «лишь ослабить энергию этого слова». Это значит, что — сам того не зная, и не без помощи Глинки — он поэзию возвращал к ее предсуществованию, в тот сумрак, в тот звуко-смысловой сумбур, откуда она рождается, и который, родившись, покидает; но где все-таки и коренится «гармонии таинственная власть». О «красоте» уже и недоуслышанный или в слышании музыки утонувший стих Пушкина говорил, но тут, для детского этого чувства, не в ней было дело, да и не совсем о той о. Павел думает, о которой у Пушкина была речь. Он и вообще впадает иногда в эстетико-символистский жаргон, не младенчества своего, но юности. «Символ бесконечности красоты», это не только из-за родительных падежей, верхом друг на друге, вяло сказано. «Кагэни», для высоко одаренного и эмоционально взвинченного ребенка, было, конечно, не «средоточием изящества», как пишет взрослый о. Павел, а загадочным словом, собственным именем, — неизвестно чьим; средоточием всего, чем волновала, чем услаждала его музыка, проникнутая поэзией, или поэзия, обволокнутая музыкой. Но волнение это и усладу он описывает на редкость хорошо:

«С жадностью подхватывал я географические и исторические имена звучавшие на мой слух музыкально, преимущественно итальянские и испанские (...) и сочетал их, сдабривая известными французскими и итальянскими словами, в полновзвучные стихи, которые привели бы в ужас всех сторонников смысла. Эти стихи приводили меня совершенно определенно в состояние исступления, и я удивляюсь, как родители не останавливали моих радений. Правда, чаще я делал это нае-

дине. Но я любил также, присевши на сундук, в полутемной маленькой комнате, когда мама с няней купала одну из моих сестер, завести — сперва нечто вроде разговора на странном языке из звучных слов, пересыпанных бессмысленными, но звучными сочетаниями слогов, потом, воодушеваясь, начать этого рода мелодекламацию, и наконец, в полном самозабвении, перейти к глоссолалии, с чувством уверенности, что самый звук, мною издаваемый, сам по себе выражает прикосновение мое к далекому, изысканно-изящному экзотическому миру, и что все присутствующие не могут этого не чувствовать. Я кончал свои речи вместе с окончанием купания, но обессиленный бывшим подъемом. Звуки опьяняли меня».

Забудем об экзотике и об «изысканно-изящном». Уже в начале этого отрывка заменил я многоточием слова о том, что итальянские и испанские имена казались мальчику особенно изящными и изысканными; плохие это слова, хоть я в точности воспоминаю о Павла и не сомневаюсь. «Изысканно» отчего бы и не одеваться, «экзотикой» отчего бы и не пощеголять; но мальчика чуждое и чужое, непонятное и полупонятное чище и глубже увлекало, и глоссолалия его была о высоком, превыше не только эстетизма, но и эстетики; о высоком, но не допускающем пересказа даже и подлинно высокими словами. Из рассказа об этом ребенке того замечательного человека, которым он стал, это совершенно ясно. Замечателен и рассказ: он рассказанного почти не искажает. Не всякий сумел бы даже и столь отчетливо вспомнить, — если бы у него и было что, в этом роде, вспоминать. Несомненно, однако, что детская мусикия, и довольно сложная и попроще — явление весьма распространенное. Мне говорили, что от роду лет шести я любил ходить вокруг стола и, немилосердно скандируя, читать наизусть (с голоса, скорей всего, выученного) «Роланда оруженосца» Уланда-Жуковского. «Звуки опьяняли меня». Вероятно, я могу и о себе это сказать; а если (как оно и есть) не нужно для этого целой баллады и длительного бубнения, достаточно двух строчек, одной, — а то и слова одного; тогда и наверняка могу я сказать это о себе, лет на шесть или семь подростом. К стыду моему, «адски» мне нравилось в то время у Брюсова

Я царь земных царей и царь Ассаргадон
Владыки и цари, вам говорю я: горе!

и больше всего само это имя — Ас-сар-га-дон. Со свирепой энергией отчеканивал я его слог за слогом... (пишу, и вдруг вспомнил из «Роланда»: «И гóсти вдóволь пýли, ёли,/И лóца их от вýн горёли»; уверен, что и на «их» ставил я ударение). О ямб, велики твои соблазны! Но ведь Пушкин, и не он один, с легкостью их избегал, да и не все ли равно, как мальченок выползший из-под стола или юнец, только что отнесший переплести Бодлера в змеиную кожу, читал стихи? Ассáр-гадóн? Ничего. Имя все-таки хорошее. И Пушкин такими не пренебрегал.

Именам собственным присуще устройство смысла, которого не являют никакие другие элементы языка. Недаром хранят их, в засушенном виде, энциклопедии, а не словари. Поэты оживляют и их, нередко с особым удовольствием. Перечисляют с дюжину порой, как уже Дмитриев, Иван Иванович, лучший наш стихотворец между Державиным и Жуковским, дважды в том же стихотворении, а затем Пушкин в «Онегине», по образцу Байрона, с усмешкой перечислившего в двух, одна за другой, октавах «Дон Жуана» сперва британских военачальников и моряков, потом французских — Бог знает как произнося их имена — революционеров и генералов. Но усмешка тут не обязательна. Тынянов правильно, хоть и нескладной терминологией пользуясь («Проблема стихотворного языка», 1924), указал, что в словах с ослабленным или отсутствующим «основным признаком значения» особенно ярко выступает их лексическая окраска (слова «дондеже», например, непонятного деревенским бабам в чеховском рассказе «Мужики»), как и другие «второстепенные» или «колеблющиеся» «признаки значения», в том числе и те недостаточно учтенные Тыняновым — совсем зыбкие, но весьма действенные все же — что неотделимы от звучания иных экзотических (вспомним Флоренского), гротескных или попросту непривычных собственных имен. Основного признака у собственных имен, как опять-таки совершенно правильно говорит Тынянов, вовсе и нет; или, как вразумительнее будет сказать, у них нет смысла, есть только предметное значение. В слове «Шекспир» понимать нечего; разве что, зная английские слова «потрясать» и «копье», я пониманием назову раскрытие его «внутренней формы», которая с Шекспиром ничего общего не имеет. Имя его мне следует знать, а не по-

нимать (значения знают, смыслы понимают), и если я знаю, что зовется так автор «Гамлета» и «Лира», то в крайнем случае могу назвать его и Шапиро, как один рабфаковец, полвека назад, назвал его на экзамене. «Копье» или «потрясать» — другое дело. Нужно и любое слово знать, чтобы его понять, но при понимании я открываю в самом слове все оттенки его смысла, тогда как всё, что я узнаю о Шекспире и научаюсь понимать в его творениях, не из имени его я извлекаю, а лишь озаглавливаю этим именем. Порой оно становится заглавием целой книги, но поэту книга не нужна; почему бы не пожить ему одним заглавием? Едва ли и Брюсов на много лучше, чем я, был знаком с историей древнего Востока, когда пленился и меня пленил грозным именем Ассаргадон.

Грозным и царственным? Да. И, что важно, уже по звуку. У имени не просто «лексическая окраска», как у любого слова: у него звук, необычный звук, и мир, откуда, для нас, этот звук звучит. «Мудрец мучительный Шакеспеар», — хорошо выдумал первый стих Сологуб: сказочным сделал историческое имя. А в Рушук вы бывали? Известно вам что-нибудь насчет Тульчи? Прислушайтесь:

От Рушука до старой Смирны,
От Трапезунда до Тульчи...

или:

И встал тогда сынов Аммона
Военачальник Ахиор...

и оттуда же, из того же наброска «Юдифи»:

Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.

Звучание этих имен (все равно имена ли это мест или людей) переносит нас в стамбуло-янычарский, в библейско-вавилонский мир, и каждый раз поддержано оно в этом деле соседними звучаниями: «удар» (в конце предыдущего стиха) и «стар» для «Смирны», да и рифмой к ней — «жирный»; подобно тому, как, во втором случае, «белеясь» готовит «Ветилую» (вместе с двумя у в предшествующих строках), а «сынов» служит прелюдией к «Аммону»; «Рушук» же и «Трапезунд» сами за себя говорят, как еще ярче «Ахиор», который отлично мог бы обойтись без «Олоферна» в следующей строчке. Преды-

дущее слово «военачальник» подготавливает нас, быть может, к его первой гласной, но ни к одной из его согласных; их в первом слове нет: оно — *контраст* к «Ахиору», а не созвучие ему.

Как обрадовало, должно быть, Пушкина это имя, подаренное ему книгою «Юдифь»! Звуком обрадовало, но и характерностью конечно, а характерность звука (его тембра) — уже не звук, раз она относит нас к представлениям, связанным с поименованным этим звуком лицом или местом. Но если, например, Олоферн или Стамбул немедленно воскрешают в нас то, что нам о них известно, и если клубок таких воспоминаний огромным и запутаннейшим становится, когда нам скажут «Рим» или «Наполеон», то ведь когда мы слышим «Ветилуя», «Ахиор», или, не побывав в Трапезунде и его истории не зная, «Трапезунд» — никакого особенного наплыва мыслей мы не почувствуем. Тут будет достаточно очень мало определенной, но именно потому и стимулирующей воображение, смысловой туманности. Тем более драгоценной для поэта, что Ветилую и Ахиора другим именем не назовешь (как можно Наполеона назвать Бонапаротм, Рим — вечным городом, а Стамбул — Константинополем или Истанбулом), вследствие чего звук со своим малым смыслом сливается крепче и полней. Можно и выдумать такое имя, пусть и представив его невыдуманным, как это сделал Гюго в одном из чудеснейших стихотворений — и своих и всей французской поэзии — «Уснувший Вооз», соединив Иерусалим (по-французски «Жерюзалем») с Генисаретом («Женизарет»), из чего получился очень убедительный для французского уха «Жеримадет» (в рифме выговариваемый «Жеримаде»). Изобретение это поэтически вполне законно и естественно. Совершенно неосновательно видели в нем выдающиеся французские критики какую-то вольность, игривость и даже вольнодумную иронию.

«Слова, — пишет Пруст, — дают нам отчетливое и общепонятное изображение вещей, подобное тем, какие развешивают на школьных стенах, показывая детям образчики того, что такое станок, птица, муравейник, — предметы мыслимые похожими на все прочие того же рода. Но имена рисуют нам смутный образ людей или городов, приучая нас видеть и их неповторимо индивидуально; из своего звучания, яркого или глухого, извлекают краску, которой написана вся картина,

как те сплошь синие или красные плакаты, где, по прихоти живописца, синими или красными оказались не только небо и море, но и лодки, церкви, прохожие». Именно такова и одно-тонная, но как раз нужного тона (понимаем ли мы «тон» живописно или музыкально) «Ветилуя»; таков «Жеримадет»; такова, для Пруста, не виденная им Парма, о которой у Стендаля он читал, и чье имя кажется ему «плотным, гладким, сиреневым и нежным», — не так уж важно, в поэзии, каким именно; важно лишь, чтобы казалось «особенным» и качественно насыщенным, и чтобы качество это не противоречило той ткани чувства и мысли, куда имя было автором включено. Это гораздо больше, чем лексическая окраска, одинаковая для Пармы, Мантуи, Пьяченцы, чьи имена, однако, по-разному окрашены для того, кто видел эти города или даже лишь читал о них. Но степень осведомленности о том, что именем названо, если не обратно, то уж во всяком случае и не прямо пропорциональна поэтической потенции тех или иных имен. «Москва... как много в этом звуке...» Но ведь не об одних москвичах Пушкин говорит, да и бесконечную разношерстность их знаний и мыслей о Москве тоже не имеет в виду; тремя строчками этими и анти-москвич, фанатический сторонник Петербурга будет удовлетворен. Искусство вымысла не отсутствует, конечно, в «Онегине», но три строчки эти принадлежат искусству слова, материал которого не «вещи», не все то, к чему относят нас слова, но сами они, их непосредственные смыслы и звуко-смыслы, а также и «географические и исторические имена», у которых одно лишь значение и есть, — недаром они Павлика Флоренского своей бессмыслицей пленяли, — но которым искусство слова, превращая их в слова, как раз и дарует смысл. Тот самый смысл, который в данном случае ему нужен, и ровно столько смысла, сколько нужно. Остальной или другой мы прибавляем от себя, порой расширяя поэзию, но порой ее и умаляя или упраздняя.

Очарование имен тем и интересно, что имена эти, становясь лишь в поэзии словами, всего ясней показывают нам, как перерождает поэтическая речь слова и как из слов рождается поэзия. Конечно, как и всегда, не из одного (дарованного именам) смысла, но и в той же мере из их звука, становящегося звуко-смыслом. «Москва... как много в этом звуке...» Музыки в нем как будто и нет. Маасква, сква, ква, ква, —

евфонии тут маловато, и Пушкин хорошо сделал, что «как» от «ква» многоточием отделил. Так быстро отквакнуло себя это словечко, что и мелодии из него не извлечешь. Но диссонансы и какофонии — такая же пища звукоsmыслу, как самое сладостное сладкогласие, и Аристофан в стихах, или в прозе Рабле — не меньшие мастера поэтической речи, чем вообразенный (не без легкой иронии) Ленский или всамделишный льющийся лирическою влагой Ламартин. «Бробдингаг» — соперник «Леилы»: зародыш поэзии, хоть и не лирики, есть в обоих; что же до имен или слов ни-то-ни-се, ни-флейта-ни-барабан, то смысл, даруемый их звуку, способен и звук преобразить — «Москва, я думал о тебе!»; способен иллюзию создать: иллюзию поэзии, поэзию иллюзии. Опять таки и Рим, — звук его настоящий при обрусении исчез, а все-таки... Есть лица, имена которых приобретают выразительность благодаря лицу, ничего к ней не прибавив от себя, как это подчеркнул Мелвилл в удивительном своем двойнике «Шинели» («Бартлеби», 1856), где рассказчик признается, что любит повторять имя «Джон Джэкоб Астор», округленное, для его уха, сферичное, звучащее кругло, как шар земной, как круглый миллиард.

«Чичиков», «Свидригайлов», — это подлинные ономотопеи, из лучших, из тех, где чем больше сходства, тем труднее сказать, в чем это сходство состоит. Звук «похож» (если можно вычитать из второго имени немецкое слово «видриг», то ведь ничего внешне-отвратительного в носителе этого имени нет). Из «говорящих» имен лишь самые наивные (Скотинин, Правдин) одним смыслом, не звуком говорят. Гоголь применяет чаще всего смысловые, но заумно-смысловые (несуразно-смешные: Яичница, Земляника; не именует Собакевича Медведем или Бревном) и поднимается порой до смыслозвучных, с преобладанием звука, Чичиковых и Тентетниковых. Нет ничего комико-поэтичней в этом роде у него, чем изображение скуки, наводимой чичиковскими рассказами на губернаторскую дочку, не путем изложения рассказней, а через перечисление имен отчеств и фамилий тех лиц, которым пришлось выслушивать их в прошлом, причем скука самого перечня оживляется для читателя искусно вкрапленными туда смешками (фамилия Победоносный, имена — Адельгейда Гавриловна и, на заглавку, Макулатура Александровна). Какофониче-

ские, на французский слух, чужеземные имена (немецкие и голландские) используются для саркастических целей Вольтером в «Кандиде» (в нетронутom виде — Кунигунда — или с преувеличением — барон Тундер-тен-Тронк — их дикости), и еще восьмидесяти лет от роду произдевался он над испанцами, назвав своего героя доном Иниго-и-Медросо-и-Комодиос-и-Паламиенто. Но Паскаля не превзошел. Тем более, что в «Письмах провинциала» тот не балагурил, а нанес своим противникам, иезуитам весьма чувствительный удар, перечислив (в пятом письме) сорок шесть членов ордена и признававшихся им авторитетными ученых, сплошь с иностранными, трудно произносимыми для читателей Паскаля именами — «да христиане ли все они?», раздается возглас в ответ на перечень — и противоположив им, хоть и тоже не французские, но знакомые и ласкающие слух имена Амвросия, Августина и Златоуста. «Вильялобос, Конинк Льямос...», так начинается список, где имена весьма искусно подобраны по чужеземным окончаниям: сперва на -ос, потом на -ес, на -ис, на -и, на -а; но в финале с окончаниями в перемешку, зато и максимально анти-французские, — Ирибарн, Бинсфельд; Востени, Стревосдорф.

Гармонии таинственную власть мы тут немного позабыли, ради властолюбивой, но и умеющей властвовать, да и достойной власти в своем особом царстве дисгармонии. Отдав ей должное, следует, однако, сказать, что как-никак «для звуков *сладких*» или, верней, из них рождается поэзия, не говоря уж о том, что словесный спотыкач отнюдь не пригоден для молитв, как и для всего созвучного или хотя бы совместимого с молитвой. Как бы ни были равноправны различные поэтические царства, без музыки нет поэзии, а музыку не диссонансы творят; и плавности гласных она благоволит любовней, чем скрежету согласных. «Звуки опьяняли меня»; отнесем это к поэту, к зарождению поэзии. Скажем: «звуки вдохновляли меня», — но какие же, если не гармонические (пусть и в наивнейшем смысле слова) звуки? Об именах собственных нас поучает Буало: есть рожденные для стихов, — пользуйтесь ими:

Ulysse, Agamemnon, Oreste, Idoménée,
Hélène, Ménélas, Pâris, Hector, Enée.
O le plaisant projet d'un poète ignorant,
Qui de tant de héros va choisir Childebrand!

О «галльский острый смысл»! «Шильдебрана» мы тебе подарим, но «сумрачный германский гений» живет и будет жить в суровом Хильдебрандслид. Насчет тех сказочных древних имен Буало, тем не мене, прав. Вошли они с итальянской помощью во все наши языки, музыкой стали повсюду, свирельной чаще всего, или струнной, но иногда и другой, громами играющей, — именно играющей, шепчет мне голос; что ж, русскими поэтами ограничась, пожалуй, я с ним и соглашусь:

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

Но другой поэт, все же, когда он ввел, переводя Парни, пять мифологических имен, вместо одного, в первые строки своей «Прозерпины» —

Плещут волны Флегетона,
Своды Тартара дрожат;
Кони бледного Плутона
Быстро к нимфам Пелиона
Из Аида бога мчат

— достиг этим звукосмысловой выразительности, которой у Парни нет и в помине. Верно, однако, что все эти Афродиты и Дианы, все «Темиры, Дафны и Лилеты» Дельвига и его и столько других читавшихся ими в юности поэтов, не внушительно или грозно, наподобие Флегетона и Тартара, звучали для него, а сладостно, — как для юного Шенье, который на полях своего Малерба отметил восхищение стихом, не из тех, какими восхищался Буало, всего лишь почти и состоящим из двух таких имен:

Chaque Amarille a son Tityre.

Что ж в нем так порадовало Шенье? Звуки, звуки... Они, и неотделимое от них очарование мира, ими некогда звучавшего. Как необдуманно французы и не-французы судили — столько раз — о стихе расиновской «Федры», где названа она дочерью Миноса и Пасифаи

La fille de Minos et de Pasiphaé.

Пруст упоминает о восхищении этим стихом «тем более прекрасным, что он ровно ничего не значит». Так-таки ничего? Прав был значит Готье, когда объявил его бессмысленным, — но лучшим (даже единственным подлинно прекрасным) стихом Расина? Или, напротив, прав был Бенедетто Кроче, в оксфордской своей лекции объяснивший его смысл (и без того всякому ясный, кому памятна свирепость Миноса и любово-страстие Пасифаи, уже Еврипидом упомянутой в той же связи), а мнение Готье подвергший анафеме, вовсе притом не оценив, не услышав должным образом звучания стиха? Все неправы; но Кроче всех больше (если об этой строчке, а не о трагедии говорить). Разве другой знаменитый стих того же поэта

Dans l'Orient désert quel devint mon ennui

без всплывающих за именами смыслов, не почти столь же хорош? Смыслы эти питают, углубляют восхищение, нужно это понять; но не исчезнет оно, если имена сохраняют даже и очень ослабленную смысловую окраску; тогда как при перемене, при отмене музыки этого стиха, нечем будет восхищаться: останется мысль, исчезнет ее поэтическая плоть.

Не меньше было споров об очаровании имен и по поводу отрывка песенки, сочиненной в столетнюю войну, когда французская корона утратила почти все свои владения

Mes amis, que reste-t-il
A ce Dauphin si gentil?
Orléans, Beaugency,
Notre-Dame de Cléry
Vendôme, Vendôme!

За немногими исключениями, принимались во внимание, при этих спорах, лишь последние три строчки, перечисляющие города. Чудесно звучат их имена, что и говорить; всю мелодичность французской речи можно в них услышать; но ведь первые два стиха определяют ту интонацию насмешливой жалости, с которой мы их читаем. Однако и не в ней все дело. Не одной случайностью (т.е. правдой истории) подобраны имена, или, если ею одной, она была поэтом. Но обменяйте только местами Орлеан и Божанси, уничтожив бедненькую рифму, и вы музыку испортите; замените имена, как один

понимающий свое дело критик (Рене-Альбер Гютман) шутки ради предложил, и от музыки (при обогащенной рифме) не останется ничего:

Vaucresson, Le Raincy,
Notre-Dame de Passy,
Pontoise, Pontoise!

Это уже напоминает подражание той, для тонкого слуха сложной песенке, сочиненное (с интонацией прощания на этот раз) в наши дни Луи Арагоном:

Adieu Forléans Marimbault
Vollere-Ville Volmerange
Avize Avoine Vallerange
Ainval-Septoutre Mongibaud.

Никакая интонация им не поможет: не поют эти имена, — так, шуршат всего лишь да верещат, как бывало плохая грампластинка. А ведь каждое из этих имен, даже Септутр, для французского моего (скажем: левого) уха звучит приятно. Но все вместе... Для большей проникновенности автор не поставил запятых. Старался. Увы! И это мне не помогает.

Так что недооценивают поэзии — в равной почти мере — и те, кто звукам не верят, вслушаться в них не умея, и те, кто без смысла, без особого, нового, интонацией определяемого, словами музыки, а музыкой словам внушаемого смысла, так легко, да еще с улыбкой сладкоешки губы облизывая, так беспечно думают обойтись. Очарование имен не просто очаровывает нас; оно еще и учит. Пониманию учит, — и того, как рождается поэзия, и того, что она такое.

6. Ни песня, ни пословица.

Чарский (в «Египетских ночах») чувствовал «однажды утром», а Пушкин (нужно думать) всего чаще осенью, в деревне «то благодатное расположение духа, когда мечтания явственно рисуются перед вами, и вы обретаєте живые, неожиданные слова для воплощения видений ваших, когда стихи легко ложатся под перо ваше, и звучные рифмы бегут навстречу стройной мысли». — Сами собой бегут... Сами собой стихи ложатся на бумагу...

Незадолго до того (14 марта 1830) Гёте говорил Эккер-

ману, что в юности овладевали им порой стихи, без всякой предварительной о них мысли, и требовали немедленной записи, так что он иногда, в сомнамбулическом этом состоянии, если лист бумаги косо лежал на столе, так по диагонали стихи на нем и писал, куда места для них больше не оставалось. — Складывались, значит, сами собой и тут? При настоящем таланте, так именно стихи и пишутся? Так и рождаются?

Бывает. «Однажды утром», или в юности, или когда Болдинская осень подойдет... Гете тогда же рассказал Эккерману, по поводу «Коринфской невесты», о том, как он долго вынашивал свои баллады, годами порой, так что при записи грустно ему становилось расставаться с ними, с этой их жизнью в нем и с ним (и записывал он их тоже не в один присест). Да и Пушкин, даже в ту лучшую свою осень, перед женитьбой, «живые и неожиданные слова» далеко не сразу обретал: черновик «Для берегов отчизны дальней» достаточно красноречив на этот счет. Слова, быть может, и тут «легко ложились под перо», но лишь после многих перечеркиваний делались — по суду самого поэта — неожиданными и живыми. Стихотворение родилось не в тот момент, когда «звучные рифмы» побежали «навстречу стройной мысли», а позже; сколько часов или дней тут прошло, неизвестно; Бодлеру, как мы уже знаем, понадобилось однажды четыре года... Сонливость пера («Художник-варвар кистью сонной...») тут не причем. Но и не в быстроте дело, — как ни нравилась она Пушкину, как ни свойственна была ему... Быстро или медленно, только родилось бы!

Как пишутся стихи — одно; как рождается, в стихах или без стихов, поэзия — совсем другое. Хоть и «деланье» она, по смыслу греческого слова, но не всё в ней сделано; и вместе с тем сама собой, без участия «делателя» тоже она не возникает. «Всякое движение души, — писал Розанов, — у меня сопровождается *выговариванием*. И всякое выговаривание я хочу непременно *записать*». Подконец — именно тут, в «Уединенном» — он и достиг никем до него не достигнутой непосредственности таких записей; но ведь всего не записал, и выговорил не все: нельзя нашу внутреннюю речь — копошение слов, недослов, полуслов — вытряхнуть в нетронutom виде на бумагу. До сюрреалистской теории автоматического письма Розанов не дожил. Брось монетку в автомат, сам в

себя ее брось, и получишь порцию «подсознательного», которое поэзия и есть. Не поверил бы он этому, а клочков литературы, в литературском подсознании живущей, как раз и страшился; отказался бы их записывать.

Но вернемся к стихам. О них Гёте, в другом разговоре (6 апреля 1829), тому же собеседнику сказал, что их ритм рождается бессознательно из «поэтического настроения», и что если начнешь об этом думать во время писания стихов, сойдешь с ума, и ничего путного не напишешь. К этой стороне поэзии, — ритмической, интонационной, звуковой, — к песнопению в ней относится, конечно, и задолго до того сказанное им от имени странствующего певца былых времен: Их зинге ви дер Фогель зингт. Но не всё в поэзии, хоть и стихотворной, песнопенье; даже и музыкальное ее начало к этому не сводится. Тут нужно отличать общий ритмический или мелодический (интонационный) импульс, ищущий себе тему (смысловой коррелат), или темой вызванный, с которого обычно и начинается «выговаривание» стихов, от обретаемой ими в этом выговаривании (совпадающем с записью или на-много предшествующем ей) — в этом испытывании, построении, исправлении — предварительной, а затем и окончательной словесной ткани. Поэзия не родилась, она только еще рождается, покуда ткань эта полностью не обретена. Слабые поэты могут импульс испытать (из чужих интонаций или ритмов исходящий) совсем не слабо; но слабость их критического разума скажется в неспособности опознать и отбросить недостаточно живую, чересчур ожидаемую ткань (или ее рассудком сфабрикованную безрассудность), а слабость дара в том, что неоткуда будет им и взять никакой другой. Повторяют такие зачастую возглас старого Певца (приведу его, чтоб Гёте не обижать, в катенинском простодушном переводе):

Я пою, как птица в поле

Оживленная весной;

Я пою: чего мне боле?

Песнь от сердца — дар драгой,

забывая, что давно уже ответил им Баратынский:

Бедный старец! слышу чувство

В сильной песне... Но искусство...

И все-таки душа, душенька наша, — не успокоилась она! Не хочет верить одному уменью, одному искусству, пусть и с большой буквы его напишут. Все кажется ей: вон уж весь лист исписан по диагонали (Гёте жалел, что ни одного такого листа в старости не сохранилось у него), сейчас его сунет страбургский студент в карман, оседлает коня и помчится снова в Зезенгейм к своей Фридерике; а потом перепишет стихи, в печать отдаст, и мы будем читать через двести лет Виллькоммен унд абшид. — Да ведь не черновик читаем. — А импровизаций разве не было? — Душенька моя, слушали их и тотчас забывали. — Чарский-то все же писал, корпел, а его гость... — То, что он на вечере прочел, начал Пушкин писать за много лет до того, бросил, начал опять, не кончил; это отнюдь не импровизация. — Но как же тогда те пятьдесят четыре стиха о хане Кублае, во сне сочиненные — или услышанные — и записанные сразу после пробужденья? Англичане от них без ума; чуть ли не лучшими их у Кольриджа считают; и ведь сам он в предисловии к ним пишет, что было бы их двести или триста, если б его в записываньи не прервали, и что, как ни бился, ничего он не сумел позже к ним присочинить. Даже и отмахивается немножко от них, курьёзом психологическим — ах ты Боже мой! — называет; опиум, дескать, сочинил их, а не он. Да ведь хороши! Разве нет? Не лучше, может быть — нельзя, чтоб лучше — чем милая, чудная моя «Кристабель» (первая часть), чем «Старый моряк», чем «Лимбо» (помнишь, как мы его с тобой любили?); но ведь так же хорошо; более загадочно хорошо...

Милая, не волнуйся. Всё, что по-настоящему хорошо, загадочно хорошо. И Кольридж, хоть лучшего отгадывателя ее загадок поэзия никогда, быть может, и не знала, все-таки, даже и в собственной, *таких* отгадать не мог. Говорит он, например, в знаменитой четырнадцатой главе знаменитой своей книги, которую, краткости ради, «Биографией» буду называть, что «сколько-нибудь длинное стихотворение не может и не должно быть сплошь поэзией», а ведь вот не только эти пятьдесят четыре стиха сплошь поэзия, но и триста тридцать один стих той первой части. Объяви мы хоть десять из них ослабленной или не совсем поэзией, пальчиком бы нам погрозила the lovely lady Christabel. Но Кольридж был все-таки прав; это лишь исключения из правила (как «Медный всадник»,

«Хлеб и вино» Гёльдерлина, как «Полдень фавна» Малларме). Совершенно необдуманно главный истолкователь его теорий в середине нашего века, Ричардс, назвал эту его мысль обманчивой мишурой.* Неправы, конечно, и те, кто делал из нее, вслед за По или Кроче, непредусмотренные Кольриджем, да и лубочные немножко выводы о том, что лучше поэм (в русском смысле слова) не писать (зачем разбавлять водой вино?) и что в «Божественной Комедии» поэтически приемлемы одни лишь антологические «красоты». И конечно «поэзия» — двусмысленное слово. Есть поэзия вымысла — скажу даже: замысла — и соответствующего им общего характера речи; и есть поэзия самой этой речи, или слова, от вымысла в значительной мере независимая и не нуждающаяся в нем, зато нуждающаяся в такой насыщенности и плотности звуко-смысловой ткани, какая не со всяким вымыслом (или замыслом) даже и совместима. Ее без сомнения Кольридж и имел в виду. В голову ему не пришло бы отрицать применимость того же слова, хоть и не совсем в том же его смысле, к многопесенным поэмам Спенсера, Мильтона, к «Прелюдии» Вордсворта, к байроновскому «Дон Жуану» или к гиперборейскому (если б о нем знал) отпрыску «Жуана», — особой строфой написанному «роману в стихах», чью «дьявольскую разницу» по сравнению с романом оценил бы он лучше, чем еще теперь (особенно теперь!) ее оценивают у нас. Вся разница эта, столь зорко Пушкиным «сквозь магический кристалл» усмотренная, на том и основана, что роман в прозе, хоть и не должен, но может удовольствоваться одной поэзией вымысла, а роман в стихах не может: поэзия слова ему необходима. Чего ради, если не для нее, стоило писать его в стихах?

Еще за полтора года до того, как он подчеркнул эту разницу в письме Вяземскому из Одессы, Пушкин занес в рукопись неосуществленной своей «Тавриды» схему строфы, найденной им для «Онегина». Из года в год, потом, сколько раз она рождалась в нем по-новому! Предрешила в главных чертах всю словесную музыку романа, с которой расстался он не сразу и после (нынешней) восьмой главы. Но всем этим ничего еще не сказано о степени поэтической насыщенности

* I. A. Richards. Coleridge on Imagination (1934) p. 115: "one of the finest red-herrings in all the literature of criticism".

этой строфы, звукового и смыслового трепета ее, о возрастании этих качеств, начиная особенно с поединка, о их апогее именно в восьмой главе. Как «дьявольски» неправ был Ричардс, когда на предыдущей странице той же книги высмеивал столь им все же ценимого (но порою невпопад) мыслителя-поэта за отказ той же меркою мерить и одинаково определять поэзию и поэтическое произведение, — в чем надлежит видеть как раз величайшую его заслугу. По мнению Ричардса, эти определения так же должны друг с другом совпадать, как определения круглости и круга. Но словесный «пойесис», поэтическая речевая деятельность *создает* поэтические произведения, а не просто называет, в отвлеченное понятие превращает их основной и исчерпывающий признак. Она интересна для критика и драгоценна для человека уже и до возникновения этих произведений, да и независимо от их возникновения. Кольридж понимал разницу между структурными и смысловыми качествами поэтического (или вообще художественного) произведения и такими же качествами его ткани, осязаемыми и в отрывке, при неведении целого. Именно то и понимал, чего Ричардс и очень многие другие наши современники отказываются понимать. Думаю даже, что и оценка его произведений до сих пор страдает от пренебрежения их тканью, там, где (как часто у него бывает) они не блещут законченностью и цельностью. Ведь и «Кристабель» — вторая часть не стоит первой... Но эту первую любят издавна, непоколебимо. Почти как те пятьдесят четыре строчки. Душенька, ты заждалась. Вот мы и вернулись к ним.

Да, они сплошь поэзия. Отступление нужно мне было, чтобы пояснить в каком смысле я это говорю. Не к вымыслу, и не к общему строю «поэтической дикции» (термином Вордсворта и Кольриджа пользуясь) я слово это отношу: в этих двух отношениях и «Потерянный рай» и «Евгений Онегин» (хоть и очень по-разному) — сплошь поэзия; но к той насыщенности или густоте поэтической речи, которая не всегда возможна, не повсюду и желательна, но в которой характерные черты этой речи поневоле должны сказаться всего ясней. В иных случаях, как иные думают* пусть и уместно взмолить-

* Мастер прозы и стиха, Лэндор, обвиняет слишком насыщенную прозу в чрезмерном пренебрежении тем качеством, которое он на-

ся: «тех же шей, да пожиге влей»; но судить о том, что такое ши, по неразбавленным будет правильной. Если же мы задались целью выследить зарождение поэтической речи в той языковой среде, из тех возможностей звука и смысла, которые предоставляются речи языком, то и подавно следует его искать памятуя о наибольшей, а не о приглушенной силе этой речи.

In Xanadu did Kubla Khan...

Эта первая строчка целиком взята из книги, которую Кольридж, по его словам, читал перед тем, как заснул; с той лишь разницей, ничтожной, но образованию стиха мешавшей, что вместо «Ксанаду» (три слога) там было сказано «Ксамду». Негодное звучание это поэт (засыпая в своем кресле — или уже во сне) исправил. Получился почти из одних редкостных собственных имен состоящий стих, почти бессмысленный, но богатый звуком и предчувствуемым смыслом (он ведь и не образует законченного предложения). Повествовательная или верней описательная сторона этого смысла предуказана была той же старинной книгой, по началу и той же ее страницей; но после первого стиха Кольридж уже своими словами пересказывает ее, и словами не просто описательными, а изобразительно-выразительными, в этой своей функции к тому же поддержанными очень гибко модулированной интонационной мелодией и переменчивым, исключительно податливым движению чувства стихотворным ритмом. Вскоре примешивается к навеванному этим чтением многое почерпнутое поэтом из других его чтений. Кольриджу, в его наркотическом сне, все эти образы явились предметными, отчетливо зримыми и в то же время воплощенными в слова, в стихи, которые, проснувшись, ему осталось только записать. Мы, даже при нарочитом усилии, столь отчетливо их не видим, но сомневаться в свидетельстве поэта нам это никакого основания не дает, тем более, что он множество раз в стихах и прозе упоминает об этой своей эйдетической, как психологи выражаются, спонзывает the insipidity of fresh air. Римский-Корсаков жалеет, что у Вагнера сплошная роскошь гармоний не дает слушателю ни малейшей передышки. Немецкое слово «дихт» почти всегда для поэзии похвала, но «дихтен», вопреки авторитетно высказанному мнению, все-таки не «фердихтен»; и слово «дихтунг» — латинского корня, происходит не от конденсации, а от диктовки.

способности. Другое дело мгновенное и беспрепятственное возникновение не требующих выбора и поправки слов, словосочетаний, стихов. Оно могло быть иллюзией. Выбор и проверка выбора могли совершаться, без ведома о том, частью при записи, частью уже и во сне или полусне. Чувство, что возникло гораздо больше стихов, чем было записано (и что остальные исчезли из-за перерыва), также могло быть иллюзорным. Человек, никогда не писавший романов, может проснуться с чувством (как это однажды случилось со мной), что он во сне сочинил роман. Психологией творчества я отказываюсь заниматься, да и думаю, что может существовать только психология условий творчества. Как нельзя постигнуть рождение живого (в отличие от необходимых и достаточных условий этого рождения), так невозможно и проникнуть внутрь процесса или акта, которым осуществляется то, что Пушкин — столь проницательно — назвал союзом звуков, чувств и дум. Поскольку же мы новорожденную поэзию мечтаем на руки взять и облобызывать, то здесь она либо во всей полусотне стихов нам предстает (из коих последние восемнадцать всегда казались мне гениально присочиненными, после освобождения от незваного гостя), либо в первом стихе, родившемся — с маленьким, правда, дефектом не позже 1625 года; вычитанном, не созданном, но без которого хан Кублай почивал бы не в парчевом саване чужеземных слов, и не в памяти нашей, а лишь в дальней своей могиле.

Поль Валери добросовестно различал дарованные ему стихи от прилаженных к ним собственными трудами. «Добросовестно», потому что подарки, хоть и принимал он их, его сердили: хотелось ему всё сплошь самому — не прилаживать, а создавать; делать, а не только доделывать. Всем поэтам, однако, даруются порой стихи, — свыше, как сказали бы в былые времена, — Музой, Провидением, Вдохновением. Могут это быть и стихи или сочетания слов, уже произнесенные другим поэтом или не поэтом, могут быть и отдельные слова, образы, интонации. Они родником становятся новых интонаций, образов, слов, стихов; зародышем нового поэтического организма. Тютчев однажды, в старости, зимой 71-го года, заснул было, да ненадолго, и стали в нем складываться стихи:

Впросонках слышу я — и не могу
Вообразить такое сочетание,
А слышу свист полозьев на снегу
И ласточки весенней щебетанье.

Дочь его, Дарья Федоровна, посылая эти стихи сестре, пояснила, что просыпаясь он услышал, как она рассказывала что-то матери. Скольжение санок за окном, женский говорок рядом или в соседней комнате стали впросонках словами — «ласточка», «полозья» — образовавшими, в свою очередь, столь благоприятствующий поэзии оксиморон (припрятанный за ними: весенняя зима). Не отсутствует он, кстати сказать, и у Кольриджа, даже родственный (солнце, лед),

A sunny pleasure-dome with caves of ice,

хоть и не внушенный непосредственно стихом, породившим его поэму.

Приведу теперь, чтобы Тютчева не покидать, по-иному показательную строчку из стихотворения («Брат, столько лет...»), написанного всего за месяц или два до того четверостишия; чудесную строчку — нет чудесней ни у одного русского поэта — и центральную в этом стихотворении (девятую, но, быть может, родившуюся первой):

Бесследно все — и так легко не быть!

Той же дочери своей, Екатерине, которой адресовано было письмо Дарьи Федоровны, писал он, что стихотворение это сложилось у него на возвратном пути из Москвы после похорон брата, ночью, в полусне. Оно и всё столь же глубоко прекрасно, сколь глубоко грустно; стих этот, однако, лучше всех, глубже всех, с его *ле-ле*, *о-о*, и затаенной на самом дне думой: «легко не быть; не легко знать, что легко не быть». Хочется сказать о нем: «ты царь — живи один». Так и сделал, сказал; но как только сказал, увидел, что и это пушкинское полустиише — микроорганизм, способный существовать самостоятельно, вне своего контекста, и даже принимая смыслы, никак не намеченные, вовсе даже не предвиденные Пушкиным. Поэтическая его прелесть, независимая от контекста, зиждется на двух *и* (поддержанных третьим) после сильно интонированного *а*, и на смысловой игре, подкрадывающейся к оксиморону: цари, в отличие от поэтов, никогда не живут одни. Но

«поэты» (или «поэт»), это уже не текст полустигии, а именно его контекст; подобно тому, как смерть брата, старшего брата — контекст тютчевского стиха и первооснова его стихотворения. Сохраняя только текст, я могу играть любым поэтическим микроорганизмом, как мы все уже полтора года лет играем грибоедовскими стихами — чуть ли не половиною всех их — вырванными нами или выпавшими за непрочностью скреп из его комедии. Но какое же это отношение имеет к эмбриологии поэзии или поэтической речи?

Сама игра ровно никакого. Она даже и противоположна. «Горе от ума» превратилось в набор пословиц, которые приходится нам или актерам с большим трудом загонять назад в комедийную их связь. Пушкинские слова, не к поэту отнесенные (а, например, к царю) становятся клоунадой, хоть и забавной, да нелепой (или наоборот). Играть тютчевскою строчкой, значило бы объявить себя пошляком; и врагом поэзии. Но все это осознать отнюдь не бесполезно для уразумения ее существа и первых ее ростков. Звуковая (в смысле звучания и повтора отдельных фонем), ритмико-мелодическая и даже смысловая структура таких произвольно обособленных микроорганизмов остается нетронутой; упраздняется, при свободной ими игре, или обедняется, затемняется, только их *не ими самими высказываемый* смысл; и тем не менее покидает их в такой игре — частью или совсем — то, что их делало поэзией. Смысл, испаряющийся тогда, связан со структурой (формальной и смысловой) всего произведения в целом, откуда мы их изъяли — стихотворения, драмы, поэмы; но сам он не структурирован, бесструктурен, никаким структурным или формальным анализом не уловим.

Бывают случаи, когда изъятие текста из контекста (простоты ради буду говорить о живущих в памяти отдельных стихах) ущемляет или обесценивает и структурные их свойства. Так, например,

Never, never, never, never, never

короля Лира с мертвой Корделией на руках, если в воспоминании, кроме смысла и повтора, еще и ритмом своим нас потрясет, то лишь потому, что вспомним мы также и противопоставленность этого пятистопного хорей пятистопному ямбу предыдущих стихов и всей трагедии. Как и упоительный

«трехчастный» стих Корнеля, в последней трагедии его, «Сюренá» (I, III, 268)

Toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir

только тем и силен, что все предыдущие александрийцы «нормальны», двухчастны; тогда как «Гюго с товарищи, друзья натуры», старую норму отбросив, такой исключительности ему придать были бы уже не в состоянии. Другое дело приведенные мной в предыдущем разделе расиновские стихи, изъятые из «Федры» и «Береники». Структурная их прелесть независима от контекста, как и независим от него их непосредственный, ими самими высказываемый смысл (что в различной степени приложимо и к только что приведенным стихам Корнеля и Шекспира). Полноту смысла (как и те стихи) они обретают лишь в контексте, — не столько ближайшем, сколько всей трагедии; но без него, повторяя их, наслаждаясь их — неотрывной все же от *непосредственного* их смысла — музыкой, мы можем (предпочитаем даже) обойтись. Стихотворные эти строчки живут двойною жизнью: самостоятельной и соборной, когда их голос, хоть и нужный хору, тонет в нем, так что разрешается нам его и не замечать. Минос и Пасифая породили Федру; это трагически осмысленно; но для обособленного, лирического тем самым, а не драматического восприятия, это лишь волшебнo-легендарные и волшебнo-музыкальные, от музыки стиха неотделимые имена. Для Антиоха стал пустынным «Восток», когда удалилась Береника; его *ennui*, на языке того века, вовсе не скука, а тоска; но в лирическом, чуждом драме и театру, медитативном повторении этого стиха, «пустынный Восток», становится чем-то мелодически-далеким, неопределенным, а скука сама поэтизируется, обойдется теперь и без тоски.

Таков «статут» целых, выделенных из более обширных и более цельных целых. Но тем же ли он останется, если малое целое малым явилось на свет и не разрослось, с другими не срослось? — Останется тем же, поскольку оно, как стихи из «Береники» и «Федры», не нуждается в структурной подмоге. Чем оно меньше, однако, тем больше ему нужен предполагаемый или воображаемый контекст. Двустилие Карамзина

Что наша жизнь? — Роман. — Кто автор? — Аноним.

Читаем по складам, смеемся, плачем... спим.

не требует никакого дополнения; но его же «однострок» (пользуясь словечком В. Ф. Маркова)

Покойся, милый прах, до радостного утра!

структурно независимый и безупречный, требует, тем не менее, кладбищенского контекста, непосредственно его словами не даруемого, хоть и без труда угадываемого нами. Требуется контекста и двустилишие Унгаретти, еще более короткое, чем надгробный этот стих, — «кратчайшее стихотворение мировой литературы», как было о нем сказано:

M'illumino
d'immenso

«Озаряюсь безбрежным», в очень приблизительном и поэтически негодном переводе. Автор, Божией милостью поэт, контекст ему и даровал, прежде всего заглавием «Утро», а затем включив его в цикл стихотворений, сплошь датированных и написанных стрелком-новобранцем в Альпах, на фронте, в 1917 году, зимой. Вы должны это знать, если, поверхностно звуко смысла не удовлетворившись, вы захотите полностью вкушать утренний этот вздох, чаянье мира и свободы, озарение горным светом, пространством горной и снежной тишиной.

Насыщенный поэзией стих (или прозаический микроорганизм, делающий прозу более, чем прозой) будет ли он изолирован кем бы то ни было или нет, должен «петь» и не должен быть пустым, то есть должен иметь смысл, ничем без него не выразимый. Звук со смыслом (или чувством: оно ведь не бессмысленно) вступает, по слову Пушкина, в союз и тем самым образует зародыш или, быть может, лишь побочную (но всегда живую) клетку поэтического произведения или одной из его органических частей. Тут, однако, возникает сразу же вопрос, пенье ли подчинит себе смысл, или смысл овладеет пеньем. Это вопрос не простой: есть разного рода смысл, есть различные степени и способы подчинения. И само пение неоднородно; и не очень отчетливо оно слышно при малых размерах поэтического целого; и рождается не для того, чтоб сразу умереть, а уж скорей как пение гекзаметра: не для эпитафии, а для эпопеи. Вернусь к этому в следующей главе. Но в этой, к концу пришедшей, нужно напоследок подчеркнуть, что уже и в эмбриональных поэтических целых —

они ведь живые — идет тайная борьба между музыкой и мыслью, между песней и пословицей. Я, конечно, расширяю смысл примененных мною слов. Мог бы сказать: между стихотворением и изречением (сентенцией, афоризмом); или даже: между ласкою и бранью, нежностью и презрением. Диссекции произвести, зародыш разглядеть нам не дано; зато нетрудно отражение той борьбы найти в близких к истоку — одноклетчатых, скажем — организмах.

Элегический дистих (гекзаметр плюс пентаметр), хоть в элегиях, ради певучести своей, всего естественней и применялся, но двустишием оставаясь, порыв песнопенья придушив, легко становился эпиграфом и столь же легко эпиграммой; изречением становился, и всего охотней саркастическим. Таково большинство двустиший греческой Антологии, большинство «ксений» Шиллера и Гёте, в отдельности или совместно написанных (хоть Гёте позже и решил свои немножко «укротить»). Что-то искушает поэта — пресечение музыки, что-ли? — два стиха свои заострить, оперить, тетиву натянуть... Вырвалось у Пушкина:

Крив был Гнедич поэт, прелататель слепого Гомера
Боком одним с образцом схож и его перевод

— стрельнул. «В автографе тщательно вымарано рукою самого Пушкина» гласит примечанье. И в добрый час: разве Гнедич этого заслужил?

Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи:
Старца великого тень чую смущенной душой.

Когда вымарывал, вспомнил, быть может, поговорку «для красного словца не пожалеет и отца». Недаром и сама она, насмешница-поговорка, стиху подмигнула, рифму себе нашла. Урезывание лиризма, насыщенность, сжатость, глянь, да и обернется всего лишь красным словцом. Но столь же важно отметить, что и «словцо», эпиграмма, сарказм, каламбур могут взорваться вверх, зажечься подлинным лиризмом, подобно двум гениальным, ни с чьими не сравнимым эпиграммам Баратынского, из которых уж во всяком случае одна («Ты вся и в пурпуре и в злате...») принадлежит к высочайшим созданиям русской лирики. Здесь, правда, хвала побеждает злость; но может и беспощадная, беспримесная злость каламбуром овла-

деть, переплавить его в насыщеннейший звукоблеск, искрой смеха зажечь пожар, и подтрунивание превратить в убийство — или самоубийство. Понимаю предание, согласно которому герцог Верхель вызвал на дуэль и убил своего обидчика. Обидчик этот, один из одареннейших поэтов «золотого века», изобразил его явившимся на бой быков во всем блеске придворного наряда, с бриллиантами на ленте шляпы, — принадлежавшими прежде любовникам его жены. Если бы он попросту это шепнул, и то была бы беда. Но нет, он непеременно сострил, и не только сострил:

¡Que galan que entró Vergel
con cintillo de diamantes!
diamantes que fueron antes
de amantes de su mujer.

Если бы хоть не рифмовали по-испански «любовники» с «бриллиантами» и с «прежде»? А этак, — разве он смерти не заслужил?

Граф Вильямедана и был убит; но, говорят, по приказу короля, за то, что чересчур влюбленными глазами глядел на королеву. — Боюсь, что читатель и ко мне подойдет убийца, если я не перестану целовать и миловать, как повивальная бабка на крестинах, или нянюшка у постельки перед сном, новорожденную поэзию. Только ничего обидного я о ней не сказал. Она и впрямь, в первом лепете своем, и царю Оксиморону платит дань, и царице Ономатопее, о змее помнит, и об осенней весне, и об очаровании имен. Пусть не обвиняют меня и в том, что я младенческими считаю малые, но вполне взрослые создания: не считаю, думаю всего лишь, что в них первозданное легче ощутить... Нет, — ни пословица, ни песня. Они обе стоят у колыбели, но поэзия рождается там, где еще нет ни песни, ни пословицы; там, где бродит, кружится, вскипает то, чем вскормлены будут и та, и эта, и несказанная их встреча, их борение, слияние. В хаосе этом, в сумбуре, там еще музыка мысли и музыка речи — одно...

Нет. Захлопываю дверцу. Кучеру кричу: поди! Предупреждали поэта; не послушался. Выходил из кареты, — тут и пронзен был наемным клинком. Только и успел воскликнуть: «Иисусе! Дело сделано!»

В. Вейдле.

ПАРИЖСКАЯ НОТА

Поезд. Снег. Вагоны. Лица.
Синий свет в окно струится...
Утром надо застрелиться,
Надавить курок.

Тряско. Холодно. Не спится.
Перед тем как застрелиться,
Выпить водочки, побриться,
Расплатиться в срок.

Вот и жизнь вся пролетела,
Точно поезд в поле белом,
Смерть как станция, а тело
Холоднее льда.

А когда то было дело
До всего. Любить хотелось,
Пелось, билось и кипелось,
Как весной вода.

МЕДИТАЦИЯ

Побудь с собой наедине,
Уйди в себя на час.
И в сладком, легком полусне,
Не открывая глаз,

Глядися пристально в себя
И ты тогда поймешь
Все то, что мучало тебя,
Всю суету и ложь...

С самим собой наедине
Не мудствуй, не спеши —
Такой покой на самом дне,
На дне твоей души.

Михаил Волнн

ТЕРРОР С ДВУХ СТОРОН

По своим политическим убеждениям я всегда был поклонником разумного и честного либерализма в духе английских тори и в своем представлении делил людей на сторонников порядка и сторонников беспорядка. К первым я относил всех, обладавших здравым смыслом, отличавших осуществимое от неосуществимого и умевших понимать, что в политической жизни приходится заключать браки не только по любви, но иногда и по расчету. Людьми беспорядка были как те, которые отказывались считаться с неизбежностью жизненных явлений, так и те, которые жили отвлеченными теориями, органически не переносили никакой определенной системы и в душе ненавидели всякую власть до полицейского городского включительно. К этой группе людей примыкала и вся наша среднеинтеллигентская буржуазия. Ее аморфная масса склонялась к тому *умеренному* беспорядку, который в конце концов должен был привести и действительно привел к торжеству беспорядка полного.

Людей порядка было мало, людей беспорядка много, и так как мне приходилось обвинять только левых представителей последнего, а их правые противники неизменно требовали «нажима на закон» и обвинений «с запросом», то очень скоро и в Петербурге создалось то «сочувствие адвокатуры», на которое жаловался Кошелев и которое и здесь через полгода

Мы печатаем отрывки из рукописи полковника Р. Р. фон Раупах «Facies hipocratica (лик умирающего)». Автор рукописи до революции был военным прокурором. В 1917 г. по назначению А. Керенского Р. Р. фон Раупах был членом чрезвычайной следственной комиссии по расследованию действий бывших царских министров. Затем он был председателем чрезвычайной следственной комиссии по делу о т.н. «мятеже» верховного главнокомандующего ген. Корнилова. Предлагаемый читателю первый отрывок — о борьбе террористов партии С.р. с царским правительством, по нашему мнению, ценен тем, что освещает эти события не с революционной стороны (таких материалов напечатано много), а — «с другой стороны баррикады». РЕД.

привело к новой перемене в моем служебном положении. Решающее значение в этом отношении имели два политических процесса: дело Трауберга и дело баронессы Спенглер.

Латышский полуинтеллигент Альберт Трауберг (по кличке «Карл») стоял во главе северного летучего отряда партии социалистов-революционеров и в 1906-7 годах организовал в Петербурге целый ряд политических убийств высших должностных лиц. Фактические исполнители этих террористических актов судились в отдельности, но разыскать и арестовать самого «Карла» и разгромить его организацию удалось лишь после предательства одного из членов ее — Масокина. В летучем боевом отряде Масокин был на роли исполнителя, и потому все участвовавшие в процессе «Карла» лица недоумевали, каким образом он мог дать полиции такие указания, которыми не только детально освещались все уже совершенные убийства, но и раскрывались планы тех террористических актов, которые только еще задумывались и могли быть потому известны лишь единичным лицам.

Следственным властям и прокуратуре политическая полиция представляла предательство Масокина как единственный источник, из которого она почерпнула все данные для обвинения, и только в 1917 году, работая в Чрезвычайной следственной комиссии, я узнал, что все сообщенные Масокиным сведения были вложены ему в уста департаментом полиции, обещавшим ему за это предательство не только денежное вознаграждение, но и полное помилование.

Среди революционных деятелей, которых мне пришлось обвинять, Альберт Трауберг («Карл») несомненно занимал незаурядное место. Члены его летучего боевого отряда называли его «Строитель Сольнес», и не только преклонялись перед его блестящим организаторским талантом, безукоризненной честностью и строгой до аскетизма жизнью, но искренно и глубоко любили его как человека.

В одном из отобранных у него при обыске писем, казенная за покушение на жизнь военного министра Зинаида Клапина, отправляясь на этот террористический акт, писала: «Я так привыкла муштровать свою душу и сдерживать все свои чувства, что по временам она совсем стала терять свою чувствительность и вот, Вы, милый, ласковый согрели ее немножко, дали мне настроение, при котором я смогла написать ма-

тери... Вы, «строитель», должны перешагнуть всех нас и отдать себя последним. Чтобы пережить многих и чувствовать себя «строителем», нужны нечеловеческие силы. Они есть у Вас, эти могучие силы, которые воспитываются великим страданием и глубокими переживаниями души. Эти силы побуждают идти, не останавливаясь ни перед чем, шагая через трупы близких людей. Вам придется перешагнуть через Альвину, этот нежный горный цветок Эдельвейс. На Ваши плечи ляжет тяжелый гнет, — как-бы я хотела тогда быть с Вами, строитель!»

Другой из его корреспондентов советует: «Если Вы сами поедете в город, мы можем Вас потерять. Да лучше всех нас бы повесили, чем допустить это. Вы умеете столько давать душе другого».

Кроме предателя Масокина, сидевшего на суде отдельно от других, все обвиняемые производили впечатление одной сплоченной и дружной семьи, которую Трауберг опекал с заботливостью любящего отца или старшего брата. Своей собственной участью он совершенно не интересовался, ничего не опровергал, ни в чем себя не оправдывал и со своего места подымался только тогда, когда вопрос касался виновности других, и то лишь в тех случаях, если кому-либо приписывалось то, чего он не совершал. Интеллектуальный убийца многих людей, в том числе и популярного в гвардейских сферах генерала Мина, Трауберг сумел внушить судившим его гвардейским полковникам такое уважение и расположение к себе, что они верили каждому его слову. Присутствуя при их разговорах вне судебной залы, я могу удостоверить, что многие из обвиняемых смягчением своей участи были обязаны Траубергу в гораздо большей степени, чем своим талантливым адвокатам.

Председательствовал по делу военный судья, старый генерал Никифоров, человек не плохой, но очень уж бесхитростный, понимавший все жизненные явления только с точки зрения традиций «доброго старого времени». Он ненавидел всякое новаторство, а революционное в особенности. В одно из заседаний кто-то из адвокатов передал обвиняемым несколько живых цветов. Заметив их в руках сидевших за решеткой подсудимых, Никифоров вызвал наблюдавшего за порядком офицера-коменданта и, сделав ему в крайне резкой

форме публичный выговор, приказал немедленно все цветы отобрать. На другой день кто-то уже из публики, пользуясь перерывом заседания, подошел к решетке и незаметно положил на место, где обыкновенно сидел Трауберг, две красных гвоздики. Ввели обвиняемых, следом за ними вошли в залу судьи, и Трауберг, взяв лежавшие на его месте гвоздики, растерянно недоумевал, что ему с ними сделать? Скандал был неизбежен, но к общему изумлению его не последовало. Никифоров посмотрел на Трауберга, погладил свою седую бороду и, ничего не сказав, открыл заседание. Так Трауберг и просидел весь этот день с гвоздиками в руке.

Через несколько лет после суда один мой знакомый, не имевший никакого отношения к этому делу, со слов своего родственника, присутствовавшего при казни Трауберга и Масокина на Лисьем Носу, рассказывал, что, увидев виселицу, Масокин вдруг потерял душевное спокойствие, стал убиваться и зарыдал как ребенок. Трауберг подошел к нему, обнял, прижал его голову к своей груди и всеми силами старался облегчить душевные страдания своего предателя.

По обстоятельствам дела смертная казнь могла быть применена только к Траубергу и Масокину. К первому, как организатору целого ряда убийств, а ко второму, как покушавшемуся на жизнь министра юстиции Щегловитова, во время похорон убитого начальника тюремного управления Максимовского. Все остальные обвиняемые по закону подлежали ответственности лишь за принадлежность к боевой организации партии социалистов-революционеров.

Из показаний Масокина, между прочим, стало известно, что молодая девушка Rogoznikova, получившая от Трауберга поручение убить начальника тюремного управления Максимовского, должна была в случае удачи выбросить из окна его служебного кабинета револьвер. По этому знаку сидевшие в садике против этого окна сигнальщики оповещали по телефону словами: «Билеты проданы» группу террористов, которые, зная, что к месту происшествия поедет градоначальник, выходили на путь его следования и убивали бомбами. Rogoznikova Максимовского застрелила, но брошенный ею без достаточной силы револьвер разбил только одно стекло двойной рамы окна, и ожидавшие в саду, не получая условного сигнала, решили, что убийство не удалось. Они телефонировали: «Би-

леты *не* проданы», и террористы, оставив свои посты, уехали в Финляндию.

Вот по поводу этих сигнальщиков и возникли пререкания с министром внутренних дел Макаровым. Он квалифицировал их действия как соучастие в покушении на убийство градоначальника, наказуемое смертною казнью. Я считал это их деяние по закону вовсе не наказуемым и находил возможным обвинять их лишь в принадлежности к боевой революционной организации. Юридически я был прав, и мой начальник, прокурор генерал Корейво, разделяя мою точку зрения, предложил ее министру Макарову. В ответ он услышал приблизительно то же, что говорил на виленском процессе Мясоедов: «Мы, сказал министр, затрачиваем массу труда и денег на изъятие революционных элементов, а Вы занимаетесь тонкими юридическими анализами». Получалось, как в одном из рассказов Горбунова: «Я тебе дело говорю, а ты меня законом тычешь!»

Выход из положения нашел тогда генерал Корейво, предложивший мне изложить в своей речи лишь фактические обстоятельства дела, а квалификацию, т.е. указание статей закона, которыми изложенные мною деяния предусматривались, он брал на себя.

В день, когда начались прения сторон, генерал приехал в суд, сел рядом со мной и после моей речи сказал: «Деяния подсудимых, изложенные моим помощником, предусмотрены такими-то статьями закона». В числе их была статья о покушении, и сигнальщиков приговорили к смерти.

В то время приговоры петербургского окружного суда подтверждались помощником Главнокомандующего, вел. князя Николая Николаевича, генералом Газенкампом. Снимая с плеч вел. князя нежелательную для него обязанность, утверждение смертных приговоров, Газенкамп поставил, однако, непременным условием полную свою независимость и, пользуясь ею, не отягчал своей совести такими казнями, которые в силу тяжести совершенных преступлений, не являлись бы неизбежными. Вероятно, потому на этого человека, не признававшего никаких охран и ежедневно совершавшего прогулку от Царскосельского вокзала к месту службы, никогда не было произведено ни одного покушения.

Друг детства и большой приятель матери моей жены, Газенкамп часто навещал ее семью и охотно принимал и нас

— молодое поколение — у себя в Царском селе. Как известно, годы только из очень немногих людей делают мудрецов, огромное большинство они обращают просто в старикашек. К Газенкампу они были милостивы: мудрецом его, правда, они не сделали, но большой здравый смысл сохранили, и убедить старика разумными и справедливыми доводами не представляло большого труда.

Когда на другой день после приговора я навел его в Царском Селе, там уже имелось письмо министра Макарова с просьбой о помиловании Масокина. Но просьбу эту о смягчении участи предателя генерал не уважил и подписал смертный приговор ему и Траубергу. Сигнальщикам казнь была заменена.

Одним из защитников по делу Трауберга был молодой адвокат А. Ф. Керенский. Я его тогда знал совсем мало, а после этого процесса не встречался с ним вовсе, и потому был очень поражен, когда десять лет спустя, став революционным министром, он вспомнил обо мне и назначил в состав Чрезвычайной следственной Комиссии по делам о бывших министрах. Назначение это, совершенно несоответствовавшее моему скромному служебному положению, свидетельствовало о высокой оценке им моей прокурорской деятельности по делу «Карла», и за нее я до сих пор сохраняю к Керенскому чувство самой искренней благодарности и не перестаю сожалеть, что неумолимая жизнь впоследствии потребовала от меня таких поступков, про которые он в своей книге «Дело Корнилова» пишет: «К сожалению, я только слишком поздно узнал, кто был их источником».



Действительным предателем «Карла» и его летучего отряда был член Центрального Комитета партии социалистов-революционеров и руководитель ее боевой организации инженер Евно Азеф. В его ведении находились все действовавшие в России террористические отряды, он давал им задания, разрабатывал планы отдельных убийств и сам назначал лиц, которыми эти убийства должны были выполняться. В то-же самое время Азеф состоял на службе у департамента полиции и сообщал начальнику петербургского охранного отделения,

генералу Герасимову, время и место им же задуманных и разработанных покушений. Чтобы скрыть от партии свою провокаторскую деятельность, Азеф допускал приведение ею в исполнение некоторых из организованных им террористических актов. В таких случаях он обычно уезжал за границу, оправдываясь перед департаментом полиции, что акт совершен в его отсутствие и без его ведома.

Успешное осуществление убийств министра Плеве и великого князя Сергея исключало, конечно для революционной организации, всякую возможность подозревать их творца и руководителя Азефа в предательстве, а он в это время задумывал и разрабатывал новые планы покушения: на государя, на вел. князя Николая Николаевича и других высших должностных лиц, и предавая полиции исполнителей этих планов, подвергал сотни безоглядно доверявших ему людей тягчайшим уголовным наказаниям до эшафота включительно.

Евно Азеф происходил из бедной еврейской семьи и свои услуги в качестве осведомителя предложил полиции, будучи еще юношей-студентом. Провокаторская деятельность его продолжалась более 15-и лет, и потому все высшие руководители политического розыска его хорошо знали, но в расцвете своей деятельности он сносился только с начальником петербургского охранного отделения, генералом Герасимовым, который в свою очередь регулярно докладывал обо всем ему сообщенном премьер-министру Столыпину и вместе с ним контролировал его сведения и намечал направление, в котором они должны были быть использованы. При этом, зная, что Азеф состоит в боевой революционной организации, Столыпин производил по его данным аресты и ликвидации с таким расчетом, чтобы они не вызывали подозрений против Азефа и не пошатнули его положения в партии.

Первое покушение на государя азефовская боевая организация приурочила к его поездке в Ревель в 1907 году на свидание с английским королем. Азеф выдал тогда политической полиции план покушения, но, боясь за себя, поставил условием, чтобы никаких арестов произведено не было. Генерал Герасимов согласился, и покушение предотвратили неожиданной переменой царского маршрута. Провал этого покушения, объясненный случайностью, вскоре был компенсирован Азефом, блестяще организовавшим вывоз из Тур-

кестана экспроприированных там его партией 300,000 рублей. Это была огромная заслуга, позволявшая оживить и расширить партийную боевую деятельность, требовавшую очень больших затрат.

Азеф, который сообщил генералу Герасимову об этой операции, хвастливо утверждал, что большая часть этих денег будет передана ему, Азефу. Рассказывая впоследствии об этом эпизоде, Герасимов заметил: «Ведь я же знал, что значительная часть этих денег все равно останется у нас в хозяйстве, — поступит в распоряжение нашего «человека». При таком отношении Герасимова полный успех в сложном и опасном деле вывоза похищенных денег является, конечно, понятным.

Сделав крупный подарок революционерам, Азеф считал себя обязанным оказать не менее ценную услугу и департаменту полиции, и 20-го февраля 1908 года выслал девять человек, вооруженных бомбами и револьверами, для убийства вел. князя Николая Николаевича и министра юстиции Щегловитова. Всех девять арестовали и семерых из них впоследствии повесили.* Этот провал и в особенности непонятные обстоятельства ликвидации отряда «Карла» создали в партии убеждение, что в ее Центральном Комитете не все благополучно.

Более чем за два года до этой последней неудачи из разных мест стали распространяться сведения о связи Азефа с департаментом полиции. Источником этих слухов партия считала полицию, происки которой по ее мнению были направлены к тому, чтобы скомпрометировать самого талантливого из партийных организаторов. Сам Азеф, конечно, негодовал, а близорукие жертвы его предательства искренно сочувствовали этому негодованию, утешали его и выражали неизменную готовность оказывать всяческую поддержку.

Азефу пришлось вести себя с большой осторожностью. Будучи сам главой боевой организации, он существенные сведения о ней департаменту полиции давать перестал, а чтобы укрепить веру в свою непогрешимость, стал с беспощадной жестокостью устранять своих конкурентов по предательству.

* Событие это послужило темой для знаменитого рассказа Л. Андреева «Семь повешанных».

Одним из таких устраненных оказался прославившийся на весь мир священник Гапон.

В воскресенье 9-го января 1905 года более 10,000 петербургских рабочих с женами и детьми шли по улицам Петербурга к Зимнему дворцу, чтобы поведать царю свои нужды и просить его заступничества. Толпу эту вел с крестом в руках священник Георгий Гапон. Манифестанты были уверены, что увидят самого царя, передадут ему петицию и спокойно удалятся. Царь знал о готовившемся движении и даже имел копию петиции.

Когда утром толпа подошла к Зимнему дворцу, расставленные там воинские части отказались пропустить ее на дворцовую площадь. Толпа не поверила и местами стала прорывать воинские кордоны. Войска открыли огонь, и когда толпа разбежалась, на площади оказалось более 200 убитых.

Событие это, ставшее началом русской революции, произвело огромное впечатление не только в России, но и за границей. Гапон стал народным героем, о нем писали газеты всего мира и во всех магазинах продавались его фотографические карточки.

В то время министром внутренних дел был П. Дурново. Обладая научным багажом офицера, этот «самородок» настолько выделялся среди тогдашнего чиновничества своими блестящими способностями и незаурядным умом, что еще в царствование Александра III достиг высокого поста директора департамента полиции. Но, «чтобы поступать умно, одного ума мало», заметил как-то Достоевский, и эту верную и глубокую мысль П. Дурново подтвердил полностью.

Пользуясь расположением известной в Петербурге светской дамы и заподозрив ее в близости к послу одной из иностранных держав, Дурново поручил своему агенту, служившему у посла прислугой, вскрыть и обыскать его письменный стол. Два найденных в нем собственноручных письма своей возлюбленной взбешенный директор департамента бросил ей в лицо, а легкомысленная красавица повторила тот же жест в отношении посла.

В жизни преследуются и караются не пороки, а неумение их скрыть. Случай с послом стал известен императору Александру III, и на поданной ему жалобе о нарушении прав

экстерриториальности царь положил хорошо памятную всем резолюцию: «Немедленно убрать эту свинью».

После этого многими имя П. Дурново произносилось не иначе как с саркастической ссылкой на царскую резолюцию. Служебной его карьере она повредила много меньше, прервав ее только на десять лет, и при Николае II, после убийств в.к. Сергея и министра Плеве, опального чиновника вновь призвали на службу, поручив ему ликвидировать революционный террор.

Разыскать и уничтожить неуловимый боевой отряд социалистов-революционеров без содействия лица, в этот отряд входившего и пользовавшегося в партии крупным авторитетом, оказалось невозможным. Использовать для этой цели Азефа не удалось, и тогда кто-то вспомнил о Гапоне.

Мысль предложить ему роль предателя представлялась осуществимой потому, что бывший священник, проживавший в то время в Монте-Карло, вел там очень рассеянный образ жизни и проводил время в обществе кафешантанных звезд, которых щедро угощал в самых дорогих ресторанах.

Посланному в Монте-Карло известному петербургскому авантюристу Монасевичу-Мануйлову без особого труда удалось склонить Гапона к сотрудничеству с департаментом полиции, и Гапон вернулся в Россию.

За 100 000 рублей Гапон предложил Дурново выдать всю боевую организацию. Дурново, находя сумму чрезмерной, предложил двадцать пять тысяч и, кроме того, потребовал гарантию в исполнении самого обязательства, а также — привлечение уже самим Гапоном в качестве секретного сотрудника еще кого-либо из влиятельных членов центрального комитета партии.

Как революционер Гапон всегда был диллетантом, в политических программах не разбирался, техники революционного дела не знал вовсе и был совершенно убежден, что талантливый и умелый вождь ни в каких политических программах и партиях вообще не нуждается и может сделать революцию в один день.

Эта ребяческая наивность и была причиной того, что даже в дни расцвета его славы, Гапона не посвящали в партийные дела, а когда в Монте-Карло он стал таскаться по ресторанам и открыто продавать свои подписи на фотогра-

фических карточках, то у революционеров быстро исчезло доверие и уважение к нему как к человеку.

Имя все равно что платье, одни его носят, другие таскают. Люди, торгующие своими автографами, принадлежат к последним, и потому среди членов боевой организации нашелся только один человек, сохранивший к герою «Кровавого воскресенья» доверие и даже восторженное обожание. Этим человеком был тот самый инженер Петр Рутенберг, который в воскресенье 9/22 января шел с ним рядом и который после стрельбы на дворцовой площади затащил Гапона в ближайший двор и там своими карманными ножницами остриг ему волосы и бороду. Уничтожив эти обязательные атрибуты православного священника и надев ему на голову чью-то рабочую фуражку, Рутенберг тем спас Гапону жизнь, сделав священника неузнаваемым для разыскивавших его полицейских.

Вот этому-то Рутенбергу Гапон и предложил сотрудничать вместе с ним в качестве секретного агента петербургского охранного отделения. Ошеломленный Рутенберг, не отказывая в своем согласии, категорического ответа однако не дал и предложил еще раз встретиться и обсудить вопрос. В людях и их психологии Гапон, по-видимому, разбирался плохо и не учел, что для положительного ответа существует только одно слово — *да*, и что все остальные слова придуманы людьми для ответов отрицательных.

Прощаясь тогда с Рутенбергом, Гапон был вполне убежден в его согласии и потому просил о времени и месте предстоящей встречи его известить как можно скорее.

Эту просьбу Рутенберг исполнил и, созвав центральный комитет партии, сообщил ему о сделанном Гапоном предложении. Присутствовавший на этом заседании Азеф категорически потребовал, чтобы «с этой гадиной было немедленно покончено», и Ц. К. это предложение принял.

Для исполнения этого решения Рутенберг нанял в пригородном местечке «Озерки» отдаленную дачу и, ссылаясь на необходимость конспирации, предложил Гапону туда приехать. Чтобы подслушать их разговор, в соседней комнате поместились несколько из преданных Гапону рабочих.

Беседа началась с указания Рутенберга на незначительность предложенной Дурново суммы. За 25,000, сказал он, нам предлагают пожертвовать нашими ближайшими друзьями,

ведь всех их придется подвести под виселицу. Гапон возражал, что 25,000 деньги хорошие и что, кроме того, многим можно будет потом устроить побег, а если кое-кто и погибнет, то ведь «лес рубят, щепки летят».

«Ну, а что бы ты сделал, спросил Рутенберг, если бы я не дал своего согласия и сообщил весь наш разговор партийным товарищам?».

Гапон ответил, что он начисто от всего отрекся бы и Рутенбергу никто бы не поверил. Тогда Рутенберг встал и, открыв дверь в соседнюю комнату, впустил находившихся там рабочих.

Со смертельным ужасом на лице Гапон стал уверять их, что все слышанное ими неправда и что единственную целью его было испытать Рутенберга. «Товарищи, молил он, вспомните то воскресенье, когда я бесстрашно шел впереди вас, простите меня». Но его никто не слушал. Ему связали руки, накинули на шею петлю и вздернули на вбитом в стену крюке.

Когда наступила смерть, рассказывает Рутенберг, он, перерезывая веревку на мертвой шее Гапона, вспомнил, что год тому назад этими самыми карманными ножницами он остриг ему волосы и бороду и тем спас его жизнь.



Когда после неудавшегося покушения на вел. кн. Николая Николаевича розыском провокатора занялся редактор журнала «Былое» В. Бурцев, то излюбленная поговорка Азефа: «не первый снег на голову» сразу утратила для него свою убедительность. Он заявил генералу Герасимову, что хочет отойти от активного участия в партийных делах и навсегда уехать за границу. После 15 лет работы и под угрозой сгущавшейся опасности, Герасимов нашел эту просьбу законной, и в июне 1908 года Азеф навсегда из России уехал.

Азеф был давно женат и имел детей. Все знали его за примерного мужа, чадолюбивого и заботливого отца, но этот человек обманывал не только революционеров и правительство, но и свою семью. Это был прирожденный предатель, предатель во всех сферах жизни, и предавал он так, что никому и в голову не приходило, что он был не тем, чем казался. Из Петербурга Азеф тогда уехал не один, а взял с собою

довольно известную в то время кафешантанную певицу, на которую, как оказалось впоследствии, тратил огромные суммы из партийной кассы и с которой сохранял отношения и после переезда его семьи в Париж.

Спокойной и привольной жизни теперь мешали только непрекращавшиеся розыски Бурцева. Этот Дамоклов меч надо было устранить во что бы то ни стало, и Азеф задумал новый план убийства царя. Удавшееся «дело Николая II» навсегда обезопасило бы его от всяких изобличений.

В шотландском городе Глазго на верфях Виккерса строился тогда русский крейсер «Рюрик», и социалистам-революционерам удалось включить в состав посланного туда будущего экипажа своих членов. Распропагандировав команду, они подыскиали двух добровольцев, согласившихся убить царя при осмотре им корабля после прибытия его в Россию. Этими добровольцами были матросы Авдеев и Каптелович.

Такой смотр действительно состоялся, и Авдееву случайно пришлось даже подать царю бокал с шампанским. Но он его не убил — не хватило смелости.

В это время неутомимый в поисках Бурцев встретился за границей в поезде с бывшим директором департамента полиции, действительным тайным советником Лопухиным. О том, что встреча была заранее подготовлена, Лопухин не знал, и Бурцев, начав свой разговор с посторонних вопросов, незаметно перевел его на убийство вел. князя Сергея и министра Плеве. Не называя Азефа по имени, он рассказал, что план этих убийств и руководство в осуществлении их принадлежали члену боевой организации, состоявшему в то же время агентом департамента полиции.

Рассказ Бурцева произвел на Лопухина ошеломляющее впечатление. Он, конечно, не подозревал, что Азеф, отправляя одной рукой своих товарищей-революционеров на виселицу, другой рукой направлял бомбы, растерзавшие вел. князя и министра Плеве. Под умелым напором Бурцева Лопухин назвал ему имя инженера Евно Азефа и впоследствии подтвердил это в Лондоне перед двумя членами центрального комитета партии социалистов-революционеров.

Результатом этих встреч были два суда: в Петербурге над Лопухиным и в Париже над Азефом.

Суд сенаторов усмотрел в лондонской встрече Лопухина и сообщении им членам центрального комитета сведений об Азефе не более и не менее как доказательство принадлежности самого действительного тайного советника Лопухина к партии социалистов-революционеров, и за это приговорил его к каторжным работам.

После этого приговора, пишет граф Витте в своих воспоминаниях, премьер-министр Столыпин приказал выдать председателю суда сенатору Варварину из секретного фонда пять тысяч рублей.

Парижским судьям посчастливилось меньше. Когда члены центрального комитета партии, явившись на квартиру Азефа, сообщили ему о собранных Бурцевым уликах, он стал путаться в ответах и давал противоречивые объяснения, но скоро овладел собою и, обратив эту растерянность в свою пользу, заявил, что тяжесть и жестокость обвинения лишают его возможности собраться с мыслями. Чтобы привести их в порядок и подготовить объяснения, он просил предоставить ему суточный срок.

Обаяние и авторитет Азефа были так велики, что судьи, несмотря на имевшиеся у них совершенно несомненные против него улики, все же поверили в возможность их опровержения и просьбу его уважили.

Оставшись один, Азеф спешно уложил чемоданы и из-за спущенной шторы долго следил за всеми прохожими, боясь, что удалившиеся судьи поджидают его на улице. Только в половине четвертого ночи, убедившись, что простодушные члены центрального комитета разошлись по домам, он простился с детьми и покинул свою квартиру.

Жена проводила его до вокзала, уверенная, что он едет в Вену, чтобы собрать там необходимые для своей реабилитации документы. В действительности он ехал в провинциальный германский городок, где в то время проживала у своей матери его подруга из кафешантана. В гостях у нее он пробыл недолго и, получив от генерала Герасимова несколько подложных паспортов, отправился путешествовать. Они побывали в Италии, Греции, в Египте, а когда наступило жаркое лето, объездили Швецию, Норвегию и Данию. По возвращении в Германию, в лучшей части Берлина была нанята большая квартира, куплена дорогая обстановка, и Азеф, записавшийся

биржевым маклером, стал заниматься спекуляцией ценными бумагами. Своей сожительнице он тогда говорил, что денег у него на их век хватит, и ни в чем себе не отказывал. Конец этой прекрасной жизни наступил только на второй год войны. Какой-то немец, знавший Азефа по его прежней революционной деятельности, встретился с ним в кафе и сообщил об этом полиции. Последовал арест, и как ни старался Азеф доказать немцам, что он не только никогда не был революционером, но, наоборот, служил секретным агентом в департаменте полиции, его продержали в тюрьме до заключения перемирия с Россией.

Два с половиной года пребывания в тюрьме подорвали здоровье Азефа, и через несколько месяцев после выхода из нее он умер от болезни почек.

Шансонетная певица похоронила его на кладбище в Вильмерсдорфе. На могиле никакой надписи нет, — только кладбищенская дощечка с номером места 446.



Удар, нанесенный партии разоблачением Азефа, был огромный. Принцип взаимного доверия, объединявший партию, оказался подорванным. Один из членов ее центрального комитета, террорист Б. Савинков, решил создать новую боевую организацию и составил ее ядро из двенадцати человек, среди которых не было ни одного, не побывавшего за свои убеждения в тюрьме, ссылке или каторге. Скоро ему пришлось убедиться, что трое из этих «вернейших людей» состояли на службе у департамента полиции. Кто-то из работавших в партии по следственным делам сказал тогда приобретшую популярность фразу: «Каждый революционер — потенциальный провокатор».

В подобной обстановке та чистая вера и тот душевный подъем, которые необходимы каждому идущему на верную смерть, конечно, были уже невозможны, и с изменой Азефа революционный террор прекратился. Его сменил террор агентов правительства.

Содержавшийся в одной из провинциальных тюрем член боевой организации Петров, желая избежать каторжных работ, предложил генералу Герасимову заменить разоблаченного

Азефа. Предложение было принято. С помощью полиции Петров получил возможность бежать из тюрьмы и выехать за границу. Там, однако, он изменил свое решение, рассказал партийным товарищам о сношениях с полицией и в доказательство искренности этого поступка предложил использовать себя для совершения какого-либо террористического акта. Ему предложили убить начальника охранного отделения генерала Герасимова.

В качестве помощников при осуществлении этой задачи, а также для наблюдения за поведением самого Петрова, вместе с ним в Петербург выехали члены боевой организации, террористы Бартольд и Луканов.

В это время ген. Герасимов, которому в связи с разоблачением Азефа пришлось оставить должность начальника охранного отделения, проживал в Петербурге, но так как по установленному им заранее порядку адрес его частной квартиры сохранялся в тайне, то Петров, не имея возможности его узнать, оставил в охранном отделении письмо на имя генерала, в котором, извещая о своем возвращении в Петербург, просил о личной встрече.

Опытный и осторожный Герасимов Петрову в этой просьбе отказал, однако, хотя новое служебное положение генерала и исключало всякое касательство к делам политического розыска, он все же поинтересовался спросить назначенного на его место полк. Карпова давно-ли Петров вернулся в Петербург и какую ведет работу. Как пишет генер. Герасимов в своих мемуарах, определенного ответа на эти вопросы не последовало, и разговор закончился признанием полк. Карпова, что новое начальство категорически запретило ему вести с генер. Герасимовым какие-либо беседы о Петрове.

Неудавшаяся попытка убить Герасимова при личном свидании привела Петрова и его спутников Бартольда и Луканова к мысли заманить его в ловушку при содействии охранного отделения. С этой целью Петров сказал полк. Карпову, что будто-бы он добился свидания с ген. Герасимовым и что тот, крайне обиженный тем, что на обещанный ему пост товарища министра внутренних дел назначили не его, а ген. Курлова, предложил Петрову убить Курлова.

Справедливость этого заявления, которому и Курлов и Карпов поверили, Петров просил позволения доказать и пред-

ложил Карпову заманить Герасимова на конспиративную квартиру с тем, чтобы ген. Курлов, директор департамента полиции Виссарионов и сам Карпов подслушали разговор, который он, Петров, будет вести с Герасимовым.

Для осуществления плана Петрова на одной из отдаленных улиц Петербурга наняли небольшую квартиру и одну из ее комнат оборудовали так, чтобы находящиеся в ней слышали все происходившее в соседней. Другие две комнаты были хорошо и уютно обставлены самим полк. Карповым. Привозя по вечерам закуски и выпивку, он вместе с Петровым пользовался этими комнатами в течение всего времени оборудования квартиры для ночных развлечений.

19-го декабря 1909 года, накануне того дня, который был окончательно определен для вовлечения генерала Герасимова в ловушку, к Петрову, переселившемуся в оконченную оборудованием квартиру, приехали террористы Бартольд и Луканов. Выслав Петрова на улицу для оповещения их сигналом в случае неожиданного приезда пол. Карпова, Бартольд из окна следил за Петровым, а Луканов спешно устанавливал под стоявшим у дивана круглым столом привезенную с собой адскую машину, провода от которой он под ковром провел в переднюю. Во время предстоявшей на другой день вечером беседы с генер. Герасимовым, Петров должен был под каким-нибудь предлогом выйти в переднюю, сомкнуть там провода и убить взрывом не только Герасимова, но и подслушивавших в соседней комнате ген. Курлова, Виссарионова и Карпова. Выйдя после взрыва на улицу он должен был уехать на ожидавшем его там извозчике, которым был переодетый Бартольд.

Того же 19 декабря вечером, когда все приготовления были уже закончены и Петров разделся, чтобы лечь спать, он услышал в передней кашель полк. Карпова. Смертельно испугавшись, чтобы тот в темноте на задел замыкателя и не сомкнул провода, Петров выскочил в нижнем белье и увидел Карпова, который, показывая пакет с закусками и вином, сказал, что решил использовать квартиру еще в последний раз и попросил Петрова сходить за проживавшими в том же доме подругами.

Затем полковник вынул из шкапа посуду и, развязав привезенный пакет, стал устанавливать закуски на том самом

круглом столе, под которым Луканов днем поставил адскую машину.

Понимая, что кто-нибудь из посетителей, угощаясь за круглым столом, неминуемо обнаружит стоявший под столом большой предмет, Петров решил воспользоваться данным ему Карповым поручением привести девиц и, выйдя для его исполнения из квартиры, скрыться бегством. Однако, пока он одевался, положение неожиданно ухудшилось тем, что Карпов, найдя скатерть недостаточно чистой, пожелал ее сменить. Так как снять скатерть, не обнаружив проведенных от адской машины электрических проводов, было невозможно, то Петров оказался в положении, из которого не было другого выхода как немедленно же выскочить в переднюю, сомкнуть там провода и, убив Карпова, самому скрыться. Так он и сделал, но когда после взрыва он вышел на улицу, то ожидавший полк. Карпова недалеко от дома извозчик, который был переодетым агентом охранного отделения, немедленно обратил внимание на человека, шедшего в зимнюю стужу без пальто и шапки.

Пользуясь тем, что Петров, имевший искусственную ногу, не мог бежать, переодетый извозчик поехал за ним и, приказав ближайшему городовому его задержать, сам по телефону вызвал полицию.

Весь вышеизложенный ход событий со времени возвращения Петрова в Петербург и до убийства пол. Карпова, заимствован из показания Петрова, данного им военному суду и занесенного в протокол судебного заседания. В какой мере это показание соответствовало действительности, сказать трудно, так как в нем есть много неясностей. Ни проверено, ни, как говорят, разработано оно не было, и все расследование производилось так молниеносно, что даже сам ген. Герасимов ни на следствии, ни на суде допрошен не был. Как видно из его книги, он на другой день после взрыва получил предписание немедленно выехать в Сибирь (Иркутск) для расследования какого-то совершенно незначительного недоразумения между двумя служащими Иркутского охранного отделения.

Осужденного Петрова поторопились повесить, и уже после его устранения составили особую комиссию, получившую поручение расследовать это в высшей степени загадочное дело и решить судьбу ген. Герасимова.

Хотя оговор Петровым ген. Герасимова был совершенно

голословным и решительно никаких подтверждающих его данных добыто не было, тем не менее результатом расследования было постановление комиссии о предании Герасимова военному суду. Постановление это, однако, в исполнение приведено не было.

От участи директора департамента Лопухина, Герасимова спасли личное расположение министра Столыпина и боязнь нового скандального процесса.



Летом 1911 года, в Киеве, во время одного из антрактов торжественного спектакля, на котором присутствовал государь, из партера вышел одетый во фрак молодой человек, и направляясь к стоявшему у рампы министру председателю П. Столыпину, на ходу произвел в него несколько выстрелов. Раненый министр покачнулся и упал.

Началась невероятная суматоха, пользуясь которой убийца постарался скрыться, но сосед его по креслу, какой-то молодой офицер, узнал его в толпе и задержал у самого выхода из театра.

Террорист оказался молодым киевским евреем Багровым, состоявшим на секретной службе у департамента полиции и получившим пропуск в театр от чинов политической охраны. Говорили, что когда Багрова вели на казнь, он, несмотря на завязанный рот, успел крикнуть, что его вешают те самые люди, которые послали на убийство.

Что организовано это дело было департаментом полиции, оказалось бесспорным, но кто именно был высшим инициатором его, следствие не выяснило. Революционные организации во всяком случае никакого отношения к нему не имели, о чем и объявили в особой изданной ими по этому поводу листовке.

Убийство Столыпина нагляднее, чем когда-либо, показало, что в условиях русской действительности путь от Капитолия к Торпейской скале не далек.

Р. Р. фон Раупах

БУНИН О СЕБЕ И СВОЕМ ТВОРЧЕСТВЕ

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

*Среди бумаг Ивана Алексеевича Бунина я нашла некоторые с высказываниями о его творчестве. Насколько мне известно, материал этот нигде напечатан не был. М. Г.**

1

Письмо к Боссару¹

Господин Издатель,

Вы просите меня дать сведения о моей жизни и литературной деятельности. Позвольте ограничиться следующими немногими строками.

Я происхожу из старого дворянского рода, давшего России немало видных деятелей как на поприще государственном, так и в области искусства, где особенно известны два поэта начала прошлого века: Анна Бунина и Василий Жуковский, один из корифеев русской литературы, сын Афанасия Бунина и пленной турчанки Сальмы.

Все предки мои всегда были связаны с народом и с землей, были помещиками. Помещиками были и родители мои, владевшие имениями в средней России, в том плодородном подстепье, где древние московские цари, в целях защиты государства от набегов южных татар, создавали заслоны из поселенцев различ-

* Эти материалы мы получили от доктора Эдинбургского Университета Милицы Эдуардовны Грин за что приносим ей большую благодарность. РЕД.

¹ Это заглавие, как и все письмо, написано рукой Бунина на 7-ми вырванных из тетради листах. Только на первых двух страницах есть незначительные стилистические поправки, сделанные теми же чернилами. Привожу текст точно и полностью, изменив только орфографию со старой на новую.

ных русских областей, где благодаря этому образовался богатейший русский язык и откуда вышли чуть не все величайшие русские писатели во главе с Тургеневым и Толстым.

Родился я в 1870 году, в городе Воронеже, детство и юность почти целиком провел в деревне, в поместьях отца. В отрочестве, под влиянием смерти моей маленькой сестры, я испытал сильную религиозную страсть, не оставившую, однако, никаких болезненных следов в моей душе, и страсть к живописи, которая, как мне думается, сказалась в моих литературных произведениях. Стихи и прозу я начал писать довольно рано. Рано появился и в печати.

Издавая свои книги, я почти всегда составлял их из прозы и стихов, как оригинальных, так и переводных (с английского). Если разделить все это по родам искусства, то получится тома четыре оригинальных стихов, тома два переводных и томов шесть прозы.

Критика обратила на меня внимание довольно скоро. Затем мои книги не раз были увенчаны высшей наградой Российской Академии Наук — премией Пушкина. В 1909 году эта Академия избрала меня в число тех двенадцати Почетных Академиков, которые соответствуют французским «Бессмертным».

Однако, известности широкой я не имел долго — по многим причинам: я долго, после появления в печати моих первых рассказов, не писал и не печатал почти ничего, кроме стихов; я не участвовал в политике и не касался в своих литературных произведениях вопросов, связанных с нею; я не принадлежал ни к одной литературной школе, не называл себя ни декадентом, ни символистом, ни романтиком, ни натуралистом, не надевал вообще никаких масок и не выкидывал никаких крикливых знамен; а между тем, за последние десятилетия, очень бурные в России, судьба русского писателя часто зависела от того, находится ли он в борьбе с существующим государственным строем, вышел ли он «из народа», был ли он в тюрьме, в ссылке, или же от его участия в том литературном шуме, в той «литературной революции», которая, в подражание западной Европе, продвигалась в эти годы в России с ее быстро развивавшейся городской жизнью, с ее только что народившейся бульварной печатью и с ее новыми критиками и читателями из среды молодой буржуазии и молодого пролетариата, разночинства, оди-

наково невежественных в понимании искусства, и жадных до мнимой новизны, до всяческих сенсаций. Кроме того я мало вращался в литературной среде. Я много жил в деревне, много путешествовал и по России и за границей: в Италии, в Сицилии, в Турции, на Балканах, в Греции, в Сирии, в Палестине, в Египте, в Алжирии, в Тунизии, в тропиках. Я стремился «обозреть лицо мира и оставить в нем чекан души своей», как сказал Саади, меня занимали вопросы философские, религиозные, нравственные, исторические.

Двенадцать лет тому назад я опубликовал свой роман «Деревня». Это было началом целого ряда произведений, рисующих без всяких прикрас русские характеры, русскую душу, ее своеобразные сплетения, ее светлые и темные, но почти всегда трагические основы. В русской критике и в среде русской интеллигенции, где в силу многих своеобразных условий, а за последнее время и просто в силу незнания народа или политических соображений, народ почти всегда идеализировался, эти «беспощадные» произведения вызвали страстные споры и в конечном итоге принесли мне то, что называется успехом, который еще более укрепил мои последующие работы.

В эти годы я чувствовал, как с каждым часом крепнет моя рука, как страстно и уверенно требуют исхода накопившиеся во мне и созревшие силы. Но тут разразилась война, а затем русская революция. Я не был из тех, кто был ими застигнут врасплох, для кого их размеры и зверство были полной неожиданностью, но все же действительность превзошла все ожидания.

Во что вскоре превратилась русская революция не поймет никто, ее не видевший. Зрелище это было совершенно нестерпимо для всякого, кто не утратил образа и подобия Божия, и из России бежали все имевшие возможность бежать. Бежало и огромное большинство самых видных русских писателей и прежде всего потому, что в России их ждала или бессмысленная смерть от руки первого встречного злодея, пьяного от разнужданности и безнаказанности, от грабежа, от вина, от крови, от кокаина, или позорное, рабское существование во тьме, во вшах, в лохмотьях, среди эпидемий, в холоде, в голоде, в пещерных муках желудка и унижительных заботах только о нем, под вечной угрозой быть выброшенным из своего нищенского

угла на улицу, быть посланным на уборку солдатских нечистот в казарму, быть без всякой причины арестованным, избитым, оскорбленным, увидеть свою мать, сестру или жену изнасилованной — и в полном молчании, ибо за малейшее свободное слово в России могут вырезать язык.

Я покинул Москву в мае 1918 года, жил на юге России, переходившем из рук в руки «белых» и «красных», а затем эмигрировал за границу — в феврале 1920 года, испив полную чашу несказанных страданий и напрасных надежд, что христианский мир наконец прозреет, ужаснется своему бессердечью и протянет нам руку помощи во имя Бога, человечности и собственной безопасности.

Некоторые критики называли меня жестоким и мрачным. Не думаю, что это определение справедливо и точно. Но конечно много меду, а еще больше горечи дали мне мои странствия по миру и наблюдения над человеческой жизнью. Я смутно страшился за судьбу России, когда рисовал ее, — и моя ли вина, что действительность, та, которой живет Россия вот уже четыре года, сверх меры оправдала мои опасения, что те мои картины, которые казались когда-то даже русским людям слишком черными и неправдоподобными, стали «пророческими», как некоторые называют их теперь! — «Горе тебе, Вавилон!» — эти страшные слова Апокалипсиса неотступно звучали в моей душе, когда я писал «Братьев» и задумывал «Господина из С. Франциско» за несколько месяцев до войны, когда предчувствовал весь ужас ее и те бездны, которые обнажатся после нее в современной цивилизации, — и я ли виноват, что и здесь мои предчувствия не обманули меня?

Значит ли это, однако, что моя душа полна только тьмой и безнадежностью? Нет. «Как лань к истокам вод, все стремится сердце мое к Тебе, Господи!

Примите, Господин издатель, мою благодарность за то внимание, которое Вы оказали мне. Привет Вашей благородной родине, давшей мне приют в моем изгнании, в эти страшные для нас дни, когда наша далекая несчастная родина воистину поражена всеми казнями египетскими.

Париж, 21 июля 1921 г.

2

Мне неизвестно к кому обращается Бунин в следующем письме, копия которого осталась в его архиве. Основной текст письма написан черными чернилами. Часть поправок и дата — синими чернилами. Правка касается исключительно стиля.

Мой дорогой,

Позвольте уклониться от ответа.

Пушкин был, конечно, прав, говоря «взыскательному художнику», что этот художник «сам свой высший суд». Всякий настоящий писатель, конечно, может кое-что сказать о себе не хуже других, ибо непременно должен быть хорошим критиком: ведь его работа каждую минуту требует строжайшей самокритики, ума, вкуса, такта, меры, тончайшего чувствования каждого слова, каждого звука, который он употребляет, да и всего произведения в целом, его тона, строя, смысла, цели.

И все-таки критиковать самого себя публично с надлежащей искренностью и подлинной простотой дело едва ли возможное.

От ответа на вопрос, что я думаю о «Жизни Арсеньева», уклоняюсь еще и потому, что никак бы не мог высказаться о ней в нескольких словах, — вещь эта во всяком случае довольно сложная. Кроме того та часть ее, которая выходит теперь под заглавием «Истоки дней», хотя и имеет самостоятельную ценность, есть все таки пока только часть.

20 Дек. 29 г.

3

В 1953 году Юлия Леонидовна Сазонова собиралась написать книгу о Бунине. В связи с этим Бунин давал ей сведения о себе и своем творчестве. В архиве сохранилась записка, написанная на вдвойне сложенном листе бумаги.

Послать Сазоновой — заказной авион. 1) Ходасевич об «Арс». 9.XI.33. 2) «Поклон Бунину» Адамовича, в день моего 80 летия. 3) Адамович — обо мне в «Рус. сб.» 4) Пильский о «Бож. Древе» и «Краткости» (Рига, 29 Апр. 31 г.). 5) К. Зайцев «Россия и Славянство»: «Наша заруб. лит.» итд. А вырезка

о моих «кратк» рассказах» где? 6) Мое письмо Сазоновой о моей годовой лживости в отрочестве итд. 7) «Я не червонец». Yonkers. Моя память.

Сохранилась копия первой части письма Бунина к Сазоновой, о котором он упоминает в записке. Основной текст этого письма написан синими чернилами, правлено письмо, видимо, дважды. Первоначальная дата «2 февр. 1953 г.» перечеркнута и красным химическим карандашом исправлена на «10 февраля», тоже перечеркнутое. Сбоку синими чернилами написано: «послал Саз. 25 Апр.». Над письмом значится «Копия», а сбоку красным написано и синим вычеркнуто: «Сглазил все таки!» Текст письма следующий:

«Дорогая Юлия Леонидовна,

Дай Бог не сглазить — я поправляюсь, но конечно, весьма медленно (это начало письма вычеркнуто синими чернилами, а слова «Дай Бог не сглазить» кроме того подчеркнуты красным. М. Г.). Надеюсь посылать Вам и впредь от времени до времени происхождение моих рассказов,¹ — нечто интересное с точки зрения «психологии художественного творчества». Мой отец ненавидел всякую ложь и особенно корыстную, прибыльную, говорил брезгливо:

— Лгут только лакеи!

И я был кровно в отца с детства, с отрочества был правдив до глупости (Слова, начиная с «кровно» подчеркнуты красным. Сбоку красным отмечен весь абзац и поставлена нотабене М. Г.) Как вдруг случилось со мной что-то непостижимое: будучи лет восьми, я вдруг предался ни с того ни с сего страстной и бесцельной, даже идиотской лживости: ворвусь, например, из сада или со двора в дом, крича благим матом, что на гумне у нас горит рига или что бешеный волк примчался с поля и вскочил в открытое окно людской кухни и выскочил в другое, — крича подобное уже с горячей верой и в пожар и в волка. И длилась эта лживость с год и кончилась столь же внезапно, как началась. А возвратилась, — точнее начала возвращаться в форме той «лжи», которая и есть художественная литература, ставшая моей второй натурой с той ранней поры, когда я начал писать и стал

¹ См. «Новый Журнал» 1958 г. LIII.

как-то совершенно само собой на всю жизнь *только писателем*. Я начал писать рано, но одновременно и стихи и рассказы, — никогда не был только стихотворцем. А ведь для рассказов непременно нужна хоть какая-нибудь *фабула*, выдумка хоть какого-нибудь действия, какая-нибудь «ложь» сюжетная. И вот тут дело мое было плохо долгое время: жизненного опыта весьма мало было у меня, в юности, в молодости жившего довольно необычно, рано бросившего гимназию, не учившегося в университете, весьма беспутно тратившего себя лет до тридцати и даже позднее, писавшего весьма часто как попало и что попало ради грошевого заработка.»

На этом копия письма к Сазоновой кончается, однако, сохранился набросок к этому письму (измененный в окончательном тексте). Привожу последнюю часть из этого наброска:

«... — был к тому же в юности (да и позднее) довольно лиричен по натуре и поэтому беллетристическая выдумка, сюжетная «ложь» была у меня очень слаба, рассказы мои долго были похожи на душевные излияния или изображали только то, что я видел в действительности. Но лет с тридцати дело пошло лучше, шло лучше и лучше с каждым годом, и стал я «лгать» так ловко, легко, рассказы стали у меня выдумываться как-то сама собой (перед словом «рассказы» стояло «фабула», затем «фабула» была вычеркнута *М. Г.*), чаще всего так неожиданно даже для меня самого, что кончив какой-нибудь рассказ, я просто руками разводил: откуда, как, почему взялось это».

Сохранилась страничка, на которой Бунин опять пишет о лжи:

«Гитлер гениально сказал, что люди гораздо легче верят большой лжи, чем маленькой: надо лгать так, чтобы нельзя было представить себе, что можно лгать до такой степени.

Я когда-то написал нечто подобное этому четверостишием:

Всему предел, всему есть мера,
Но ты перешагни предел:
И будет страх, столбняк — и вера
В законность самых диких дел.»

А на клочке бумаги Бунин записывает: «И я лгу в рассказах *по-Гитлеру!*»

На другом листке бумаги, на котором сбоку красным написано: «Как надо лгать? По Гитлеру!», Бунин записывает: — «Как удивительно помнит Бунин пережитое им — лица, пейзажи, звуки, запахи, краски!» итд. Но мое существо сильно воспринимает, запоминает не частности, а *нечто общее*, а из этого создает *вымысел*, любит только «лгать». И с годами во мне развилась способность «лгать» так убедительно, что напр. чуть не все любовные истории, написанные мною, не только мои читатели, но даже и критики, считали и считают мною самым пережитыми».

В другом месте Бунин записывает на эту же тему: — «Критики много лет, много раз писали и до сих пор пишут с удивлением и даже с восхищением прочитав или перечитав какой-нибудь мой рассказ:

«— Какая у Бунина память! Как живо помнит он всякие события, послужившие ему темой для какого-нибудь рассказа, лица, обстановки, картины природы, цвета, запахи!»

Это так да не так. Память у меня на что-нибудь более ли менее обыденное, простое, бывшее со мной или при мне, на дни, на годы, на лица — словом на все то, что порой перечисляется моими критиками, даже ниже средней. Зато в меня сильно входит и без конца тайно живет во мне то общее, что было воспринято мной само собою, для меня вполне бессознательно, в тот или иной период моей жизни, в той или иной стране, в той или иной природе, в той или иной человеческой среде, в том или ином быту, в том или ином бытовом языке... Я много раз заводил записные книжки, тетради, а заносил в них»

Фраза не закончена.

4

Вероятно, в связи с собиранием материала для книги Сазоновой были сделаны на отдельных бумажках следующие записи:

Мои рассказы и повести

О любви: Заря всю ночь, Игнат, Последнее свидание, Легкое дыхание, Сын, Сны Чанга, При дороге, Грамматика любви, Митина любовь, Солнечный удар, Ида, Мордовский сарафан, Дело

корнета Елагина, *Темные аллеи* — 38 рассказов и повестей, Весной в Иудее, Памятный бал.

О народе: Деревня, Иоанн Рыдалец, Жертва, Древний человек, Сила Сверчок, Ночной разговор, Веселый двор, Захар Воробьев, Оброк, Ермил, Князь во князьях, Забота, Обуза, В саду, Божье дерево, Будни, Сказка.

Люди, наиболее живыми и по новому написанные, наиболее значительные, разнообразные и в большинстве своем новые в русской литературе:

«*Деревня*»: Тихон и Кузьма Красовы, старая жена Тихона, кривой солдат Родька и его жена по прозвищу Молодая, Мужик Николка Серый и его сын сапожник Дениска, девки и бабы «величавшие» Молодую накануне ее свадьбы с Дениской.

«*Суходол*»: Наталья, верная и вечная слуга Хрущевых, Петр и Аркадий Хрущевы, их тихо помешанный отец, их слуга Герваська, убивший его, хохол на хуторе, куда была сослана Наталья, помешанная тетя Варя.

На отдельной бумжке красным химическим карандашом записано:

В книге «Митина Любовь» и «Солнечный удар» мое наиболее любимое, ценное для меня: Солнечный удар, Последнее свидание, Полночная зарница, Грамматика любви, Святые, Чапа жизни, Начало «Братьев», Вторая часть «Митиной любви», «Святые» больше всего.

В книге «Весной в Иудее» и «Роза Иерихона»: (Незакончено М. Г.)

На клочке бумаги карандашом записаны следующие небезинтересные для исследователя даты: «Жизнь Арс.» — Книга I, начата — 22.VI.27, конч. 21.IX.27. — Кн. II, нач. 27.IX.2. конч. В февр. 28 г. — Кн. III, нач. 14.VI.28, конч. 17/30. IX.28 Кн. IV, нач. ? конч. 17/30 VII 29.

5

Больной, измученный, за несколько месяцев перед смертью Иван Алексеевич в бессонную ночь делает следующую запись (красным химическим карандашом):

«Я когда-то зачем-то перекладывал в стихи то то, то другое

из Апокалипсиса, из древних халдейских сказаний о Потопе (коиими, кстати сказать, очень воспользовались евреи), Гимны Огнепоклонников, Гимны Митре — и вот в том самом подлейшем в мире первом номере журнала «Жупел», который стал издавать тотчас после царского «дарования всех свобод» в октябре 1905 года Гржебин и напечатал на обложке этого номера огромный голый человеческий зад, увенчанный царской короной, а в тексте, среди всякого прочего пахабного острословия, — революционного, конечно, — мои стихи, переложение гимна Митре, кои вполне можно было выдать за относящиеся к этой первой «октябрьской революции». И когда я увидел эти стихи в этом первом номере «Жупела», я с бешенством кинулся на Гржебина, как смел он опоганить мое имя моим мнимым сотрудничеством в «Жупеле», кто дал ему право печатать мои стихи в нем, без моего ведома и разрешения, он нагло ответил, что право это ему дала революция и что наплевать ему на все мои «фигли-мигли» насчет моих авторских прав...

Постыднее всего то, что я не только не дал ему как следует в морду тогда, но по своей истинно преступной беспечности махнул на всю эту историю рукой, а впоследствии появился в его альманахе «Шиповник» с каким-то своим рассказом.

«Песни мстителя» Бальмонта, нечто несказанное по буйному кретинизму, по низости самого низкого мерзавца и подхалима я прочел только недавно — лет пять тому назад, здесь, в Париже. Знай я эти «Песни» раньше, я бы никогда на порог к себе не пустил Бальмонта ни в России, ни в эмиграции. А Горький? И о нем я узнал многое только теперь.

Ночь с 17 на 18 Авг. 1953 года.

Эдинбург

Милица Грин

А. М. РЕМИЗОВ

НАЧАЛО 50-х ГОДОВ

1. Тристан

Я поднималась по лестнице на второй этаж. В углублении направо дверь со знакомой бумажкой: висит зеленое и поет... («зеленое и поет» — да как же иначе? Раз зеленое, значит поет, — писал Алексей Михайлович.)

Подходя к двери, я часто думала как-то я застану Алексея Михайловича? Звонила условленным звонком — один более протяжный, и два коротких — и ждала прислушиваясь. Слабый звук шагов приближался. Слегка шаркающий, тихий и мерный. «Значит, все хорошо». Сколько лет еще буду слышать эту привычную еще бодрую и крепкую поступь?

А. М. открывал дверь, и я входила в темноватую переднюю. Сразу охватывал особенный запах этой квартиры: сгущенный запах табака и старых книг. А. М. оглядывал меня, угадывая выражение моего лица, и говорил что-нибудь шутливое и ласковое: «Вы пришли, как монашек с веточкой... какой на вас халатик!» и уже непременно: «о вас такой-то справлялся». Мы медленно шли рядом по длинному корридору. А. М. расспрашивал про моих домашних, про дела, потом обстоятельно рассказывал о том, что произошло за последние дни, о своем здоровье, о том, что его волновало или веселило, всегда одинаковым тихим и убедительным тоном, все равно, о каком-нибудь пустяке или о чем-нибудь важном.

Войдя в кукушину, я расставляла принесенные цветы. «Полевые-» с нежностью говорил А. М. Но он любил и садовые, яркие, видные для его слабеющих глаз. А. М. садился в свое деревянное кресло у стола, курил, стряхивал пепел, на что-нибудь непременно жаловался и улыбался. В то время он носил малиновую бархатную куртку — подарок моей сестры Ариадны (Ауки), привезенный из Америки. Я разглядывала

разукрашенные «конструкциями» стены, письменный стол с привычными вещами. Лампа, Фейерменнхен, жестяная коробка с табаком. В нее привычным движением пальцев, Алексей Михайлович ссыпал табак от окурков для какого-то русского, жившего в «русском доме» (дом призрения для стариков), пепельницы, нелепое черное пресс-папье — голова негра, принесенное дядей-Комаровым, деревянные, сделанные ловкими руками Емельянова коробочки с перьями и подставка для календаря, мундштуки, тетради-рукописи, над которыми сейчас работал А. М., и рисунки. Почерк тогда еще был твердый и красивый. Но Алексей Михайлович уже не писал затейливой вязью, а просто и четко выводил буквы. И линии рисунка чертил крепким и уверенным штрихом.

Это были счастливые годы. После тяжелейшего гриппа зимой 1950-1951 года, здоровье А. М. восстановилось. Он еще довольно хорошо видел и дышал без «задоха». И, главное, был полон творческих сил и подъема. В голове у него было несколько задуманных тем на будущие годы: *Достоевский до каторги*, *Шестидесятники*, *Русские революционеры*. Он задумывался над ними и постепенно подготавливал материалы.

Мы скоро переходили к «порядку дня» — к очередной работе. Работы было много, и Алексей Михайлович всегда торопился. Надо было ответить на письма, переписка была большая: редакции русских изданий и газет, друзья из Америки, их было много. Письма из Парижа и Франции, из Германии и других стран. А. М. всегда и сразу отвечал на письма. У него была привычка поздравлять знакомых писателей с литературными успехами, премиями, избранием в Академию, близких знакомых — с именинами, он все помнил. Я часто писала под его диктовку.

Много времени занимало составление и подготовка к печати книг и корректура. При составлении своих книг А. М. часто пользовался уже напечатанными в газетах или журналах произведениями. Мы вырезали тексты длинными ножницами и наклеивали их на белые листы бумаги, нумеровали страницы и делили на главы. Страницы газет и журналов, обрамлявшие рассказы с поставленными датами, уничтожались. Поэтому теперь очень трудно составить точную библиографию Ремизова и установить время написания и появления в печати его произведений. Сам Ремизов считался только с датой выхода

книги, иногда состоявшей из частей только что написанных, рядом с другими, уже давно появившимися в разных углах земного шара; где только были группы русских эмигрантов, издававших недолговечные журналы, А. М. непременно посылал что-нибудь.

Затем мы переходили к чтению материалов для подготовлявшихся произведений. В эти годы А. М. занимался легендами разных стран и народов, составляющих вечное достояние человечества. А. М. всегда интересовался легендами. Он говорил, что легенды подобны снам человечества, что в этих снах-преданиях сохраняется память прошлого. «В легендах я чувствую несравненно больше живой жизни, чем в исторических материалах» (*Мышкина дудочка*). «Знание, как итог только фактов, не может дать исчерпывающего представления о живом человеке, в протокольном знании нет живой жизни. Только бездоказательное, как вера, источник легенд, оживит исторический документ, перенося его в реальность неосязаемого мира». «История человечества — история человеческого вдохновения, упований — ее можно представить как зарождение, борьбу и смену мифов: миф о божестве, миф о свободе, миф о любви». (*Огонь вещей*).

Источники легенд: легенды кочевали, переходя из страны в страну, прежде чем попасть в Россию. В послевоенные годы, заинтересовавшись, с точки зрения языка, «языком стряпчих», сохранившимся в судебных протоколах 17-го века, А. М. углубился в изучение этой эпохи. Он задал себе вопрос: чем же, кроме книг религиозного содержания, жила в то время читающая Россия? И натолкнулся на легенды, разными путями попадавшими в Россию. Изучив их по источникам и вариантам, Ремизов переписал их своими словами «на свой глаз и свое ухо», через свой опыт и свою жизненную философию.

Повесть о двух зверях — первоисточник повести — древнейшее санскритское пятикнижие Панчатантра. «Каждый век, каждая редакция — пишет Ремизов — представляет себе Ихнелата (он же шакал Димна или Даманаки) по-своему, и меняется обстановка: современность. От арабского «шакала» 8-го века в греческой версии 11-го века и звания нет. Ихнелат очеловечивается, а я его представляю себе человеком среди «шакалов», что куда ближе к древнейшему замыслу Панчатантры». Столкновение человеческих страстей. Заносчивая гор-

дость и глупость вызывают обойденность и обиду. «Три силка на душу»: малодушие, легковёрность и, главное — страх. Человеческое слово — большая сила. Но куда она направлена? Нужна мудрость, а не хитрость. «В правде — говорит Ремизов — тихость, кротость, милосердие».

Мелюзина — французская повесть 12-го века. Вечный вопрос о любви и вере. Способен ли человек любя верить безоговорочно, — несмотря на всё? «Из Мелюзины вышел хоровой сказ» — пишет А. М. в письме к моей сестре Ариадне. Действие Мелюзины проходит под голос хора, подобно античной трагедии. Тема судьбы часто присутствует в произведениях Ремизова. А. М. углублялся в стихию трагедии, перечитывал Эсхила, Софокла, Еврипида. На полях писем того времени рисовал фигурки Ифигении и ее сестры. Работая над Мелюзиной, А. М. с большим увлечением рисовал, альбом за альбомом, его окрыляло сознание, что его творчество, при всей сложности, доходит до людей и вызывает восхищение. Начиная писать что-нибудь новое, А. М. сразу иллюстрировал задуманное произведение — Повесть о двух зверях, Мелюзина, Брунцвик, Бова, Тристан и Изольда.

Над *Тристаном* Алексей Михайлович работал с особенным волнением. Он не ограничивался чтением материалов и различных вариантов легенды о «разлучённой неразлучной любви». Он глубоко переживал стихию кельтского мира, старался увидеть не только героев, но и окружавшую их природу и быт. «Вы представьте себе, ведь рыцари и Тристан часто ходили и во дворце королей также».

У меня хранятся альбомы с замечательными иллюстрациями Ремизова к Тристану. На отдельном картоне лицо Тристана, оно пронзительно: в его печальных глазах вся насыщенность трагедии. Повесть была переписана 3 раза, одновременно заполнялись тетради с рисунками. Поражает их сила и темперамент. А. М. называл их подготовительной работой к написанию легенды.

Колдовство управляет судьбами королей и королев. Феи, друиды, воины и колдуньи: три вещих сестры — их имена: Скоттах, Уатах (она ужасная) и Айфе. Это они явились Макбету. Волшебство: серебряные ветки, яблоко судьбы, зеленый плащ феи, одной из тех «дамуазель», которые окутывали туманом чар странствующих рыцарей. Все это можно прочесть

в надписях под рисунками. «Только битвы и поединки — я пишу о них как по заказу. Это чуждо моей природе» — объяснял мне Алексей Михайлович.

Когда я открываю эти тетради и альбомы, я переношусь в те годы на улицу Буало. Летом окно открыто. Тяжелые занавеси, защищающие окно зимою, раздвинуты. В последние годы жизни А. М. любил солнце и охотно сидел и работал на солнце. Перед ним круглая чернильница, в нее Алексей Михайлович макает перо (старое стило) и пером или самой ручкой быстро проводит уверенную черту. Появляются головы рыцарей с крупными чертами лица, феи, вот и веточка с серебряными листьями и хрустальными бровками.

В августе 1951 года я была на океане, в тот год в Париж из Нью-Йорка приехали со своими семьями мои оба зятя, работавшие в ООН — Вадим Андреев, муж моей сестры Ольги, и Владимир (Бронислав) Сосинский, муж Ариадны.

Письмо А. М. ко мне от 16-8-1951: — «Дорогой мой девятикрылатый Наташа! Вы вспоминали о Тристане в бурю — это самое сокровенное, что есть в природе, голос бурного моря. И судьба Тристана не то ли? Любовь закатывается отчаянием и возникает снова, сокрушая — над всеми подголосьями волн.

Я не забываю о тексте, сейчас кончил о Шмелеве. Примечание к Брунцвику и хочу кончить Ноздрёва: рисую и пишу и вдруг чего-то понимаю.

Первый пришел Саша (Андреев) медвежонок и сейчас же поставлен на работу: развешивал белье и ходил около клея, из «Нового русского слова» вырезал о Горьком. Бегал за ветчиной и зелеными грушами. Я делал котлеты, следила Л. Н. Замятина, пришел Копытчик и читал о Шмелеве. Котлеты пережарились.

В воскресенье Аука — как хорошо она читает, даже выговорила без запинки — Серебряниковские бани. — Проверял с ней. Подмела пол. И я соблазнил попробовать ветчину, она отказывалась и незаметно подобрала, и пустую заветку я положил за окно. В понедельник Вадим — еще вырос и пострунел. Понедельник, едва нашел хлеб и к хлебу горошек. Слушал его рассказы из жизни. Во вторник Бронислав и Алеша, а потом Оля. Пили Порто. И за работу. Оля «воркотун» до 11-ти с Емельяновым. Бову Королевича, а Сосинские

— Горького. Меня очень обрадовало, что все было дружно и с желанием продолжать не отбрыкиваясь».

Несмотря на то, что я часто и регулярно бывала на улице Буало, у меня сохранилось много писем А. М. того периода. Они прежде всего говорят о творческом подъеме 76-летнего Ремизова, а также о его жизненности, о его напряженной воле, направленной на то, чтобы его произведения были напечатаны и увидели свет — «мое исступление» как характеризовал это свое чувство сам Алексей Михайлович.

Мы часами сидим не вставая за чтением. Я не должна пребывать ни вопросами, ни комментариями, ни смехом. Потом уже вопросы забывались, и теперь я очень жалею, что о том или другом не спросила Алексея Михайловича. Потом мы переходим на кухню пить чай. Я стараюсь мимоходом стереть пыль припрятанной тряпочкой со стола или с полок, так, чтобы А. М. не заметил — не полагалось «тратить время на такое». Но А. М. замечет всё, несмотря на свою «слепоту», которую он преувеличивает.

А. М. всегда работал. Чтение было для него работой, он никогда не читал просто так, для отдыха или развлечения. Читал он по задуманному плану — циклами, то, что в данный момент входило в круг его внимания и интереса. Он покупал много книг. Получая газету, прежде всего просил читать объявления книжных магазинов и подчеркивал заглавия интересовавших его книг, главным образом по литературоведению как нового, так и древнего периода. Всегда находились люди, аккуратно менявшие для него книги в библиотеке школы восточных языков. Кроме 17-го века, А. М. изучал литературу 19-го века. Делал выписки того, что его поражало, и, хотя бы в кратком изложении вводил в свои произведения — часто в виде литературных анекдотов. Может быть, с точки зрения чисто художественной, это было не нужно и тяжелило повествование. Кроме литературоведов, только очень немногих читателей интересовали второстепенные лица, когда-то игравшие роль в русской литературной жизни. Например в «Белоснежке» (*Подстриженными глазами*) рассказана ссора Швырева с гр. Бобринским. Кроме анекдотической стороны, в этом рассказе вставала актуальная в те послевоенные годы проблема русской патриотической чести перед лицом Запада. Гр. Бобринский предлагает на международную выставку послать

спину избитого, наказанного русского мужика. «Патриот» Шевырев бурно протестует. Можно ли русский позор выставлять на суд Запада? Между ними происходит драка. Тема была актуальная.

А. М. не считался с читателем, всё же, парадоксально, постоянно чувствовал обиду из-за своей «нечитаемости», о которой он постоянно и настойчиво писал. Французские критики первые отметили чисто поэтическую сторону Ремизова, и говорили о нем как о поэте. В русской критике я никогда не встречала отклика на поэтический элемент в творчестве Ремизова. И критики, и читатели, отдавая должное оригинальности и мастерству языка Ремизова, главным образом ставили вопрос о его понятности. С самого детства, еще бессознательно, я почувствовала и полюбила именно поэзию Ремизова. Впоследствии я всегда жалела, что А. М. в некоторых своих вещах как бы сам себе мешал отдаться этой поэтической стихии, загромождая свои произведения историко-литературными сведениями и анекдотами, забытыми и затерянными в массе исторических и литературных материалов. А. М. их выуживал и воскрешал, это его забавляло. Интерес, вызванный его открытиями у исследователей и любителей литературы, вряд ли оправдывал часы работы, чтения материалов мемуарного характера.

Ради находок языка А. М. прочел томы изданных протоколов судебных дел 17-го века. «Учусь языку» — говорил А. М. Конечно, при этом он сильно утомлял свои глаза. На это чтение и выписки уходили месяцы упорного труда, кропотливой бисерной работы. Но это было настоящей страстью коллекционера. Я обязана Алексею Михайловичу раскрытием личности и литературной деятельности моего деда, Елисея Яковлевича Колбасина, отца моей матери. А. М. полюбил его и говорил о нем, как о близком, знакомом ему человеке, всегда подчеркивая его необыкновенную доброту, внимательность и отзывчивость к людям (Тайная милостыня — *Письма Горького*).

После чая мы возвращались к письменному столу и работали до ужина. Часов в восемь мы шли на кухню и весело разговаривали, пока я готовила еду. Иногда бывали посетители, но редко кто-нибудь из них засиживался поздно. Мы кончали вечер вдвоем в кукушкиной, «вне времени и про-

странства» внешнего мира. Было тихо, мы откладывали работу. Тикали часы: круглый будильник на столе и кукушка, она мерно отсчитывала мгновения, изредка с шумом распахивала дверцы и громко куковала. Мне казалось иногда, что время останавливалось в этой комнате с ритмом часов и украшенными серебром стенами при нашей тихой беседе. Стрелки будильника переходили с девяти на десять. Половина одиннадцатого. Невольно желая удержать меня подольше, А. М. задавал вопросы, говорил о спешных делах, о планах занятий. Иногда что-нибудь рассказывал о прошлом. Я оглядывала стол, все ли на месте? Приготовляла постель, если было холодно, приносила «брусничное» одеяло из другой комнаты. Наконец мы прощались. «Идите тихо...» Я спускалась по лестнице, шла по слабо освещенной улице Буало. На площади Микель-Анж остановка автобуса 62 на тротуаре возле кинематографа. Подымая голову, я глядела на нежное парижское небо, зимой через сеть голых веток платанов, а в короткий праздник лета, сквозь узоры листьев. Подходил автобус. Знакомый маршрут, те же улицы и магазины со спущенными железными шторами. Улицы были пустынные и тихи. Я поздно возвращалась домой.

Н. Резникова

ИЗ ДАВНИХ ЛЕТ

АМЕРИКАНСКАЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКАЯ МИССИЯ В РОССИИ

Приблизительно в то самое время, когда профессор Борис Бахметев, посол Свободной России, приехал в Америку, в Петроград прибыла из Соединенных Штатов специальная комиссия, которую послал президент Вильсон. В комиссию вошли видные представители американской торговли, промышленности и финансов, представители фермеров и организованных рабочих, представители армии и флота и др. Возглавлял эту комиссию известный республиканский деятель, бывший первый министр в правительстве Теодора Рузвельта и лауреат Нобелевской премии мира Э. Рут. Среди членов комиссии Рута были тогдашний первый вицепрезидент Американской Федерации Труда Дункан и известный социалист, член американской социалистической партии Чарльз Эдуард Россел.

Президент Вильсон сначала хотел назначить в эту комиссию социалистического конгрессмена Меера Лондона, вместо Россела. Лондон имел то преимущество перед Росселем, что был родом из России, окончил в России гимназию и не только прекрасно говорил по-русски, но был сравнительно хорошо знаком с политическим положением в России. Сам Лондон позже мне рассказывал, что Вильсон его пригласил к себе, говорил с ним о русской революции и предложил поехать в Россию, но Лондон вынужден был отказаться, потому что хорошо знал, что лидеры социалистической партии против того, чтобы он в России фигурировал как представитель социалистической партии.

Вожди американской социалистической партии сильно тогда нападали на Вильсона за то, что он назначил консервативного республиканца главой комиссии. Лидеры американской социалистической партии были тогда противниками войны и были бы против комиссии, даже если бы Вильсон назначил председателем комиссии вместо республиканца Рута, социали-

ста Россела или какого-нибудь другого социалиста, поддерживавшего войну. Но назначение Рута председателем комиссии дало повод социалистам и другим радикалам дискредитировать комиссию Рута не только в глазах американских радикалов, но и в глазах лидеров революционной России.

После того, как Члены комиссии Рута Дункан и Россел на заседании Всероссийского Совета Рабочих и солдатских депутатов в Петрограде от имени организованных американских рабочих и социалистической американской интеллигенции приветствовали свободную Россию, вслед за ними выступили недавно вернувшиеся из Америки русские эмигранты «интернационалисты» Макс Гольдфарб (Давид Липец) и М. М. Равич и заявили, что Дункан и Россел не являются представителями «сознательного» американского пролетариата и уж, конечно, не американских социалистов — противников войны и всей иностранной политики Вильсона.

Я был не единственный социалист в Соединенных Штатах, которому это выступление Гольдфарба-Липеца и М. М. Равича в Петербурге против представителя Американской Федерации Труда и против Чарльза Эдуарда Россела причинило немало огорчений. Гольдфарб-Липец, который в 1917-м году был «интернационалистом»-бундовцем и был избран городским головой его родного города Бердичева, потом, после окончательной победы большевиков, перекинулся к большевикам и вскоре под именем «Д. Петровский» был назначен Троцким начальником военных школ, а позже в течение ряда лет, под именем Вильямс, был в Англии главным представителем Коминтерна. После окончательного падения Троцкого, Гольдфарб-Петровский-Липец был отозван в Москву и был одним из первых «троцкистов», расстрелянных по приказу Сталина.

М. М. Равич никогда большевиком не стал, он раньше работал в меньшевицкой партии, потом служил в кооперативах. Благодаря его старым партийным связям, ему удалось в двадцатые годы выехать из России и вернуться в Нью-Йорк, где была вся его семья. Он вернулся из России ярым анти-большевиком и глубоко сожалел о своем выступлении в 1917-ом году на заседании Всероссийского Совета рабочих и солдатских депутатов против Дункана и Россела. Равич умер в начале 60-ых годов.

ОКТЯБРЬСКИЙ ПЕРЕВОРОТ И АМЕРИКАНСКИЕ СОЦИАЛИСТЫ

Уже в июле 1917-го года симпатии огромного большинства американских социалистов и других радикалов были на стороне большевиков, которые сделали попытку свергнуть Временное правительство. Большинство американских социалистов были согласны с лидерами большинства германской социал-демократической партии Эбертом и Шейдеманом, что война была навязана Германии союзными державами (Россией, Францией и Англией). Они верили, что правительство кайзера действительно хочет лишь справедливого мира, и американская социалистическая и радикальная печать всячески оправдывала позицию лидеров германских социал-демократов в войне.

Даже после того, как в германской социал-демократической партии произошел раскол и отколовшееся меньшинство образовало «Независимую социалистическую партию» во главе с Карлом Каутским, Эдуардом Бернштейном и Гуго Гаазе, которые резко осуждали военную политику социал-демократической партии большинства, когда германская армия уже заняла всю Бельгию, большую часть Франции, всю Польшу и большую часть Литвы и Прибалтийского края и когда для «независимых» немецких социалистов было ясно, что войну начала Германия и что германский кайзер и милитаристы Германии и не думают возвращать другим странам их территории, захваченные германской армией — даже после всего этого большинство американских социалистов и радикалов все еще продолжали обманывать себя, что и Германия добивается лишь почетного мира и готова вернуть захваченные ею территории, лишь бы ее оставили в покое. Когда германский канцлер Бетман-Гольвег в 1917 году выступил в германском рейхстаге со своим предложением «мира», американская социалистическая газета писала, что «Жан Жорес в свое время требовал того же, чего Бетман-Гольвег требует сейчас», и союзники резко его осуждались за то, что якобы в своих завоевательных целях продолжают войну. Позже, когда германский канцлер Михаэлис сделал несколько фальшивых улыбок революционному правительству России, но Временное правительство отвергло его предложения, вся социалистическая и радикальная печать Соединенных Штатов обвиняла Временное правительство в

том, что оно вместе с «империалистическими союзниками и с американскими банкирами и фабрикантами амуниции» хочет вести войну до победного конца.

И когда в телеграммах из России в американских газетах все чаще упоминались имена Ленина и Троцкого, которые в своих демагогических целях стали ярыми «пацифистами» и начали громко требовать немедленного прекращения войны, Ленин и Троцкий стали любимцами всей американской социалистической и радикальной печати, несмотря на то, что ни один из тогдашних лидеров американской социалистической партии не питал ни малейшей симпатии к *социально-политическим идеям и к тактике Ленина*. Ни один серьезный американский социалист ни на минуту не верил, что Ленин и Троцкий введут социализм в России. Троцкого американские социалисты знавали еще по Нью-Йорку и, насколько я помню, старшие американские социалисты были не очень высокого мнения о нем. Но все они были уверены, что как только Ленин и Троцкий придут к власти, они приостановят европейскую войну. Поэтому американская социалистическая и радикальная печать фактически стала пробольшевицкой еще до большевицкого переворота.

Летом 1917 года, когда почти все активные русские большевики оставили США и уехали в Россию, основателям Нью-Йоркской русской рабочей газеты «Новый мир», старым меньшевикам С. М. Ингерману, Я. М. Джемсу, Максиму Ромму и Д. Рубинову удалось получить большинство в Ассоциации «Нового мира» и перенять газету в свои руки. Передовые статьи в газете обычно писали Ингерман и Джемс, но для отдела новостей у них был только один журналист, который сам не мог заполнить весь отдел новостей. Как я уже говорил, я не был членом Ассоциации, издававшей «Новый мир», но все годы продолжал числиться членом «Русского социал-демократического общества в Нью-Йорке», к которому принадлежали все меньшевики из Ассоциации «Нового мира», и я часто встречался с ними. На одном собрании С. М. Ингерман и Я. М. Джемс спросили у меня, не знаю ли я среди моих друзей и знакомых русского журналиста антибольшевика, который мог бы занять место главного составителя новостей в «Новом мире». Я им рекомендовал Григория Вайнштейна. «Но он ведь не социалист», сказал Ингерман. «По-моему, составитель но-

востей в «Новом мире», — возразил я ему, — не должен быть непременно социалистом. Он должен только хорошо писать новости, должен, кроме русского, хорошо знать английский и быть антибольшевиком. Григорий Вайнштейн неплохой газетный работник. Он знает английский и явный антибольшевик. Большевиков знает он хорошо еще со старых времен».

Григория Вайнштейна я знал давно, еще с Вильно, когда он был учеником Виленского еврейского учительского института. Он был гораздо старше меня и тогда был бундовцем. Не помню, кончил ли Вайнштейн Учительский институт или нет, но помню, что позже он уехал в Женеву, где работал, кажется, в архиве Бунда и одновременно учился в Женевском университете или готовился поступить в университет. В 1915 году я встретился с ним в Нью-Йорке. Он тогда уже не был ни революционером, ни бундовцем, ни социалистом вообще. Об этом он сам счел нужным сказать мне при первой же встрече.

С. М. Ингерман и Я. М. Джемс приняли мой совет к сведению, и Вайнштейн был назначен главой отдела новостей в «Новом мире». Вайнштейн оказался очень хорошим работником, и правление и редакторы «Нового мира» были им очень довольны. Но несколько месяцев спустя большевикам опять удалось получить большинство в Ассоциации «Нового мира». Газета вновь стала большевицкой, и Вайнштейн стал большевиком. Это было еще до большевицкого переворота в России. Вскоре Вайнштейн стал главным редактором «Нового мира» и одним из главных большевицких ораторов в Нью-Йорке. Он хотя и был циником, но у меня было впечатление, что под влиянием событий в революционной России, он действительно начал думать, что большевики — это «волна будущего».

7-го ноября 1917 года — это было, кажется, в четверг, — когда я был в типографии и выпускал там очередной номер газеты, которую я редактировал, мне позвонил по телефону один мой старый приятель, бывший бундовец и сообщил: «Троцкий захватил власть в Петрограде, все министры Временного правительства арестованы и создано Советское правительство с Лениным в качестве премьер-министра».

Помню, что я сразу сбежал вниз на улицу, купил все последние нью-йоркские газеты и поехал к себе домой. Прочитав газеты, я подумал: может быть, это счастье, что большевики *теперь* захватили власть. Теперь даже левые социалисти-

ческие лидеры Совета не будут мешать А. Ф. Керенскому принять все необходимые меры, чтобы раз навсегда подавить большевистскую партию, которую я с первого же дня революции считал опаснейшим врагом мира, свободы и демократии.

Я еще до июльского восстания большевиков был противником большинства лидеров Петроградского и Всероссийского Совета рабочих и солдатских депутатов не только потому, что они все были «циммервальдцами», но главным образом потому, что они большевиков продолжали считать своими товарищами. Они видели опасность для революции только справа, тогда как в июле 1917 года не было даже и намека на «правую опасность». Единственными пропагандистами гражданской войны были большевики, открыто готовившиеся захватить власть и учредить диктатуру своей партии над Россией. Но даже за день до большевистского восстания делегация Совета во главе с лидером меньшевиков Ф. И. Даном явилась к Керенскому и предупредила его, чтобы он ни в коем случае не смел посылать казаков подавлять большевистское восстание, ибо это поведет к «гражданской войне в рядах самого пролетариата».

Первые несколько дней после переворота, когда в телеграммах из Петрограда сообщалось, что А. Ф. Керенский отправился на фронт и что он движется во главе армии на Петроград, чтобы «ликвидировать» там большевистское восстание, я, как и миллионы антибольшевиков в России и за границей, надеялся, что большевистское восстание в течение нескольких дней будет подавлено. Но надежды всех антибольшевиков не оправдались. От огорчения я заболел самым настоящим образом и почти неделю пролежал в постели. Мой мальчик, которому тогда еще не было шести лет, слушая, как я проклинал Троцкого, вдруг спросил меня: «Почему же когда Троцкий был у Лизы (жена моего приятеля Пионтковского, Д. Ш.), ты с ним сидел за столом, пил чай и разговаривал?»

«Я тогда не мог знать, что он позже будет делать», ответил я.

«А я знал», ответил мой маленький сын, который был очень умным ребенком.

«Что же ты знал?», — спросил я его с удивлением.

«Помнишь, — ответил он мне, — когда мы были у Лизы и Троцкий пришел и сказал мне: «Здравствуй, мальчик», и протянул руку, я ему не дал своей руки».

«Почему?» — спросил я.

«Потому, что он выглядел как дьявол...»

Вспоминаю, когда месяцев через 8-9 получилось известие, что большевики убили царя Николая II, мой сын у меня спросил: «Почему же они его убили, ведь он уже больше не был царем?...»

Этот мальчик был мой старший сын Борис, который умер в 1965-м году...

После того, как я встал с постели, я поехал в библиотеку на 42-ой улице. Около библиотеки я встретил двух близких знакомых И. Б. Салуцкого и М. Колчина. Первый бывший видный бундовский деятель, участник знаменитого Лондонского съезда РСДРП в 1907-м году, был лидером Еврейской Социалистической Федерации и редактором еженедельной социалистической газеты. Второй был в России видным большевиком, другом Молотова, и еще накануне войны в петербургской большевицкой «Правде» он объявлялся как американский корреспондент «Правды». Колчин еще в начале войны отошел от большевиков, но он, как и Салуцкий, был левым социалистом. Оба они были противниками большевицкого переворота. Не помню, что сказал мне Колчин при нашей встрече у входа в библиотеку, но хорошо помню, что Салуцкий сказал: «Вы видите, они (большевики) таки вводят социализм, они отдают фабрики рабочим...» — «Это у вас социализм? — возразил я ему, — это анархо-синдикализм. Социалисты никогда и нигде не проповедовали, что фабрики должны быть переданы рабочим. Социалисты всюду требовали, чтобы фабрики и все природные богатства страны стали общественной собственностью, то есть, чтобы они были поставлены под контроль *всего общества*». «Но вы все-таки должны признать, что они приостановили мировую войну?», сказал Салуцкий.

«Приостановили войну? — сказал я, — да, только теперь война еще сильнее разгорится. Она продолжится гораздо дольше, чем продолжалась бы, если бы Ленин и Троцкий не распустили русскую армию на Восточном фронте и не дали возможности немцам ббольшую часть своей армии с русского фронта перебросить на Западный — против англичан, французов и американцев. Но Америка и союзники не сдадутся, и Германия в конце концов будет разбита».

Салуцкий тогда был противником большевиков, но его

позиция в вопросе о войне была та же, как и позиция большинства американских социалистов. Потом он стал коммунистом, долгие годы большевизанил, но еще накануне второй мировой войны стал противником большевизма, был долгие годы деятелем профессионального движения, редактором профсоюзных журналов и автором нескольких книг на английском языке о профессиональном движении в Америке. Он умер в конце 1967-го года. Колчин никогда большевиком не стал, он был левым социалистом, но ярким анти-большевиком.

«НОВЫЙ МИР» и «НАРОДНАЯ ГАЗЕТА»

После разгона большевиками Всероссийского Учредительного Собрания в январе 1918-го года нью-йоркский «Новый мир» изо дня в день по-прежнему преподносил своим читателям чудовищно лживую большевицкую пропаганду. Я начал уговаривать С. М. Ингермана и Я. М. Джемса, старейших членов «Русского Социал-Демократического Общества в Нью-Йорке» и основателей газеты «Новый мир», чтобы мы, т.е. «Русское Социал-Демократическое Общество в Нью-Йорке», основали собственную русскую анти-большевицкую еженедельную газету, в оппозицию к «Новому миру». В кассе нашей организации тогда было около 800 долларов. «С таким капиталом, вы думаете, мы можем приступить к изданию большой еженедельной газеты?» — с удивлением спросили они меня. «Я глубоко убежден, — ответил я, — что если мы выпустим интересную газету со статьями знаменитых русских социалистов Петрограда и Москвы и с достоверными сведениями о событиях в России, то в Америке и в Канаде сразу найдется достаточное число русских антибольшевицких социалистов и либералов, которые придут нам на помощь и обеспечат существование газеты».

Ингерман и Джемс согласились, и тут же было решено созвать специальное собрание всех членов нашего «Общества» для обсуждения этого вопроса. На собрание пришел также Г. Бургин, член «Общества» еще с 1903 г. С 1906 года он был постоянным сотрудником еврейской социалистической газеты «Форвертс». Но уже с 1917 года был настроен про-большевицки. С ним на собрание также пришел зубной врач Цемах Копельзон, один из основателей Бунда в России, а

потом в течение ряда лет он был секретарем Союза русских социал-демократов за границей. В Бунде он был известен под псевдонимом Тимофей, а в Союзе русских социал-демократов за границей — под именем Гришин. Он не был членом «Общества русских социал-демократов в Нью-Йорке», но был одним из основателей «Нового мира». В начале 1918 года Тимофей (Гришин) был еще антибольшевиком. Но на этом собрании он, как и Бургин, говорил против предложения, чтобы наше «Общество» начало издавать собственную газету. Главный аргумент их обоих был, что социалисты ни в коем случае не должны стараться погубить социалистическую газету, даже если они не согласны с ее политическим направлением в том или другом случае. Нам не трудно было разбить их аргументы, и собрание всеми голосами против двух решило приступить к изданию газеты.

Я тогда предложил, чтобы газета была большого формата, в восемь страниц, и называлась бы «Народная газета». Тут же была избрана редакционная коллегия в составе С. М. Ингермана, Я. М. Джемса и автора этих строк. Временным администратором и кассиром газеты был выбран Д. Рубинов, один из старейших членов нашего «Общества». Я тут же единогласно был избран управляющим редакции газеты. Я тогда еще был редактором еженедельной газеты профсоюза Дамских портных в Нью-Йорке и мог целых два дня в неделю всецело заняться «Народной газетой», но писать в газете обзор новостей за неделю, исправлять всевозможные корреспонденции и статьи, я конечно был не в состоянии. Поэтому мы решили пригласить для этого платного секретаря. (Я за все время существования «Народной газеты» работал безвозмездно). Секретарем редакции был назначен Борис Сахаров, старый меньшевик, который в России работал в русских провинциальных газетах. Управляющим хозяйственной части газеты, сразу после выхода первого номера, был назначен Владимир Берг, тогда молодой социалист и убежденный антибольшевик.

Я сразу принялся готовить первый номер. Большевики, как только захватили власть в Петрограде и Москве, по приказу Ленина и Троцкого закрыли все антибольшевицкие газеты и журналы, но на место каждой закрытой газеты, в первое время, через день-два выходила та же газета только под другим названием. Так например, вместо закрытой либеральной

петроградской газеты «Речь», вышла «Наша речь», после закрытия социал-демократической газеты «День», — начала выходить газета «Грядущий день» и т.д.

В первом номере «Народной газеты» я перепечатал из петроградских газет статьи Г. В. Плеханова и Льва Дейча, которых все русские социалисты и радикалы в Америке хорошо знали, Максима Горького, который тогда был ярким противником большевиков, Владимира Короленко, который тоже был очень популярен в Америке. Я перепечатал из петроградских и московских социалистических газет все подробности о том, как большевики захватили власть. Во втором номере «Народной газеты» я перепечатал подробный отчет о первом и последнем заседании Всероссийского Учредительного Собрания, которое Ленин 6-го (19-го) января 1918-го года разогнал потому, что социалисты-революционеры вместе с другими антибольшевиками социалистами имели там огромное большинство.

Первые номера «Народной газеты» произвели большое впечатление даже на многих сочувствовавших большевикам читателей. И второй и третий номера «Народной газеты» я заполнил статьями известнейших русских социалистических лидеров и публицистов, имена которых были хорошо известны каждому более или менее интеллигентному читателю и о которых никто не мог сказать, что они контрреволюционеры, враги народа, стремящиеся восстановить царский режим в России, и т.п. В каждом номере газеты я давал обильный материал о том, что действительно происходило в последние месяцы в разных концах России и что говорят в русских социалистических кругах о новых властелинах России и об их режиме. Только военные новости и телеграфные сообщения о наиболее важных событиях в Соединенных Штатах, в России и в других странах писал секретарь редакции Б. Сахаров. Передовые писал С. М. Ингерман. (Позже также Сахаров и я писали некоторые передовые).

Еврейская социалистическая газета «Форвертс», как и все американские социалистические газеты и журналы тогда, в общем поддерживали большевиков, все же эта газета в передовой статье приветствовала «Народную газету» и желала ей успеха. Автором передовой, как я потом узнал, был Филип Кранц, один из старейших еврейских социалистических писате-

лей. Он был выходцем из России, учился в Харьковском Технологическом институте, был там членом «народовольческого» кружка. Его настоящее имя было Яков Рамбро. В конце 80-х годов он вынужден был бежать из России. Жил сначала в Париже, потом в Лондоне, где редактировал еврейскую социалистическую газету. В начале 90-х годов переехал в Нью-Йорк, здесь он редактировал еврейские социалистические газеты и журналы. Он также писал в русских журналах под своим настоящим именем. В годы первой мировой войны Рамбро-Кранц работал в «Форвертсе». Он был одним из двух виднейших сотрудников «Форвертса», который был на стороне союзников в войне и с первого дня русской революции и до конца своих дней оставался противником большевиков, но в русских делах он не участвовал.

Другим еще более резким противником большевизма и советской диктатуры был М. Баранов, талантливый публицист и политический фельетонист «Форвертса». Баранов (его настоящая фамилия в России была Гармидер). Как и Кранц-Рамбро, Баранов тоже учился в русском высшем учебном заведении, воспитался на русской культуре и также в молодости был «народовольцем». В конце 80-х годов вынужден был бежать за границу. Жил раньше в Париже, потом в Аргентине, а в 90-х годах переселился в Нью-Йорк. Баранов в молодости был русским журналистом. Его перу, между прочим, принадлежат некоторые биографии из знаменитой серии Павленкова «Жизнь замечательных людей». Баранов был в восторге от «Народной газеты» и вскоре прислал нам статью, а потом продолжал сотрудничать.

Вскоре «Народная газета» приобрела еще двух новых ценных сотрудников. Первый — Михаил Колчин, бывший казанский большевик, который в Америке стал еврейским журналистом. По профессии он был статистиком и по-русски писал гораздо лучше, чем на идиш, которому научился лишь здесь в Америке. В «Народной газете» он писал, по преимуществу, на местные темы. Другим ценным сотрудником, которого мы позже приобрели, был генерал Константин Михайлович Оберучев. Оберучев еще в 80-х годах, будучи молодым артиллерийским офицером, состоял членом военной организации партии «Народной воли». Он был арестован и сидел в знаменитой Петропавловской крепости в Петербурге, потом был сослан

служить в далекий Туркестан. Со временем он стал одним из крупнейших специалистов по артиллерии в России. Только поэтому его и терпели в армии, хотя высшее начальство знало, что он радикал. Позже, когда была основана партия социалистов-революционеров, Оберучев примкнул к ней. Он писал статьи в разных социалистических, радикальных и либеральных газетах и журналах под разными псевдонимами, а иногда даже под своим собственным именем. В 1906-м году Оберучева за его революционные убеждения заставили выйти из армии. Он тогда был в чине полковника и всецело посвятил себя литературной работе. В 1913-м году он вновь был арестован и после того, как просидел несколько месяцев в петербургской тюрьме, был приговорен к ссылке на три года в одну из северных губерний, но добился того, чтобы эту ссылку заменили ему высылкой за границу. Он поселился в Швейцарии.

Когда в 1914 году вспыхнула первая мировая война, Оберучев обратился в военный пункт в Киеве, чтобы ему разрешили приехать в Россию и как офицеру участвовать в войне. Но оттуда он скоро получил короткий ответ: «Вы можете не приезжать». Оберучев тогда много времени посвятил делу помощи русским военнопленным, которые голодали в австрийских и германских лагерях. С целью собирания средств для голодающих русских военнопленных Оберучев в 1916-м году приехал в Америку. Я тогда впервые с ним познакомился. Познакомил меня с ним Лев Дейч. В 1917 году, незадолго до революции, когда срок высылки Оберучева за границу кончился, он без разрешения правительства вернулся в свой родной Киев и там сразу был арестован и заключен в киевскую тюрьму. Из тюрьмы его освободила революция. Сейчас же после освобождения он, по рекомендации киевского Совета общественных деятелей и главнокомандующего русской армией на Южном фронте генерала Брусилова, был произведен в генералы и назначен командующим войсками Киевского военного округа. Оберучев пользовался большим доверием не только всех киевских общественных организаций, но и Совета рабочих и солдатских депутатов. Позже, однако, большевики и крайние украинские националисты, «самостийники», начали против Оберучева сильную травлю, и он вынужден был оставить свой пост. Он уехал в Петроград. Там в конце сентября 1917-го года Исполнительным комитетом Всероссийского Совета кре-

стьянских депутатов он был послан на международную конференцию по обмену военнопленных, которая состоялась в Стокгольме. Через несколько недель произошел большевицкий переворот.

Представители большевиков В. В. Воровский, а потом Л. Б. Красин, которые хорошо знали Оберучева, звали его вернуться в Россию, чтобы занять там большой пост в военном комиссариате. Но Оберучев решительно отказался ехать в Россию, потому что был ярким противником большевицкой диктатуры. Он приехал в Нью-Йорк и сразу стал постоянным сотрудником «Народной газеты». Он писал почти в каждом номере (не получая, конечно, никакого гонорара за статьи). Еще за две-три недели до приезда Оберучева в Нью-Йорк, нью-йоркская группа содействия партии с.-р. объединилась с социал-демократической группой и «Народная газета» стала органом двух объединенных социалистических организаций.

В первом же номере «Народной газеты» мы обратились с воззванием к читателям, в котором рассказали правду, что газета сможет существовать только в случае, если будет поддержана не только морально, но и материально всеми ее читателями и друзьями свободной России и, как мы предвидели, многие читатели сразу же отозвались на наш призыв и прислали свои пожертвования. Некоторые читатели даже обложили себя определенной суммой на каждую неделю. Нашему юному энергичному управляющему конторой газеты В. Бергу удалось достать адреса членов различных русских организаций в разных городах Соединенных Штатов и Канады, и мы еженедельно каждому из них посылали пробный номер газеты, предлагая подписаться на нее. В результате, мы первое время каждую неделю получали несколько десятков новых подписчиков из США и Канады. Все члены наших собственных групп также обложили себя определенной суммой для поддержания газеты.

Но наши враги — большевики и крайние правые монархисты — тоже не дремали. Их газеты и всяческие листки систематически натравливали своих читателей на «Народную газету». Если для большевиков мы были «контрреволюционерами», «мелкими буржуями» и «агентами англо-французского и американского милитаризма», то крайне-правые монархисты

клеймили нас «жидами, которые погубили Россию», «врагами Российского Государства и русского народа».

Весной 1918 года в Петрограде была создана нелегальная антибольшевицкая организация «Союз Возрождения России». Председателем ее был избран Николай Дмитриевич Авксентьев, лидер умеренного крыла партии социалистов-революционеров. К «Союзу Возрождения» вначале примыкали и известные лидеры умеренного крыла РСДРП: А. Н. Потресов, В. Н. Розанов, М. И. Либер, В. Левицкий, младший брат Мартова и многие другие правые и умеренные эс-эры, соц. демократы, народные социалисты и левые кадеты. «Союз Возрождения России» имел свои отделы во многих городах. Он поставил себе задачей с помощью союзников свергнуть большевицкую диктатуру и восстановить демократический режим в России. Летом 1918 года и в Нью-Йорке была основана аналогичная организация под названием «Лига борьбы за освобождение России», в которую вошли многие члены социал-демократической и эс-эровской групп, а также бывший депутат 4-ой Государственной Думы А. А. Бубликов, доктор Х. Житловский, бывший видный деятель партии с.р., доктор Нахман Сыркин, бывший основатель партии сионистов-социалистов в России и др.

Д. Шуб

ИНСТРУКЦИЯ НКГБ

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАЦИИ ПО ВЫСЕЛЕНИЮ АНТИСОВЕТСКОГО ЭЛЕМЕНТА ИЗ ЛИТВЫ, ЛАТВИИ И ЭСТОНИИ

I. Общее положение

Выселение антисоветского элемента из Прибалтийских республик представляет собой задачу большой политической важности. Успешное разрешение ее зависит от того, насколько уездные оперативные тройки и оперативные штабы сумеют тщательно разработать план проведения операции и предусмотреть заранее всё необходимое. При этом надо исходить из того, чтобы операция прошла без шума и паники, так, чтобы не допустить никаких выступлений и других эксцессов не только со стороны выселяемых, но и со стороны известной части окружающего населения — враждебно настроенного по отношению к Советской власти.

Ниже изложены указания о порядке проведения операции. Их следует придерживаться, однако в отдельных случаях сотрудники, проводящие операцию, исходят из особенностей конкретных условий и, чтобы правильно оценить обстановку, могут и должны принимать иные решения, направленные к той же цели — без шума и паники выполнить данное им задание.

2. Порядок инструктирования

Инструктаж оперативных групп уездными тройками проводится накануне, за максимально короткий срок до начала операции, с учетом необходимого времени на переезд к месту операции.

Уездные тройки заранее готовят необходимый транспорт для переброски оперативных групп в села к месту операции.

По вопросу выделения необходимого количества авто-

транспорта и гужевого, уездные тройки договариваются на местах с руководителями советско-партийных организаций.

Помещение для инструктажа должно быть тщательно заранее подготовлено, учтена вместимость, выхода и входа и возможность проникновения в него посторонних лиц.

Во время инструктажа здание должно быть обеспечено охраной из числа оперативных работников.

В случае, если на инструктаж кто-либо не явился из состава участников операции, уездная тройка немедленно принимает меры к замене неявившегося из резерва, который заранее должен быть предусмотрен.

Через участковые тройки сообщают собравшимся о решении правительства о выселении с территории данной республики или района учетного антисоветского контингента. При этом коротко рассказывают, что выселяемые из себя представляют.

Обратить особое внимание присутствующих на инструктаж советско-партийных работников (из местных), что выселяемые являются врагами советского народа, а поэтому не исключена возможность оказания вооруженного нападения со стороны выселяемых.

3. Порядок получения документов

После общего инструктажа оперативных групп, последним необходимо выдать документы на выселяемых. Личные дела на выселяемых должны быть заранее подобраны и разложены по оперативным группам, волостям и селам, чтобы при выдаче не было никаких задержек.

После получения личных дел старший опергруппы знакомится с личными делами семей, которые ему предстоит выселять, при этом устанавливает состав семьи, наличие необходимых бланков для выполнения на выселяемого, наличие транспорта для перевозки выселяемого и получает исчерпывающие ответы на неясные ему вопросы.

Одновременно с выдачей документов, уездная тройка разъясняет каждому старшему опергруппы, где расположены выселяемые семьи, и рассказывает маршрут движения к месту выселения. Указываются также пути следования оперативного состава с выселяемыми семьями к железно-дорожной станции

для погрузки. Необходимо также указать место резерва войсковой группы в случае необходимости вызова во время каких-либо эксцессов.

У всего оперативного состава проверяется наличие и состояние оружия и боеприпасов. Оружие должно быть в полной боевой готовности, заряжено, но патрон в патронник не досылается. Оружие применяется в крайнем случае, когда на опергруппу произведено нападение или оказано вооруженное нападение или сопротивление.

4. Порядок проведения выселения

В том случае, если в населенном пункте проводится выселение нескольких семей, тогда назначается один из оперработников старшим по выселению в этом селе, под руководством которого и следует оперативный состав в данные села.

Прибыв в села, оперативные группы связываются (при соблюдении необходимой конспирации) с местными представителями власти: председателем, секретарем или членами сельских советов и выясняют у них точное местожительство выселяемых семей. После этого оперативные группы, вместе с представителями власти, которые выделены на производство описи имущества, направляются к выселяемым семьям.

Операция будет начата с наступлением рассвета. Войдя в дом выселяемого, старший оперативной группы собирает всю семью выселяемого в одну комнату, принимая при этом необходимые меры предосторожности против возможных каких-либо эксцессов.

Проверяя состав семьи по списку, выясняет местонахождение отсутствующих и наличие больных, после чего предлагает сдать имеющееся у них оружие. Вне зависимости от того, будет сдано оружие или нет, проводится личный обыск выселяемых, а затем и обыск всего помещения, с целью обнаружения оружия.

Во время обыска помещения для наблюдения за поведением выселяемых назначается один из членов оперативной группы.

Если при обыске обнаружено оружие в небольшом количестве, то его забирает опергруппа, распределив между собой. Если оружия найдено много, то оно, с вынутыми затворами,

складывается на повозку или автомашину прибывшей опергруппой. Боеприпасы упаковываются и грузятся вместе с винтовками.

При необходимости, для перевозки оружия мобилизуется подвода с соответствующей охраной.

В случае обнаружения оружия, контрреволюционных листов, литературы, иностранной валюты, большого количества ценностей и т.д. об этом составляется на месте краткий протокол обыска, в котором указывается об обнаруженном оружии или контрреволюционной литературе. При оказании вооруженного сопротивления, о лицах, оказавших вооруженное сопротивление, решается вопрос уездными тройками о необходимости их ареста и доставки в уездный отдел НКГБ.

На лиц из числа выселяемых, скрывшихся до выселения, или больных составляется акт с подписью представителя совпартактива.

После производства обыска выселяемым объявляется, что они по решению правительства будут выселены в другие области Союза.

Выселяемым разрешается взять с собой вещи домашнего обихода, весом не более 100 кг: 1) одежду, 2) обувь, 3) белье, 4) постельные принадлежности, 5) посуду столовую, 6) посуду чайную, 7) посуду кухонную, 8) продовольствие — из расчета месячного запаса на семью, 9) имеющиеся у них деньги, 10) сундук или ящик для упаковки вещей.

Громоздкие вещи брать не рекомендуется.

При выселении контингента в сельских местностях, разрешается брать с собой мелкий сельско-хозяйственный инвентарь: топоры, пилы и другие вещи, которые связываются вместе и упаковываются отдельно от общих вещей с тем, чтобы при посадке в эшелоны они были бы погружены в отдельные специально выделенные товарные вагоны.

Чтобы не смешать с чужими вещами, на упакованном имуществе надлежит сделать надпись — имя, отчество, фамилию выселяемого и деревню.

При погрузке этих вещей на подводу, принимаются меры к тому, чтобы выселяемый не мог ими воспользоваться для оказания сопротивления во время движения колонны по шоссе.

Одновременно с работой по погрузке оперативными группами, присутствующие при этом представители советско-пар-

тийных организаций производят опись имущества и организацию его хранения в соответствии с полученными ими указаниями.

Если выселяемый располагает собственными средствами передвижения, то его имущество грузится на подводу и вместе с семьей направляется на намеченный пункт погрузки.

Если у выселяемых средств передвижения нет, то мобилизуются в селе подводы через местную власть по указанию старшего опергруппы.

Все лица, которые за время производства операции зайдут в дом выселяемых или же будут находиться там к моменту проведения операции, должны быть задержаны до окончания операции, при этом выясняют их отношение к выселяемым. Это делается с той целью, чтобы изъять скрывшихся от розыска полицейских, жандармов и других лиц.

После проверки задержанных и установления, что они являются лицами, не интересующего нас контингента, таковых освободить.

Если у дома выселяемого во время производства операции начнут собираться жители села, то надо им предложить разойтись по домам, не допуская при этом образования толпы.

Если выселяемый откажется открыть дверь своего дома, несмотря на то, что ему будет известно, что прибыли сотрудники НКГБ, дверь необходимо взломать. В отдельных случаях привлекаются на помощь соседние оперативные группы, проводящие в данной местности операцию.

Доставка выселяемых из села на сборный пункт железнодорожной станции производится обязательно в течение светлого времени дня; следует стараться при этом, чтобы сбор каждой семьи продолжался не более двух часов.

Действовать во время операции во всех случаях необходимо твердо и решительно, без малейшей суеты, шума и паники.

Отбирать какие-либо вещи выселяемых, за исключением оружия, контрреволюционной литературы и валюты, а также пользоваться продуктами питания выселяемых — категорически воспрещается.

Предупредить всех участников операции о строжайшей судебной ответственности за попытку присвоения отдельных вещей выселяемых.

5. Порядок разделения семьи выселяемого от главы

Ввиду того, что большое количество выселяемых должно быть арестовано и размещено в специальные лагеря, а их семьи следуют в места специальных поселений в отдаленных областях, поэтому необходимо операцию по изъятию как выселяемых членов семьи, так и главы их, проводить одновременно, не объявляя им о предстоящем их разделении. После того, как проведен обыск и оформлены соответствующие документы для личного дела в квартире выселяемого, оперативный работник заполняет документы на главу семьи, вкладывает их в личное дело на него, а документы, оформленные на членов семьи, вкладываются в личное дело выселяемой семьи.

Сопровождение же всей семьи до станции погрузки производится на одной подводе, и лишь на станции погрузки главу семьи помещают отдельно от семьи, в специально предназначенный для глав семей вагон.

Во время сбора в квартире выселяемых предупредить главу семьи о том, чтобы личные мужские вещи складывал в отдельный чемодан, так как будет проходить сан. обработка выселяемым мужчинам отдельно от женщин и детей.

На станциях погрузки глав семей, подлежащих аресту, грузить в особо отведенные для них вагоны, которые будет указывать выделенный для этой цели оперработник.

6. Порядок конвоирования выселяемых

Сотрудникам, конвоирующим колонну выселяемых, движущуюся на подводах, садиться на подводы выселяемых воспрещается. Сотрудники должны следовать с боков и сзади колонны выселяемых. Старший конвоя периодически обходит все колонны, проверяя правильность движения.

При прохождении колонны выселяемых через пункты, а также мимо встречных, конвой должен производиться особенно тщательно; должны следить за тем, чтобы не было побегов, не допуская также каких-либо разговоров переселяемых со встречными им людьми.

7. Порядок погрузки в эшелоны

На каждом пункте погрузки ответственным за погрузку является член оперативной тройки и специально выделенное для этой цели лицо.

В день операции начальник пункта погрузки, вместе с начальником эшелона и конвойных войск НКВД, осматривают предоставленные железной дорогой вагоны с точки зрения обеспечения и снабжения их всем необходимым (нары, унитазы, фонари, решетки и друг.) и улаивается с начальником эшелона о порядке приема последним выселяемых.

Станционная погрузка оцепляется красноармейцами конвойных войск НКВД.

Старшие опергрупп передают начальнику эшелона один экземпляр повагонного списка выселяемых. Начальник эшелона по этому списку вызывает выселяемых, каждую фамилию тщательно проверяет и указывает место в вагоне.

Вещи грузятся вместе с выселяемыми в вагон, за исключением мелкого сельско-хозяйственного инвентаря, который грузится в отдельный вагон.

Выселяемые грузятся в вагоны по семьям, дробить семьи не разрешается (за исключением глав семей, подлежащих аресту). Надо рассчитать таким образом, чтобы было до 25 человек на вагон.

После того, как вагон заполнен необходимым количеством семей, он закрывается.

После приема и посадки людей в эшелон, начальник эшелона несет ответственность за всех переданных ему людей и доставку их к месту назначения.

Старший опергруппы после передачи выселяемых заполняет рапорт о проведенной им операции на имя начальника уездной оперативной тройки, в котором кратко указывается фамилия выселяемого, обнаружено ли оружие и контрреволюционная литература, а также, как происходила операция.

После посадки в эшелон выселяемых и сдачи рапортов о результатах проведенной операции, участники опергруппы считаются свободными и действуют по указанию начальника уездного отдела НКГБ.

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАРОДНОГО КОМИССАРА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОЮЗА С.С.Р.
КОМИССАР ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 3 РАНГА**

Подпись: СЕРОВ

Верно: Подпись неразборчива

ВЕЧНЫЙ МИКОЯН*

ДВАДЦАТЬ СЕДЬМОЙ БАКИНСКИЙ КОМИССАР (1917-1918)

Кавказ — мозаика национальностей, представлял в русской революции необыкновенную пестроту картин и в области политической жизни — здесь были филиалы всех русских партий, здесь были их национальные двойники, ориентирующиеся на федерацию с Россией, были и сепаратистские партии, призывающие к независимости Кавказа. Словом, были все — от монархистов до коммунистов, от анархистов до сепаратистов. На Кавказе же скрещивались и интересы воюющих держав обоих лагерей — турки и немцы метили в главный нефтяной район русской империи — в Баку, туда же метили и англичане, оттуда никак не хотели уйти и русские. Если все же в этом калейдоскопе противоречий можно было еще как то разобраться до большевицкого переворота, то после него все пошло вверх тормашками. Сосредоточием всех страстей — и политических, и национальных, и иностранных — был как раз нефтяной центр Империи и национальный центр Азербайджана — Баку.

После февральской революции высшим органом управления на Кавказе стал так называемый «Закавказский комиссариат», как филиал Петроградского Временного правительства. После большевицкой революции был создан «Закавказский сейм», представлявший собой высший союзный орган государственного управления закавказских народов. Закавказский сейм, хотя и не подчинялся центральному большевицкому правительству, но и не объявил о выходе закавказских народов из состава России. Когда же выяснилась окончательная победа большевиков, то в полном согласии с их торжественной декларацией о праве народов России на самоопределение вплоть

* См. Кн. 105 «Н. Ж».

до отделения, народы Кавказа — Азербайджан, Армения, Грузия и Северный Кавказ вышли из состава России, объявив себя независимыми республиками (май 1918 г.).

Однако только армяне и грузины восседали в своих столицах — в Эриване и Тифлисе, азербайджанская столица — Баку находилась в руках красных, а северокавказская — Владикавказ — в руках белых.

Еще в ноябре 1917 г., большевики пользуясь своей маленькой, но крепко-организованной группой, захватили власть в Баку и провозгласили создание — «Бакинского Совета Народных Комиссаров». Во главе Совета стал старый большевик армянин Степан Шаумян, которого называли «кавказским Лениным». Состав бакинского Совнаркома был истинно интернационален. Туда входили виднейшие большевики всех закавказских национальностей и русские.

Бакинский Совнарком создал и свои вооруженные силы, чтобы оборонять Баку от наступавших турок и немцев. Рядовой солдат армянской дружины на турецком фронте в 1915 году Микоян теперь стал комиссаром 2 бригады («бригадный генерал» в 23 года!), а командиром был известный дашнак Амазасп.

Ленин был очень доволен энергичной работой Шаумяна. Еще 14 февраля 1918 г. Ленин писал ему: «Мы в восторге от Вашей твердой и решительной политики. Сумейте соединить с нею осторожную дипломатию, и мы победим. Трудности необъятны, пока нас спасают только противоречия и конфликты между империалистами. Умейте использовать эти конфликты».

Суверенитет Бакинского Совнаркома распространялся только на город Баку с промыслами, а дальше начинались другие «суверенитеты» — на севере стояли антибольшевицкие войска генерала Деникина, на востоке английские, на юге — национальные войска Азербайджана и Турции. Задачи этого большевицкого островка один рабочий азербайджанец, выступая на митинге, охарактеризовал так: «товарищи, зачем много говорить, нам надо не говорить, а только качать — качать нефть в Россию, качать революцию на Восток». Так и было на деле. Бакинские комиссары снабжали Ленина нефтью через Каспийское море (Баку — Астрахань), в которой он так нуждался в начавшейся гражданской войне. И интенсивно

готовили кадры к захвату власти в Армении и Грузии, тоннами отправляя на зарубежный восток большевицкие листовки с призывом похоронить навсегда западный империализм.

Формально Бакинский Совнарком опирался на Бакинский Совет рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Туда входили три русских партии (большевики, меньшевики и эсеры) и одна национальная армянская партия (дашнаки). Национальная партия Азербайджана — Муссават (Муссават — значит «Равенство») находился в войне как с Бакинским Совнаркомом, так и с Советом. Большевики никогда не имели большинства в Бакинском Совете, к власти они пришли через свою местную революцию. Совету ничего не оставалось, как молчаливо узаконить эту революцию, чтобы самому играть роль псевдо-парламента. Пока не сжималось вражеское кольцо вокруг Баку, комиссары и советы, хотя и ненавидели друг друга, но эту ненависть не выносили на улицу. Лидеры партий, представленных в Совете, знали, что если в Баку вступят белые, то они все будут расстреляны, если же Баку займут муссаватисты — они будут повешены. Та и другая перспектива к концу июля 1918 г. стала настолько реальной, что Бакинский Совет на чрезвычайном заседании решил пригласить в Баку... английские войска из Персии. Это решение Совета, датированное 25 июля 1918 г., было напечатано в «Известиях» Совета на русском, азербайджанском и армянском языках. Армянское издание «Известий» как раз и редактировал Микоян.

В телеграмме Ленину Шаумян писал по поводу принятия этого решения: — «Положение на фронте ухудшается с каждым днем. Под влиянием неудачи и паники правые партии в расширенном Совете вчера, 25 июля, вновь поставили вопрос о приглашении англичан... Я требовал снять с обсуждения этот вопрос, требование мое отклонено.... Большинством 259 голосов правых эсеров, дашнаков и меньшевиков против 236 большевиков, левых эсеров и группы левых дашнаков принята резолюция о приглашении англичан и составлении правительства из всех советских партий. Чтобы спасти Баку для России, необходима срочная помощь войсками из России. Жду Вашего распоряжения об отправке войск и ваших указаний по поводу принятого решения о приглашении англичан».

Ленин, сам находившийся в смертельной опасности от начавшейся гражданской войны против него с Востока, Юга и

Запада, не был в состоянии оказать Шаумяну какую-либо помощь. Но катастрофой для Бакинского Совнаркома явилось не голосование в Совете, а решение главнокомандующего его войсками генерала Лазаря Бичерахова оставить Баку и отвести свои войска на линию Дербент-Порт Петровск (Махачкала). Генерал Бичерахов собственно был начальником казачьего отряда, действовавшего ко времени революции в Месопотамии, который заключил союз с Бакинским Советом против наступающих турок. Но когда Совнарком отказался подчиниться советскому большинству, то Бичерахов вывел свой отряд из Баку. Советское официальное издание замечает по этому поводу, что «отряд Бичерахова изменил советской власти». Однако в этом смысле изменил советской власти и сам Шаумян, когда 31 июля сделал абсолютно необычное для коммунистов заявление: — «Мы не хотим нести ответственность за эту преступную политику и слагаем свои обязанности как народные комиссары». Это было первый и последний раз в истории коммунизма, когда большевики добровольно отказались от власти.

Решение об отставке было принято вопреки Ленину и тогдашнему наркому по делам национальностей — Сталину. Ленин и Сталин делали отчаянные попытки, чтобы хоть в последнюю минуту предупредить его. По поручению советского правительства Сталин телеграфировал из Царицына: «По последним сведениям народнические фракции Бакинского Совдепа добиваются призыва варягов... (речь идет об англичанах, А. А.). Именем Всероссийского ВЦИКа, я требую от всего Бакинского Совета, от армии и флота полного подчинения воле всей России. Во исполнение решения V съезда Советов я требую от Бакинского Совнаркома безоговорочного проведения в жизнь независимой международной политики и решительной борьбы с агентами иноземного капитала». Ленин на другой день, 22 июля, писал Шаумяну: «Могу только поддержать вполне телеграмму Сталина против народнической фракции Бакинского Совета». В том, что «народнические фракции» (т.е. эсеры, меньшевики и дашнаки) пошли против большевиков в Бакинском Совете, в решающей степени было виновато само центральное советское правительство. Тому же Сталину, находившемуся в Царицыне и являвшемуся уполномоченным ЦК по делам во всем Каспийском районе, Ленин

телеграфировал, в связи с восстанием левых эсеров в Москве, чтобы Сталин дал указание бакинцам, а также чекистским частям в Туркестане, усилить террор против эсеров. Ленин писал: «Повсюду необходимо подавить беспощадно этих жалких и истеричных авантюристов... Относительно Баку самое важное, чтобы Вы были непрерывно в сношениях с Шаумяном... Итак, будьте беспощадны против левых эсеров». Сталин ответил по-сталински: «Все будет сделано. Будьте уверены, у нас рука не дрогнет. С врагами будем действовать по вражески». Как директива Ленина, так и кровавая практика Сталина по выполнению этой директивы создали в Баку и Туркестане ту страшную атмосферу, которая привела потом и к трагедии «двадцати шести бакинских комиссаров».

Когда большевики добровольно отказались от власти, по решению Совета было создано правительство так называемой «Диктатуры Центрокаспия» из меньшевиков, эсеров и дашнаков, во главе с меньшевиком Садовским и Бичераховым как командующим. Вот теперь только член Бакинского Совета, член Бакинского Комитета партии, армянский редактор советских «Известий», «бригадный генерал» Микоян* делается главным связывающим звеном между бывшим Совнаркомом большевиков и правительством «Диктатуры Центрокаспия» по вопросам организации эвакуации членов Совнаркома и их семей в большевицкую Астрахань по морю. Но когда 31 июля комиссары погрузились на пароход и после наступления темноты отчалили от пристани, то новая власть вернула пароход обратно и весь Совнарком объявила арестованным (большевики пишут, что это сделали англичане, но их еще и не было в Баку).

Однако Микояну, пользуясь его связями среди дашнаков и эсеров, вместе с которыми он издавал «Известия», удалось освободить всех арестованных. Но не прошло и нескольких дней, как в бакинской печати подняли большую кампанию против бывшего Совнаркома, обвиняя его в разбазаривании и присвоении народных средств. Печать и общественность всё

* В 1922 году, будучи секретарем Юго-восточного бюро ЦК РКП(б) в Ростове, Микоян был назначен членом Реввоенсовета с четырьмя ромбами, что по теперешним советским рангам означает генерал армии или даже маршал!

настойчивее начали требовать судебного разбирательства выдвинутых обвинений. В этих условиях члены Совнаркома решили лучше вновь попытаться бежать в Астрахань, сели на самовольно захваченный пароход и двинулись в море, но военными кораблями «Диктатуры Центрокаспия» пароход беглецов был возвращен к берегу, комиссары и организаторы побега вновь были арестованы (но не Микоян). Это было 12 августа.

Большевики связывают этот второй арест комиссаров с прибытием в Баку английского отряда ген. Денстервилла. Правительство «Диктатуры Центрокаспия» предало арестованных военному суду. Но случилось то, чего боялись все: и большевики и «диктаторы» из «Центрокаспия» — турки подошли к Баку. Вот тут вновь выходит на сцену Микоян. Накануне вступления в город турок и азербайджанских войск вопрос о судьбе арестованных комиссаров был поставлен Микояном на обсуждение в заседании правительства «Диктатуры Центрокаспия». Представитель этого правительства эсер Велунц и представитель меньшевиков Богатуров признали обоснованным требование Микояна об освобождении комиссаров, «так как наступающие турки и азербайджанцы их повесят». Микоян получил на руки соответствующее решение правительства.

В книге И. Шафира «Убийство 26 бакинских комиссаров», изданной Коминтерном в 1922 г., рассказана дальнейшая история судьбы комиссаров. Несмотря на чисто партийный подход автора, старающегося представить трагедию 26 бакинских комиссаров как дело рук англичан и их «агентов — меньшевиков, эсеров и дашнаков», даже из этого рассказа и, особенно, из приводимых им официальных документов, явствует, что комиссары стали жертвой гнева анархической народной массы, того гнева, который был прямым результатом массового красного террора большевиков. 14 сентября Микоян явился к заместителю председателя «чрезвычайной комиссии по делу комиссаров» Л. Ладину с упомянутым решением, в котором было сказано, чтобы все арестованные большевицкие комиссары были немедленно освобождены. Решение было подписано председателем правительства «Диктатуры Центрокаспия» А. Велунцем и секретарем Тер-Карпетяном. В заявлении, сделанном им в Тифлисе 4 июня 1919 г., сам Л. Ладин расска-

зывал: «14 сентября, в 10-11 часов вечера, большевик Микоян принес приказ «Диктатуры Центрокаспия», подписанный Велунцем и Тер-Карпетяном, чтобы погрузить всех арестованных большевиков на пароход «Севан», капитан которого получит дальнейшие распоряжения. Я сейчас же отдал приказ под расписку Микояна, чтобы все политические заключенные были освобождены, и предложил Микояну для сопровождения арестованных взять охрану в 12 человек. Это сопровождение я дал, чтобы защитить большевиков от нерабочего населения Баку, к тому же в принципе речь шла посадить их на пароход».

Так Микоян второй раз освободил своих товарищей. Последовала третья посадка на пароход и третий арест бакинских комиссаров, но уже на противоположном, северном берегу Каспия — в Красноводске, где правило другое эсеровское правительство, имея при себе английскую военную миссию. При чем на этот раз арестовали и самого «комиссара комиссаров», их сопроводителя Микояна. Случилось это так:

11 сентября комиссаров привели на пристань под охраной, чтобы защитить от расправы недовольной части бакинского населения, но парохода «Севан», на который собирались их погрузить, на пристани не оказалось, тогда их посадили на пароход «Туркмен». Военный руководитель группы, бывший военный комиссар Амиров предложил капитану «Туркмена» держать курс на Астрахань, однако капитан ответил, что у него угля хватит только до Петровска или до Красноводска. Комиссары должны выбирать. В Петровске управлял генерал Бичерахов, военный руководитель правительства «Диктатуры Центрокаспия», в Красноводске эсеры с английской миссией. Амиров начал угрожать капитану расправой — это не произвело впечатления; тогда он предложил капитану крупную взятку — взятка тоже не возымела действия. Комиссарам так-таки пришлось выбирать («это был выбор между огнем и водой», говорит названный выше автор), и выбор пал на эсеров. (Заметим, что комиссары имели третий выбор — остаться в Баку, но они этого не захотели).

17 сентября пароход прибыл в порт Красноводска. По прибытии комиссары и их семьи были арестованы местной полицией («при аресте присутствовали три английских офицера военной миссии полковника Беккена» — пишут большевики). Арест произвели якобы по списку снабжения аресто-

ванных, найденному в кармане одного из комиссаров, Карганова. В этом списке было 26 комиссаров, но арестовали 35 коммунистов, в том числе и Микояна. По большевистским источникам, Ашхабадское правительство эсеров, во главе с Фунтиковым, устроило, совместно с представителем английской военной миссии капитаном Тиг-Джонсом, особое совещание по поводу судьбы арестованных. Совещание приговорило их к расстрелу.

По английским данным, Тиг-Джонс ушел с совещания еще до принятия этого постановления. В час ночи с 19 на 20 сентября в арестный дом прибыла группа лиц, «которая забрала из среды арестованных 26 комиссаров по заранее составленному списку, погрузила их в особый вагон... Поезд направился в сторону Ашхабада и на 207 версте в 6 часов утра поезд был остановлен (между станциями Ахча-Куйна и Перевал) и комиссаров группами начали выводить и расстреливать».

Знаменитая картина Бродского «Расстрел 26 бакинских комиссаров» запечатлела эту внесудебную расправу в весьма героических тонах — коммунары умирают с гордо поднятыми головами, с расстегнутыми на груди рубашками, размахивая руками и с революционными лозунгами на устах, то-есть так, как умирают большевистские герои на театральной сцене. Коммунист И. Шафир, писавший свою книгу по свежим следам, приводит документы, из которых явствует другая картина. Когда поезд остановили на 207 версте, арестованным сообщили, что их ждет. Автор пишет: «Комиссары были удручены и молчали. Только один матрос громко крикнул: «Я спокоен — я знаю, что умираю за свободу», на что один из руководителей расстрела ответил: «Мы знаем, что мы тоже умрем за свободу, но свободу мы понимаем иначе». Начали выводить из вагона группами по 8-9 человек. Первую группу вывели из вагона и расстреляли, вторая группа, наблюдавшая за расстрелом первой, сделала отчаянную и безнадежную попытку бежать, но густой ружейный огонь ее скосил, третья группа тогда отказалась от такой попытки.

Трупы расстрелянных были зарыты тут же, их вещи сожжены. «Обвинительное заключение» советского прокурора по делу Фунтикова, желая продемонстрировать жестокость англичан, писало, что когда впоследствии откопали трупы расстрелянных, то нашли, что «головы их лежали в беспорядке в

Стараясь отвести вину с официального руководства партии эсеров, которое, конечно, не было виновато в действиях местных ее представителей, Чайкин сочинил ряд мифов о вине Бичерахова и англичан, эти мифы вошли потом даже в советские исторические учебники, а сейчас, вопреки неопровержимым историческим фактам и собственной совести Микоян эти мифы повторяет в своих «Воспоминаниях». В исследованиях западных историков об интервенции и гражданской войне в Закаспии и Закавказье, как и в официальных английских изданиях доказано отсутствие всякой вины английской военной миссии в казни бакинских комиссаров. Глава английской миссии в Мешед генерал Маллесон, поставленный в известность представителем Ашхабадского правительства об аресте в Красноводске бакинских комиссаров, протелеграфировал своему собственному представителю в Ашхабаде, чтобы последний потребовал передачи этих комиссаров в распоряжение англичан. Генерал собирался направить их в Индию, как заложников, с тем, чтобы потом обменять на британских граждан, арестованных советским правительством. Когда на второй или третий день генерал напомнил ашхабадскому представителю Дохову, что он ждет ответа от его правительства, то Дохов ответил: «— Они уже расстреляны...»

Генерал Маллесон был настолько возмущен этим, что забыл на мгновение, что он не только военный дипломат, но и английский джентльмен — «и белые и красные — все вы одинаковы», сказал он, обращаясь к Дохову. Через некоторое время генерал направил приведенную выше телеграмму Ашхабадскому правительству, в которой категорически протестовал против всяких самочинных убийств.

Микоян в своих «Воспоминаниях» приводит письмо сына генерала Маллесона, подполковника Маллесона-младшего: «Вы ставили в вину британскому военному командующему на Юге планирование этого массового убийства («26»). Человек этот был мой отец (он умер в 1946 г.). Хочу заверить, что из всего, когда-либо рассказанного мне, вытекает его полная невиновность в этом». Микоян этому не хочет верить, но Микоян противоречит сам себе, когда в тех же «Воспоминаниях» утверждает, что оставшиеся в живых девять комиссаров, в том числе и он сам, были освобождены по приказу англичан, т.е. того же Маллесона.

До начала 1919 г. советское правительство было в полном неведении о судьбе «26». Советский министр иностранных дел Чичерин через нейтральные страны обращался к Лондону с предложением обмена «26» на британских граждан из советских тюрем.

Как мы уже упомянули, Микоян был тоже арестован вместе с комиссарами. И, конечно, знал, чем дело пахнет, да еще вдали от дашнакских друзей и друзей из среды бакинских эсеров и меньшевиков. На этот раз Микоян боролся только за спасение собственной головы. Мы не знаем, как ему удалось ее спасти. Может быть, он доказывал, что в компанию «26» он попал случайно, что он простой журналист и исполнитель, даже более того — он армянский священник, что его самые лучшие друзья — это бакинские эсеры и дашнаки. Может быть его не приходится винить как человека, но как революционер он сдался, когда забирали в ту страшную ночь его друзей из общей камеры на расправу, Микоян не стал ни протестовать, ни требовать своего включения в список забираемых товарищей. И навсегда остается непонятным, почему в число расстрелянных были включены коммунисты куда ниже и рангом и стажем Микояна, тогда как уже известный и в Баку и в Красноводске член Бакинского Совета и Бакинского комитета большевиков Микоян оказался пощаженным. Объяснение, которое дал сам Микоян в своем письменном показании на суде над Фунтиковым в 1926 г., что он остался в живых будто бы только потому, что его имени не было в продовольственном списке «бакинских комиссаров», казалось тогда, и кажется сейчас, малоубедительным*. Но вот и другое обстоятельство, которое впоследствии наводило вечно подозрительного Сталина на злые размышления в отношении Микояна. Об этом говорил на суде Фунтикова и старший сын Шаумяна, Сурен. Дело в том, что после расстрела «26», часть бакинских коммунистов во главе с Микояном и жены с детьми расстрелянных еще пять месяцев продолжали сидеть в тюрьме. Никаким притеснениям они не подвергались, имели связь с волей, некоторые получали даже передачи. Правда, когда заключен-

* В этом списке не было, например, бывшего сотника в бригаде Микояна Амирова; однако Амиров был казнен в числе 26 комиссаров («Советская историческая энциклопедия», т. II, стр. 57, 1962).

ногах и сбоку трупов, а у части головы были разможжены». Между тем у Шафира приведена одна телеграмма английского генерала Маллесона — главы британских войск в Мешед — к его представителю в Ашхабаде (правда, приводится она как образец «английского лицемерия») — в ней сказано, что до генерала дошли сведения, что эсеровское правительство («комитет») в Ашхабаде допускает случаи убийства пленных красноармейцев (расстрел 4 человек при Мерве); генерал полагает, что «убийцы должны быть строго наказаны», если же комитет этого не сделает, то представители цивилизованной страны (Англии) не могут работать в контакте с таким комитетом; генерал писал, что до сих пор в таких зверствах обвиняли только «немцев и других дикарей».

Главные обвинения расстрелянных, судя по газете «Голос Средней Азии», заключались в том, что они: «1) без боя сдали Баку туркам, 2) систематически занимались грабежами казны и продовольственных запасов, в частности украли 200 паровых сагара из Баку». Газета писала, что расстрелять бакинских комиссаров мало, «их надо подвергнуть колесованию».

В 1926 г. состоялся процесс над председателем тогдашнего Ашхабадского правительства эсером Фунтиковым. На суде Фунтиков отрицал всякое участие, как свое личное, так и своего правительства в расстреле 26 комиссаров, обвиняя во всем англичан и представителей «Стачечного комитета». На суде цитировалась книга члена Учредительного Собрания, одного из лидеров эсеров Вадима Чайкина, в которой приводились доказательства, что 26 бакинских комиссаров расстреляли не эсеры, а «темные личности, бандиты, примазавшиеся к партии эсеров». Однако «Обвинительное заключение» по делу Фунтикова утверждало, что расправа с комиссарами была предрешена еще до их отбытия из Баку: 1) закаспийским правительством эсеров в Ашхабаде, 2) правительством «Диктатуры Центрокаспия» в Баку, 3) английским командованием. В нем говорилось, что все это сделали англичане, чтобы завладеть нефтью.

Получается, конечно, странно: почему же правительство «Диктатуры Центрокаспия» (если оно уже приговорило их к смерти?) освобождает из тюрьмы комиссаров, которые были вольны ехать в любом направлении или остаться на Кавказе. Еще более странной кажется и та телеграмма главнокоман-

дующего войсками «Диктатуры Центрокаспия» в Красноводск генерала Бичерахова с требованием немедленного освобождения бакинских комиссаров, которая приведена в книге Чайкина и упоминается в книге И. Шафира. Наконец, объявлять лицемерием официальное осуждение самосуда местных властей командующим английскими войсками в Персии, — это уже поистине лицемерно. Просто маршрут, который выбрали бакинские комиссары, оказался роковым — Красноводск был в то время центром всех закаспийских антибольшевицких сил. Во главе этого центра стояли те самые эсеры, которых Сталин и Ленин расстреливали. Бакинцы не могли этого знать, тем более, что еще накануне их первого освобождения как раз председатель фактического правительства Красноводска под названием «Стачечного комитета», эсер Кун, требовал от генерала Бичерахова предания бакинских комиссаров военно-полевому суду.

Генерал Бичерахов, сам человек левых настроений, который называл себя «народником», вовсе не был тем «озверелым белобандитом», каким большевики изображают его. Он отказался судить бакинских комиссаров. Рисуя ход судебного процесса над Фунтиковым, корреспондент «Правды», известный впоследствии советский писатель Н. Погодин, писал, что генерал Бичерахов наградил царскими орденами «Святого Георгия» эсеровскую команду парохода «Туркмен» за то, что она повернула пароход на Красноводск — «ведь волю генерала Бичерахова эсеры выполняли как хорошо выдрессированные собаки», писал этот корреспондент. Это намеренная ложь. Наоборот, оба раза бакинские комиссары были освобождены правительством «Центрокаспия» именно по приказу генерала Бичерахова. Но освободить их в третий раз не оказался в силах даже Бичерахов из-за кровавой расправы большевиков с эсерами в самой России. Зато ему удалось освободить оставшихся в живых коммунистов во главе с Микояном, а также семьи расстрелянных. Тем не менее советский суд обвинил в казни «26» не только Фунтикова и его эсеровское правительство (Фунтиков был расстрелян), но также генерала Бичерахова, правительство «Центрокаспия» и даже английскую военную миссию. Единственным основанием для такого обвинения служила уже цитированная, полная противоречий книга Чайкина, изданная в советском издательстве в Москве.

ным захотелось еще больших привилегий и они подали соответствующее заявление, то получили лаконичный ответ председателя уже названного «Стачного комитета»: «Тюрьма не для комфорта».

Через месяцев пять Микояна и других коммунистов внезапно и в таинственных условиях переводят из Ашхабада в Красноводск. Новая расправа? Нет. Происходит неожиданное. Сурен рассказывал на суде: «Когда оставшиеся коммунисты были переведены в Красноводскую тюрьму, их встретил представитель английского оккупационного командования, который заявил: «Вы находитесь под покровительством его величества короля Англии». Арестованных тут же освобождают. «Этот представитель, — говорит Сурен, — предложил свои услуги по отправке освобожденных в Баку и купил для них билеты... По прибытии в Баку мы были встречены английскими офицерами, которые любезно заявили, что должны доставить прибывших в английскую миссию». В английской миссии процедура приема оказалась краткой, но торжественной — глава миссии поздравил освобожденных с волей, раздал им карманные деньги и распустил их по домам. («Обвинительное заключение» иронизирует, что в это время в Баку стоял английский отряд только в 800 человек вместо «обещанных эсерами и дашнаками 40000 человек!»). Таким образом, Микоян не только спас свою голову, но прямо милостью английского короля, на английские деньги, под английском эскортом прибыл в английский Баку для подпольной антианглийской коммунистической работы! «Обвинительное заключение» этого уже не называет «английским лицемерием».

Недели через две — 11 марта 1919 г. — состоялось первое после освобождения публичное выступление Микояна на рабочей конференции в Баку. Всю ответственность за убийство «26» Микоян возложил на эсеров, дипломатически обошел роль англичан, не дал никаких объяснений, как и при каких обстоятельствах спасся сам. Однако эсер Штерин ответил Микояну, что если он сейчас на воле, то этим он обязан не только англичанам, но и эсерам, которые принимали в его освобождении ближайшее участие.

Вся эта сложная и даже загадочная история трагедии 26 бакинских комиссаров, из которых уцелел двадцать седьмой комиссар Микоян, всегда наводила тень на Микояна. Винови-

ком начала трагедии Сталин считал Степана Шаумяна, который якобы поступил неправильно, добровольно сложив власть. Виновником финала трагедии Сталин считал Микояна, который якобы неправильно ориентировал еще в Баку и на море арестованных комиссаров. Не знаю, как Сталин допрашивал Микояна, когда сердился. Но я себе представляю мысленно этот диалог так:

Сталин — «Анастас Иванович, посмотри мне в глаза и скажи искренне, почему англичане тебя не расстреляли вместе с 26 бакинскими комиссарами?», делая ударение на слове «англичане». *Микоян* — Случайность, чистейшая случайность, тов. Сталин». — *Сталин* — «Но тов. Микоян, мы с тобою ведь марксисты и в никакие случайности не верим...» В самовластном и пронизательном взгляде желтых глаз Сталина Микоян, вероятно, читал его деспотический зуд сверлить мозг собеседника неприятными вопросами, пока собеседник не капитулирует. В этом случае хорошо знающий своего хозяина Микоян предпочитал, наверное, виновато молчать, виновато, что остался в живых из-за этих «проклятых англичан». К тому же Микоян давно научился понимать, что раздражать Сталина как раз *правдой* более опасно, чем угодить ему хорошо и хитро придуманной ложью. От раздражения Сталина до потери головы его собеседника расстояние всегда считалось маленьким. Между тем подозрения Сталина не были случайны — по Баку упорно ходили слухи, что Микоян разыгрывал всю эту комедию с освобождением бакинских комиссаров с единственной целью, чтобы увести их из Баку в Красноводск и «продать англичанам». Англичане не только щедро осыпали его за это деньгами, но и привезли в оккупированный ими Баку. Правда, потом английские власти дважды арестовывали Микояна, но оба раза через некоторое время он освобождался словно «по выяснении личности». Враги Микояна и это считали комедией, разыгрываемой англичанами, — чтобы поднять революционную марку своего агента-provokatora. Слухи эти не только не умолкали, но, наоборот, получили новую питательную почву в связи с новым арестом и новым освобождением Микояна, на этот раз из тифлисской тюрьмы. Совершенно невозмутимый в таких случаях Микоян делал самое разумное: молчал.

Политике как искусству, Микоян, как и Сталин, учился на примерах истории восточных деспотий, так красочно опи-

санной у армянских классиков. Из этой истории он вычитал, что государственная политика состоит на девять десятых из интриг. Хорошо сплетенная сеть интриг во дворцах деспотов внезапно сносила головы одним, сказочно возвеличивала других. Микоян знал также, что ничто так не гарантирует безопасность против гнева тирана и интриг врагов, как хладнокровие, ничто так не гарантирует успех собственной интриги, как двойное хладнокровие.

Двойное хладнокровие нужно при собственной интриге, чтобы наиболее верно маскировать ее происхождение перед твоим владыкой. Даже лесть есть вернейшее оружие интриги, если ею пользуются умело, утонченно, хитро («Я говорил: — ты, Юлий Цезарь, не любишь льстецов, но говоря это, я ему льстил»). Великое значение лести как орудия карьеры и интриги было известно с тех пор, как существуют деспотии и деспоты древнего Египта и Ассирии. Все это искусно умел делать Микоян в отношении Сталина.

Это было в 1918 г., когда завязалось первое знакомство Микояна со Сталиным. Наркомнац, член Политбюро, Сталин имел прямое задание от Ленина держать связь с бакинским Совнаркомом, чтобы обеспечить регулярное получение Москвой нефти из Баку. Однако Сталин интересовался не только нефтью, но и кавказской политикой, не только по долгу службы («нарком по делам национальностей»), но и как кавказец. Его первым и самым квалифицированным информатором по делам бакинского Совнаркома и был Микоян. Во главе бакинского Совнаркома стоял «Чрезвычайный комиссар Кавказа» от московского Совнаркома, конкурент и неприятель Сталина, но личный друг и ученик Ленина, член ЦК Партии во время октябрьского переворота Степан Шаумян. По своей теоретической подготовке Шаумян превосходил Сталина (он учился на философском факультете Берлинского университета), как профессиональный революционер он ему не уступал. Орджоникидзе назвал его однажды «тяжелой артиллерией теоретического марксизма».

Ко всему этому Ленин глубоко верил Шаумяну и высоко его ценил. Это настораживало вечно подозрительного Сталина, ибо преимуществ своих коллег он не любил.

(Продолжение следует)

А. Авторханов

ПОСЛЕ ТОЛСТОГО

Памяти Г. В. Адамовича

Гостивший в конце прошлого года в США Георгий Адамович на одном из своих «вечеров днем», в Нью-Йорке, напомнил о словах Поля Валери, сказавшего, что он знает в истории три чуда: греческую античную культуру, итальянское Возрождение и русскую литературу XIX века. О третьем «чуде» говорят теперь часто, очень авторитетные люди даже считают, что вся современная литература восходит к четырем именам: Шекспир, Гёте, Достоевский, Толстой. И что выше и значительнее этих имен в мировой литературе нового времени никого не было и нет.

Утверждение это вызывает недоверие, оно воспринимается, как большое преувеличение. В самом деле, в последние двести лет в странах европейской культуры было множество замечательных писателей, их произведения продолжают выходить большими тиражами, на языках чуть ли не всех народов земли и пользуются вниманием и любовью читателя. Сколько блестящих имен было перед первой мировой войной, между двумя войнами, появилось после второй мировой войны! Загляните в литературные энциклопедии: в них сотни и сотни имен, и наряду с малоизвестными, забытыми и полуизвестными вы встретите десятки и десятки хорошо знакомых вам. Сколько писателей, с начала нашего века, заслуженно получили Нобелевскую и другие премии по литературе! И сколько приобрели мировое признание и без этих премий!

Все это так, однако, продолжая размышлять об этой теме и связанных с нею явлениях, вспомним и о бесплодных дискуссиях, когда хотели найти ответ на вопрос: почему в нашей литературе нет кандидатов в Львы Толстые, почему они боль-

Эти наброски только что были закончены, как пришла горестная весть о кончине Г. В. Адамовича. В его дни в Нью-Йорке мы часто виделись, много разговаривали, касались и этой темы, чем отчасти и вызвано посвящение ему.

ше не появляются? И почему нет их и у других народов? Да, на Западе было и есть немало блестящих имен, — но не слишком ли быстро они словно бы тускнеют, заслоняются новыми выходящими вперед именами? Кого поставишь рядом с Шекспиром, Гёте?

Если задать этот вопрос, то недоумение, как это можно всю литературу нового времени сводить к Шекспиру, Гете, Достоевскому, Толстому, вероятно, сильно уменьшится. Уместно тогда будет вспомнить и о том, что ни один, пожалуй, из крупных писателей в последние полвека не отрицал величие этих четырех — и не пытался ставить себя не только выше, но и вровень с ними. Редкие исключения, разумеется, были: Бунин, например, не признавал Достоевского, но это лишь причуда, каприз, ничего не способный изменить, — как не могло умалить Шекспира отрицание его в свое время Толстым. Писатели самых разных взглядов и вкусов, верований и убеждений, темпераментов и честолюбия в признании верховного положения «четверки» практически оказались единодушны.

Ответ на вопрос, почему не появляется новый Толстой, может быть простым: гении рождаются не часто. Но вряд ли он вполне убедителен. Нельзя исключать того, что в новейшее время, в последние пятьдесят-шестьдесят лет, среди писателей могли быть равные по дарованию Толстому, — почему они не поднялись на ту же высоту? По мнению отдельных критиков и друзей, некоторые и достигали ее, — потом, даже без развенчания со стороны, они как бы сами сошли на более соответствующие им места.

Суд времени справедлив не во всех случаях, ревизии всегда возможны. Но оставим суды и обратим внимание на одно важное обстоятельство, сказывающееся в современной литературе; не останется оно, надо полагать, без последствий и в ее будущем, если будущее это состоится: настойчивые голоса, говорящие о «закате искусства», о приходе новых сумерек, не перестают предупреждать, что будущего может и не быть.

Во многих произведениях крупных писателей новейшего времени мы нередко встречаем те или иные положения, образы, черты, поступки, уже знакомые нам, — например, по произведениям Достоевского, Толстого. У них они изображены иначе, относятся к другому времени, к другим людям, среде, — но внутреннее, скрытое содержание изображаемого, его суть,

квинтэссенция те же. Только у Достоевского или Толстого суть эта была изображена (или нам так казалось) глубже, сильнее, убедительнее — и в новом, повторном варианте она уже менее воздействует на нас.

Герои-двойники, повторение сходных или одинаковых ситуаций, образов, черт в литературе, как мы знаем, явление такое же нередкое, как и «бродячие сюжеты». Речь, однако, идет не только и не просто о повторах. Есть ряд легенд о Фаусте, — но после «Фауста» Гёте тема эта уже не может быть повторена с адекватной силой и глубиной, так значительно и исчерпывающе. Было множество романов о войне и мире, — но никто не написал о них с такой покоряющей полнотой и убедительностью, как это сделал Толстой. До него и после него можно писать о конкретных войнах, об их особенностях и поведении участников в зависимости от этих особенностей, — Толстой показал как бы вообще войну и вообще мир, стихию в них человеческих чувств и отношений, хотя писал он тоже об определенных исторических событиях. Но он написал о них так, что, как не раз указывалось, «Войну и мир» нельзя считать «историческим романом»: это величественная эпопея человеческой жизни, а не исторический роман.

Ударение в нашей теме надо перенести в другую область: в область предположений об исчерпанности классической литературой изображения основных явлений жизни человека и общества. Эти предположения, высказываемые большей частью лишь в устных беседах, по-видимому, из-за понятной непопулярности темы, можно свести к тому, что в ближайшее к нам время прежде всего Достоевский и Толстой настолько глубоко вскрыли и показали главное содержание жизни, ее невидимые основные пружины и их действие, весь мир человеческих чувств, что после них и большие писатели обречены ограничиваться только добавлениями, дополнением уже изображенного великими предшественниками. Эти предшественники оказались как бы первооткрывателями в огромном океане жизни — и первооткрывателями настолько проницательными и всеохватывающими, что другим осталось лишь уточнять детали или показывать, как уже открытое до них проявляется в другое время и в другой обстановке.

Если эти предположения в достаточной мере верны, тогда, вероятно, будет более понятно, почему последующие, говоря

не свойственным литературе языком, «достижения» в ней далеко не всегда казались заслуживающими доверия и признания, несмотря на широкую рекламу или даже подлинную, не показную значительность: они были не столько проникновением в еще неизвестное в жизни, раскрытием ее тайны, сколько лишь попытками найти другие формы изображения. Это может относиться ко всем течениям, «измам» последних десятилетий, от футуризма и всех его разновидностей, «потока сознания» и до «нового романа», или «антиромана»: все это сводилось к попыткам внести новое прежде всего в форму, в методы раскрытия, узнавания «условий человеческого существования», показанных до этих попыток. И потому они не могли удовлетворять наше нравственное и эстетическое чувство в той же степени, как изображенное первооткрывателями.

Предположения об исчерпанности изображения классикой основных явлений нашего бытия, конечно, остро противостоят привычным взглядам о неисчерпаемой огромности жизни и безграничности творческих возможностей человека. Но взгляды эти сложились целиком в новое время, они типичны исключительно для него — в этом, очевидно, и заключены пределы возможностям человека нового времени, как и его понятию о неисчерпаемости жизненных явлений: все его представления и восприятия, взгляды и убеждения созданы определенной эпохой и ею ограничены. Они так же отличны от мира представлений человека средних веков, как мир последнего был отличен от мира человека античного времени, — каким-то несомненно другим, отличным от предшествующих, будет и мир представлений неизвестного нам будущего.

Мы привыкли к мнению, ставшему почти подсознательным, что новое время, корни которого уходят в XII-XIII века (Данте родился в 1256 году), будет продолжаться вечно и что человек обречен продвигаться вперед, выше: непрерывно «прогрессировать». Но ведь понятие прогресса не неизменно — и разве не множатся вокруг нас факты, показывающие, что «новое время» пришло к своему завершению, что в нем все более разрастаются качественно другие явления, отрицающие нашу эпоху и уходящие в будущее?

Недавно группа влиятельных ученых, ради спасения этого будущего, потребовала «остановить прогресс», иначе жизнь на земле через несколько десятилетий может прекратиться.

Это требование фактически равно смертному приговору «новому времени». Что значит — «остановить прогресс»? Среди многого другого, это означает и закрытие «лишних» университетов: их оставят ровно столько, сколько требуется для подготовки строго определенных групп специалистов. Это может вызвать появление более или менее замкнутых каст высокообразованных или хорошо подготовленных работников, — каст, которые будут возвышаться над морем «массы», пропущенной через какое-то подобие специализированных семилеток. Произойдет качественное изменение интеллигенции, которая уже теперь во многом отличается от интеллигенции первой четверти нашего века. Все это неизбежно скажется на состоянии литературы, искусства: какие они будут? Не распадутся ли на несоединимые русла: одна литература, высокополированная, будет предназначена для каст специалистов, другая, упрощенная, для «массы»?

Несколько лет тому назад умер один из утонченнейших представителей уходящего времени, англоамериканский поэт Т. С. Элиот, — очень может быть, что в каком-то будущем его назовут в числе предтеч некоей новой интеллектуальной поэзии, неизвестной нам степени изощренности и чуждой миру наших чувств. С другой стороны, в начале нынешнего года находчивый советский поэт Евтушенко взбудоражил в Нью-Йорке американских литературных «передовиков», устроив, под своим руководством, массовое выступление-зрелище поэтов, с музыкой, пением и приплясыванием. Получилось нечто вроде колхозной самодеятельности, коотрая прищлась по душе части молодых американских поэтов, неискушенных в «массовых культмероприятиях», — может быть, когда-нибудь это действо будет отмечено, как начало новой поэзии для масс?

Гадать бесполезно, будущее от нас закрыто, но стоит отметить, что все это напоминает о пределах, возводимых самим же человеком своим возможностям, о границах отдельных эпох. Такие требования, как «остановить прогресс», говорят об исчерпанности возможностей творчества, которое не должно ведь обращаться против самих же творцов, переходить в антитворчество, в самоотрицание, — между тем это явно происходит теперь и в материальной, и в духовной деятельности человека.

Отсюда можно заключать и о вероятности предположений об исчерпанности возможностей художественного изображения присущих «новому времени» явлений жизни, всего разнообразия дум и чувств создавшего и изжившего эту эпоху человека. И вероятнее всего в этом же свете надо рассматривать и предупреждения о «закате искусства», о возможности отсутствия у него будущего: будущее может обрести для себя другие литературу и искусство, чуждые нам; могут быть забыты и Толстой, и Достоевский и другие писатели нашей эпохи, как были забыты в средние века писатели древней Греции.

Но что же тогда остается литературе, писателям? — могут возразить. — Топтаться на одном месте, повторять изображенное прежде? — Да, и повторять; вообще же остается все то, что было всегда: заниматься своим делом. Никакие соображения об исчерпанности возможностей не могут лишить человека творческих импульсов и постоянной потребности осознания своего существования, с помощью, в частности, и художественного его раскрытия. И эти размышления, разумеется, не означают призыва к писателям закрыть пишущие машинки и перестать писать. Они и не предложение, в духе суетливого времени, что-то сделать, исправить, «принять меры»: это лишь одна из попыток присмотреться к особенностям времени, которое философы недаром называют иногда катастрофическим.

Одна из таких особенностей в литературе — усиление значения литературных свидетельств об уходящем времени. Они всегда пользовались вниманием читателя, — в последние два-три десятилетия внимание это сильно возросло: литературные свидетельства, по-видимому, более непосредственно помогают читателю ориентироваться во все усложняющейся обстановке, осмысливать путаное, часто непонятное происходящее, как-то определять свое место в нем. И это внимание прямо пропорционально не только общественной важности и значительности изображенного, но и талантливости изображения, его глубине и выразительности.

Здесь, очевидно, и надо искать объяснение характерных черт успеха творчества одного из наиболее талантливых русских писателей послевоенного периода — Александра Солженицына. Выход в прошлом году первой части его нового романа «Август четырнадцатого» вызвал в русской зарубежной печати большую дискуссию, в которой часто делались ссылки

и попытки сравнения с «Войной и миром» Толстого; говорилось и об отличии этого романа Солженицына от других произведений, как и о недостаточной осведомленности автора о дореволюционном времени, что повлекло отдельные ошибки и неудачные места.

Однако ссылки и сравнения с Толстым кажутся тут попросту, как говорится, ни к селу, ни к городу: перед нами совершенно разные и писатели, и произведения. И дело здесь не только в том, что в духовном багаже Толстого была богатая дворянская культура и хорошее знание быта (Толстой писал о среде, в которой жил, мало изменившейся ко времени написания романа): дело прежде всего в заданиях, которые ставили себе один и другой писатель. Можно добавить: и в степени возможности выполнения этих заданий, что в большой мере зависело опять-таки от резко различных условий времени. Так, при внимательном анализе, возможно, пришлось бы прийти к выводу, что с полным успехом «Август четырнадцатого» в наши дни написать вообще нельзя.

Между прочим, в этом романе, как наиболее талантливые и впечатляющие, единодушно отмечались «толстовские места» (например, эпизод самоубийства генерала Самсонова), где изображение приобретает свойственные Толстому глубину и звучание. Но это как раз повторение изображенного предшественником, к чему автор вряд ли стремился.

Совершенно иначе обстоит дело с произведениями Солженицына, относящимися к свидетельствам времени, будь то лагерные вещи, как «В круге первом», или повести «Раковый корпус», «Матренин двор» и даже малые рассказы-зарисовки. В них все убедительно, все приковывает к себе внимание — и все типично солженицынское, для него свое: их сразу отличишь и выделишь из однообразного потока советской литературы. Это свидетельства, мимо которых нельзя пройти, не заметив, без волнения и без бури вызванных ими мыслей и чувств, почему они и получили во всем мире такой резонанс.

В них Солженицын на очень большой высоте, — в них он писатель большой художественной и нравственной силы. И я бы сказал: этими произведениями он заслужил звание лучшего представителя нынешней России, заслоненной мутным туманом кризисного времени.

Г. Андреев

К ИСТОРИИ РУССКОЙ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

КАК СОСТАВЛЯЛАСЬ АНТОЛОГИЯ «ЯКОРЬ»

ПУБЛИКАЦИЯ И КОММЕНТАРИИ ГЛЕБА СТРУВЕ

В конце 1935 года, под названием «Якорь», вышла первая антология русской зарубежной поэзии. Составителями ее были недавно скончавшийся Георгий Викторович Адамович (1894-1972) и ушедший из жизни за год с небольшим до него Михаил Львович Кантор (1884-1970).

Адамович не нуждается в том, чтобы представлять его читателям «Нового Журнала». О Канторе следует сказать несколько слов, так как широкому читателю он был мало известен, хотя не так давно высокую оценку его поэзии дал в «Новом Журнале» (кн. 105) Е. М. Винавер.

Юрист по образованию (он был в России помощником М. М. Винавера), Кантор и в эмиграции занимался юридическими делами, работая, в качестве консультанта в парижском адвокатском кабинете того же М. М. Винавера. Одновременно он, с 1923 г., переехав в Париж, стал секретарем редакции еженедельного литературного журнала «Звено», основанного П. Н. Милюковым и М. М. Винавером и редактировавшегося последним. Но еще и до того, в Берлине, М. Л. работал в литературе. Он руководил изд-вом «Библиофил», и под его редакцией были изданы «Книга о смерти» С. А. Андриевского и последние томы «Воспоминаний» А. Ф. Кони.

После смерти, в 1926 г., М. Винавера Кантор стал редактором «Звена», которое с 1927 г. перешло на ежемесячное издание. Кантор вел «Звено» умело и интересно до его закрытия в 1928 г. В 1934 г. он основал другой ежемесячный журнал, «Встречи», для которого в качестве со-редактора пригласил

Г. В. Адамовича. О журнале этом, просуществовавшем всего полгода, но напечатавшем много интересного материала, я расскажу в другой раз, на основании материалов принадлежащего мне сейчас архива М. Л. И в «Звене», и во «Встречах», а равно и в выходившем в Париже с 1930 по 1934 год трехмесячнике «Числа» Кантор изредка печатал литературно-критические статьи. Уже после Второй мировой войны он иногда помещал статьи на литературные темы в парижской газете «Русская Мысль». Но стихов в журналах и газетах он, насколько я знаю, никогда не печатал, и, как писал в упомянутой статье Е. М. Винавер, о самом существовании этих стихов почти никто не знал, пока он не выпустил свой первый (и единственный) сборник, под скромным названием «Стихи», в 1968 г., когда ему было уже 84 года. Еще до статьи Винавера памяти М. Л. Кантора в «Новом журнале» (кн. 92) был напечатан отзыв Г. В. Адамовича об этом сборнике. Не включил Кантор своих стихов и в составленную им и Адамовичем антологию.

Личные отношения между Адамовичем и Кантором, вероятно, установились со времен «Звена», в котором Адамович был не только деятельным сотрудником (не только за своей подписью, но и под разными псевдонимами и акронимами), но и главным литературным критиком, отзывавшимся на все, что происходило в литературе, русской и не-русской, в своих «Литературных беседах». Отношения их еще более укрепились в связи с совместным редактированием «Встреч». От этого периода в архиве Кантора сохранилось много интересных писем Адамовича. Мысль о составлении антологии русской эмигрантской поэзии зародилась, видимо, вскоре после прекращения «Встреч» (последний номер их вышел в июне 1934 г.). Надо думать, что задумал это дело и средства на него отыскал М. Л. Кантор, хотя письменного подтверждения этому в доступных мне материалах нет.

В архиве М. Л. Кантора, в папке материалов, относящихся к составлению «Якоря», сохранилось 11 писем Адамовича к нему (все от руки) и пять копий его писем к Адамовичу (четыре из них машинописные), а также еще кой-какая переписка по тому же «Якорю». Ниже мы приводим полностью эти 16 писем, сопровождая их казавшимся нам необходимым для сегодняшнего читателя пояснительным фактическим ком-

ментарием. Для ранней стадии работы над антологией, поздним летом 1934 г., сохранились только письма Адамовича (№№ 1-3). Большая часть переписки относится к лету и осени 1935 года. Перед этим в переписке был большой перерыв, объясняемый, вероятно, тем, что с осени 1934 г. до лета 1935 г. Адамович, очевидно, прожил в Париже, и работа над антологией велась путем личного общения. Летом же 1935 г. Адамович опять уехал, как всегда, в Ниццу. Печатаемые нами письма не только содержат ценную фактическую информацию для литературной истории русского Зарубежья, но и бросают любопытный свет на личность обоих корреспондентов, на их подход к литературе, на методы их работы.

В «Якоре» были представлены 77 поэтов, из которых троих к моменту выхода сборника не было в живых. Подавляющее большинство их (49) проживало в то время во Франции, главным образом в Париже (правда, некоторые переселились туда сравнительно незадолго до того — из Германии после прихода к власти Гитлера или из Праги, в силу личных обстоятельств). На втором месте стояли поэты из прибалтийских стран (Эстония, Латвия, Финляндия) — их было восемь. Затем шли Чехословакия и западно-европейские страны вне Франции — по пяти, Дальний Восток — четыре, и Югославия — три. США не были представлены совсем. С тех пор, конечно, картина географического распределения русской зарубежной поэзии резко изменилась, и уже в выпущенной в 1953 г. антологии «На Западе» (под редакцией Юрия Иваска) Франция была представлена 48 именами, США — 22, а остальные европейские страны — 16. Но из поэтов, проживавших раньше в Европе, главным образом во Франции, двадцати двух к тому времени уже не было в живых. А почти все «американцы» были либо переселенцами военного и послевоенного времени из Европы, либо новыми эмигрантами из т.н. «перемещенных лиц», вошедших в литературу только после войны. Но интереснее то, что пессимистические ожидания одного из составителей «Якоря», смотревшего на эту антологию, как на «чудо», и считавшего, что «едва ли... возможна надежда на то, чтобы в эмиграции, при наших здешних материальных условиях, был когда-нибудь еще раз издан подобный сборник», не оправдались. Эта мысль исходила из пессимистической оценки материальных возможностей эмиграции, но — может

быть, и бессознательно — ее продиктовал и «оптимистический» прогноз насчет возможной длительности существования самой эмиграции.

С тех пор прошло около сорока лет. Кадры зарубежной русской поэзии сменились, из 77 авторов, вошедших в «Якорь», не только живы, но и продолжают участвовать в зарубежной литературе не больше дюжины. Но ряды этой литературы пополнились новыми именами, и со времени выхода «Якоря» оказалось возможным не только выпустить еще две антологии, с большим количеством участников («На Западе» и «Муза Диаспоры», 1960, под редакцией Ю. К. Терапиано), но и издать еще третью («Содружество», Вашингтон, 1966), правда, составленную совсем по иному принципу: в нее вошли произведения только поэтов, которые были живы во время ее составления, по их собственному выбору и только ранее не печатавшиеся. В этой антологии было представлено 75 поэтов, из которых один скончался до ее выхода.

Предисловие Адамовича к «Якорю» было написано без всякой гордыни, без всякого хвастовства — в одной рецензии на «Якорь» (Л. Гомолицкого в варшавском «Мече») даже говорилось потом, что антология явилась вроде как бы опровержением свойственного Адамовичу и проявлявшегося во многих его литературно-критических статьях того времени осторожного, слегка скептического отношения к эмигрантской литературе, которая иногда представлялась ему менее «живучей», чем советская. Сам Адамович писал в своем предисловии: — «...думается, книгу эту стоило и следовало выпустить. В ней много бледных стихотворений, — что скрывать? кого и зачем обманывать? Поэтов оригинальных и сильных бывает несколько на эпоху, притом в целой стране, — остальные же несутся по течению, более или менее успешно держась на его поверхности. У нас же не страна, а только осколок ее: было бы нелепо ждать, что в антологии, здесь собранной и широкой по составу, окажется большое количество образцов истинного творчества».

Но вместе с тем Адамович находил, что в книге есть «голос, пафос и может быть, даже 'идеал'». Говоря, что эмигранты спрашивают себя иногда: «отчего не заставили мы себя остаться там?», Адамович писал дальше: — «Есть множество готовых, успокоительных объяснений — но и после

них сомнение «точит душу...» В стихах скрыт ответ. Поэзия по мере сил исполнила свое назначение, и если это мало кто склонен сейчас признать, вины тут ее нет. Без громких фраз — этот сборник обращен скорее к будущему, чем к настоящему, и, может быть, будущее найдет общее наше оправдание там, где большинство современников... видело лишь легкомыслие, баловство и скуку».

Дальше Адамович говорил о названии антологии. Оно было придумано им и было взято из стихотворения высоко ценимого им Боратынского (Адамович предпочитал писать его фамилию через «о», как она когда-то писалась по-польски). В этом стихотворении («Пироскаф»), написанном на пути из Марселя в Неаполь, есть строки о марсельских матросах, руки которых поднимают «якорь — надежды символ». Прочитывая всю эту строфу из «Пироскафа», Адамович заканчивал свое предисловие так: «Надежды символ»: вот лучшее и самое глубокое определение книги. Кстати, и Боратынскому надежда явилась вдалеке от родины».

В печатаемых нами ниже письмах читатель найдет еще интересные замечания по поводу названия антологии.

В архиве Кантора сохранились три интересные рецензии на «Якорь»: В. Ф. Ходасевича в «Возрождении», В. В. Вейдле в «Последних Новостях» и Л. Н. Гомолицкого в варшавском «Мече» (из них двое — Ходасевич и Гомолицкий — были участниками «Якоря»). Только Гомолицкий называл по имени отдельных поэтов и касался некоторых частных особенностей антологии. И это ему принадлежал упомянутый выше полемический выпад по адресу Адамовича. Статьи Ходасевича и Вейдле носили гораздо более общий характер. При этом некоторые суждения Ходасевича могли показаться читателям чересчур огульными. Он утверждал, что в России еще в XIX веке стихов «по-настоящему не понимали, а не понимая — не любили и не читали». И это — несмотря на то, что новые течения в русской литературе «почти неизменно возникали в поэтической области, что Россия могла противопоставить Западу Державина, Пушкина, Боратынского, Лермонтова, Тютчева, Фета, Владимира Соловьева». Подтверждение этому он видел

в том, что целые поколения могли при этом «зачитываться» Надсоном и Некрасовым (Некрасова он называл «одареннейшим человеком, сделавшим все, чтобы загубить свою поэзию» — с такой беспощадной характеристикой мало кто из современников Ходасевича согласился бы, судя по известной анкете, произведенной в свое время К. И. Чуковским).

Дальше Ходасевич писал, что в «Якоре» читатель «найдет... много очень хорошего», хотя это и «не значит, что всё включенное в антологию безусловно хорошо, и не значит, что все лучшее, написанное стихами в эмиграции, нашло себе место в книге».

Думается, что Ходасевич все же ошибался, говоря, что в книгу включены «все эмигрантские стихотворения, кроме тех, которые стоят ниже допустимого уровня» и что в ней «все налицо». Из приводимой дальше переписки двух редакторов будет видно, почему не попали, например, в «Якорь» Иван Савин и Владимир Корвин-Пиотровский. Сегодняшнего читателя не может не удивить и отсутствие в «Якоре» С. К. Маковского, бывшего редактора «Аполлона», сыгравшего в судьбах новейшей русской поэзии большую роль. Правда, он в первые двадцать с лишним лет зарубежной жизни не выпустил ни одной книги стихов (в отличие от периода после 1944 г., когда он выпустил восемь стихотворных сборников). Но то же самое относилось и к ряду других включенных в антологию поэтов, например, к Нине Берберовой, Владимиру Злобину, Михаилу Струве, не говоря о более молодых. Но, как и они, Маковский в 20-х годах печатал стихи в журналах (например, в «Русской мысли» П. Б. Струве), сам редактировал журнал в Праге («Младорусь»), стоял в конце 20-х и начале 30-х годов близко к «Возрождению». Игнорировать его было странно. Между тем, в переписке редакторов «Якоря» имя его ни разу не упоминается, как будто вопрос о включении его стихов даже не подымался. Надо думать, что это объяснялось какими-то личными причинами, и что решение было принято еще в предварительной стадии личных бесед.

Главный недостаток «Якоря» Ходасевич видел не в частностях, а в методологической порочности самого жанра антологий, некоторые приемы составления которых ведут к неизбежному искажению авторского лица. Как пример, Ходасе-

вич, не называя имен, приводил следующее: — «В «Якоре» напечатаны три стихотворения очень замечательного писателя, в творчестве которого стихи никогда не занимали видного места, да он их почти что и перестал писать. Эти три стихотворения, как говорится, новых лавров в его венок не вплетут. Они бледны, несодержательны. Нужно думать, что и сам автор не придает им большого значения. Но вот — через несколько страниц от них помещены стихи одного журналиста — плод его лирической «сублимации». Сами по себе они ничуть не хуже стихов первого автора, может быть — даже лучше, но в портфеле журналиста составляют такую же случайность. Конечно, среди читателей антологии вряд ли сыщется такой невежда, который обоих авторов вздумает сравнивать. Но как никак их стихи, вырванные из контекста, создают между ними какое-то иллюзорное, но все-таки нелепое сближение, чуть ли не равенство...»

Не надо было быть особенно догадливым, чтобы сообразить, что Ходасевич имел в виду — с одной стороны, Мережковского, тремя стихотворениями которого открывался «Якорь», а с другой — Дона Аминадо, хотя стихи последнего и напечатаны не через несколько страниц от него, а на 65 страниц дальше.

Тем не менее и Ходасевич находил, что антология, «давая сильно искаженное представление об отдельных авторах... в то же время довольно верно рисует всю ту поэтическую эпоху, которой посвящена». Его особенно удовлетворяло то, что в антологии очень много места было отведено молодым авторам: это, писал он, «соответствует и количеству их, и тому внутреннему значению, которое все больше приобретает молодая литература». В связи с этим он проводил сравнение между советскими молодыми писателями и зарубежными — не в пользу первых: — «Не называя отдельных имен, говоря обще, нельзя не отметить по всей справедливости, что средний уровень зарубежных молодых поэтов несравненно выше такого же уровня их советских сверстников. Тут, пожалуй, даже неверно говорить о среднем уровне, потому что разве только слабейшие из здешних могут быть сравнимы с сильнейшими из тамошних. Наша молодежь превосходит советскую не только в таких элементарных вещах, как простая

литературная грамотность, которую советские поэты далеко не всегда могут похвастаться, но и в гораздо более сложных: в умении «вертеть стихом», в чувстве стиля и слова (хотя не в богатстве словаря). Есть у наших и то важнейшее свойство, о котором советская стихотворная молодежь, кажется, просто не имеет понятия: стремление жить и работать на основе собственного духовного опыта, а не на основе готового, извне декретированного миропонимания и мироощущения...»

В этом Ходасевич видел «залог подлинного, живого творчества». Для того, чтобы залог этот не остался только «залогом» и «обещанием», а повел бы к образованию чего-то цельного, к созданию эмигрантской поэзии, как нового этапа русской поэзии, Ходасевич призывал молодежь «преодолеть тяготение к старым литературным навыкам» (которое, прибавлял он, не надо смешивать с верностью русской поэтической традиции) и «искать новых форм для воплощения своего нового опыта». Этот отзыв и этот призыв В. Ф. Ходасевича, критика сурового и взыскательного, не мешает напомнить сегодня.

В. В. Вейдле, в статье, напечатанной через две недели после статьи Ходасевича, находил, что составители «Якоря» руководились не столько характерностью тех или иных стихотворений для данного автора (о чем Адамович писал в своем предисловии), сколько «характерностью их для эмигрантской поэзии вообще». Они «выбирали то, что эмигрантских поэтов между собой роднит, а не то, что их друг другу противопоставляет». Благодаря этому, в «Якоре» чувствовалось единство тона, хотя Вейдле и оговаривал, что к парижским поэтам это относится больше, чем к пражским или к харбинским. Общий молодым поэтам тон, по мнению Вейдле, всего легче было определить отрицательно: — «В основе его — отказ от всякого украшения и от всякого «мажора», от всего, что называют красочностью и звучностью, подозрительное отношение ко всему только словесному, а быть может, и к самому слову: поэзия должна выражаться не столько сквозь слово, сколько между слов. Наибольшее значение... придается музыкальности, понимаемой прежде всего как мелодия стиха, хотя и мелодия эта отнюдь не должна быть чем-то самодовлеющим или даже первенствующим».

Вейдле готов был применить к эмигрантским поэтам, даже более слабым среди них, слова Лафорта о Бодлере: все они умеют *«se raconter sur un mode modéré de confessional»*. Но Бодлер, писал дальше Вейдле, «был открывателем новых земель, а тон эмигрантских поэтов — благовоспитанный и утасаживающий». Основную, тайную или явную, тему эмигрантской поэзии и вместе с тем определяющий формальный принцип ее Вейдле формулировал как «смерть или предсмертье»: — «Умиравшему не пристали пестрые одежды, и в комнате его не принято говорить громко. Эмигрантские поэты исповедуются вполголоса и заботятся больше всего о нагоде, о чистоте. Основное устремление их — бесплотность, а в этом и главная опасность: развоплощения».

Особую ценность эмигрантских поэтов Вейдле видел в том, что они — «заполняют тот перерыв, который иначе образовался бы в русской литературе, они сохраняют то, что иначе было бы потеряно. Об этом вспомнит Россия когда-нибудь, когда ей опять будут нужны стихи, а не версифицированное строительство, а если и не вспомнит, то все же воспользуется тем, что было и чего без эмигрантских поэтов не могло быть... Их подвиг — иначе об этом не скажешь — и глубоко личный, и в то же время общий. Эту общность подчеркивает и ее сохранит антология. Нужно поблагодарить тех, кто воздвиг этот памятник русской поэзии в самые тяжелые годы, какие ей когда-либо приходилось переживать, и русским поэтам, в какой-то безнадежной надежде еще слагающим стихи, — без России, для России».

В то, что писал Вейдле в 1935 году, мы можем теперь внести одну существенную поправку: ни он, ни мы все тогда не знали, что этот памятник продолжали воздвигать и этот подвиг совершали — и в еще более трудных условиях! — и поэты, оставшиеся в России, и в первую голову такой большой поэт как Осип Мандельштам, о горестной судьбе которого мы тогда ничего не знали и узнали лишь двадцать пять лет спустя: как раз тогда до внешнего мира перестали доходить сведения о нем (как и о многих других).

Г. С.

№ 1: АДАМОВИЧ — КАНТОРУ

Дорогой Михаил Львович

21/VIII-34

Простите за опоздание с ответом. Возвращаю Ваш список с дополнениями, которые вспомнились. Кроме этого — есть Прага, Варшава и Харбин, с именами, которые мы плохо знаем.

По-моему, надо написать в Прагу («Скит» или лично Бему — адрес, вероятно, есть у Каплана на обложке сборников «Скита»), затем в Варшаву (хотя бы в «Меч») и в Харбин, в редакцию журнала «Чураевка» — с просьбой прислать все их издания или даже отдельные рукописи для выбора, но без всяких ручательств помещения. Мэтрам конечно — говорить ничего не нужно, разве что в дружеском и частном порядке. А полумэтрам — м. б. попросить Мандельштама, как председателя Союза, во-первых, дать все союзные Сборники, во-вторых, предложить молодым поэтам составить *предположительный* букет своих вдохновений. Это, право, ни к чему нас не обязывает, а облегчает и страхует от промахов — верно. Я лично (если Вас это смущает) берусь любому из полумэтров сказать, что ни одно из выбранных им стихотворений нам не подошло, — хотя, конечно, только при условии, что об этом они будут предупреждены.

Но это, мне кажется, не все. Надо напечатать в газетах — (не меньше 2-х четвергов подряд) заявление. Хорошо бы и в «Возрождении».

Приблизительный текст:

— В скором времени в Париже под редакцией А[дамовича] и К[антора] выходит в свет антология эмигрантской поэзии. Составители сборника обращаются ко всем лицам, печатавшим свои стихи в зарубежн[ых] журналах или выпустившим их отдельным изданием, с покорнейшей просьбой прислать не позднее 15 окт[ября] с.г. свои произведения для просмотра и выбора. Желательно также сообщ[ение] кратк[их] биографических данных об авторе. При этом составители считают своим долгом предупредить, что, несмотря на желание представить поэзию эмиграции как можно более полно и беспристрастно, они не могут принять на себя перед авторами никаких обяза-

тельств, что присланные ими стихи будут включены в антологию.

Voilà. Надо бы это поскорее. Я заранее на все согласен, что Вы измените или придумаете. Лучше не списываться о мелочах, чтобы не задерживать дело.

Какое название? Это довольно важно. Не оставить ли «Встречи»? Впрочем, лучше новое, но трудно найти. Хорошо бы «После России», если бы не Цветаева.

Всего хорошего! Жду ответа.

Ваш Г. Адамович

В заключительной части этого письма, в предлагаемом тексте анонса об антологии, карандашом сделаны некоторые небольшие изменения и уточнения — по-видимому, рукой М. Л. Кантора.

«Скит» — группа молодых поэтов в Праге, которой руководил известный литературовед Альфред Людвигович Бем (1886-1945), автор ряда ценных работ о Достоевском, Пушкине и др., преподававший русскую литературу в Карловом университете и сотрудничавший в таких научных чехословацких журналах как «Slavia» и др. В архиве М. Л. Кантора сохранилась копия его письма А. Л. Бему от 22 июля 1935 г., в котором он выражал благодарность за более раннее сообщение ценных данных о пражских поэтах и просил сообщить биографические данные о них. Сохранилось и ответное письмо Бема от 18-го августа со сведениями о шести пражских поэтах и о том, что А. С. Головина переехала в Париж. Из поименованных шести поэтов стихи троих (Владимир Мансветов, Татьяна Ратгауз и Эмилия Чегринцева) вошли в «Якорь». Кроме них, вошли стихи не названного в письме Вячеслава Лебедева, о котором, очевидно, редакторы уже знали. Из названных Бемом поэтов не были включены в антологию Евгений Гессен, Владимир Морковин и Кирилл Набоков.

Каплан — владелец книжного магазина «Дом книги» в Париже.

«Меч» — еженедельная газета, выходившая в Варшаве при ближайшем участии Д. В. Философова.

«Чураевка» — группа молодых поэтов в Харбине называлась «Молодая Чураевка». В 1931 г. они выпустили сборник семи поэтов, под названием «Семеро». Из этих семерых ни один не попал в «Якорь».

Мандельштам, Юрий Владимирович (1908-1943) — возглавлял Союз молодых поэтов и писателей в Париже. Погиб во время войны

в немецком лагере. Сотрудничал постоянно в газете «Возрождение».

«Встречи» — так назывался журнал, который с января по июнь 1934 г. выходил в Париже под редакцией Г. В. Адамовича и М. Л. Кантора.

«После России» — название сборника стихов Марины Цветаевой, вышедшего в 1928 г.

№ 2: АДАМОВИЧ — КАНТОРУ

[Рукой МЛК помета: «отв. 8/9 34»]

Дорогой Михаил Львович

Ницца, 6/IX — 1934

I. Вы правы: обращение лучше «мотивировать», а также и упомянуть о биографических данных. Но лучше его поместить в газетах поскорее.

II. Ваше циркулярное письмо я вполне одобряю. Но без Варшавы нельзя. Если не в «Меч», то можно обратиться в Союз писателей. Списываю из «Меча» их адрес: «Związek Rosyjskich Literatów w Polsce», ul. Podwale No. 5 m. 3. Varsovie Pologne. Пожалуй, туда писать правильное всего.

III. Заглавие? Будем думать. (Я все вспоминаю уже взятые: «Чужое небо...» Что-нибудь надо бы в этом роде).

IV. Конечно, лучше поговорить с Мандельштамом Вам, чем мне ему писать. В разговоре все яснее.

Еще есть Выборг — журнал «Содружество». Надо бы написать и им. Отвечаю в тот же день.

Ваш Г. Адамович

Ответ М. Л. Кантора на это письмо не сохранился в его архиве.

«...без Варшавы нельзя...» — М. Л. Кантор, очевидно, тотчас же написал в Варшаву: в архиве его сохранилось ответное письмо секретаря тамошнего Союза журналистов и писателей Л. Н. Гомолицкого от 27-го сентября, в котором перечислялись проживавшие в Польше русские поэты. Список этот начинался с А. А. Кондратьева («соратника Брюсова, сотрудника «Весов», «Нового Пути» — писал о нем Гомолицкий) и включал 16 имен, не считая самого автора письма. Из них только стихи самого Гомолицкого

и С. Л. Войцеховского попали в «Якорь». О Кондратьеве см. еще в примечаниях к письму № 12.

»*Чужое небо*» — название одного из сборников стихов Н. Гумилева. Финляндия была также представлена В. Л. Гарднером (р. 1886).

»*Содружество*» — организация русских писателей в Финляндии, выпускавшая в Выборге небольшой журнал. «Содружество» было представлено в «Якоре» Верой Сергеевной Булич, которая письмом от 20 сентября, сохранившимся в архиве Кантора, откликнулась сама на анонс в «Последних новостях». Стихи Булич, автора трех сборников, вошли и в более поздние антологии («Муза Диаспоры» и «На Западе»).

№ 3: АДАМОВИЧ — КАНТОРУ

Дорогой Михаил Львович

У меня есть здесь полный комплект «Совр[еменных] З[аписок]» — с 1926 г. Я там поищу материал для антологии. Кроме того есть кое-какие сборники. Но у Вас, верно, больше. Пригодится и «Звено». Принцип: «самое лучшее или самое характерное?» На мой взгляд, лучшее и есть характерное. Во всяком случае, при сомнениях, я стою за *лучшее*.

На Восток не езжу, *faute de fonds*. С Мережковскими — из-за «Меча» были всякие объяснения. Но все оглаживается, да мне и безразлично, что «Меч» пишет. Я только что сочинил для «С[овременных] За[писок]» статейку о Дм[итрии] С[ергеевиче] — которой опасаюсь. Хотя там есть и мед, но есть и другое. Может быть, в корректуре подчищу.

Наслаждаюсь заявлениями Вовы Познера в Москве. Кое-что мелькает в «Лит[ературной] газете». «Я, как член французской компартии...» Так что сомнения о его участии в нашей антологии отпадают. А то ведь надо будет взять и Эренбурга.

До свидания. Надеюсь на поддержание переписки. Здесь после сомнительного августа наступило наконец настоящее лето. Приехали бы Вы погреться.

Ваш Г. Адамович

12/IX — 1934, Ницца

»*На Восток не езжу...*» — что подразумевал под этим Адамович, неясно. Может быть, поездки в Польшу, где жила его сестра.

«Статейка о Дм. Серг.» — статья Адамовича о Мережковском была напечатана в кн. LVI «Современных записок», как вторая часть статьи «Люди и книги».

«Вова Познер» — Познер, Владимир Соломонович (р. 1905), самый младший из Серапионовых братьев, поселившийся с начала 20-х годов в Париже, где отец его, известный журналист, был сотрудником «Последних новостей». Вскоре В. С. Познер порвал с эмиграцией, стал французским журналистом и занял определенную просоветскую позицию. В качестве журналиста (и, как явствует из письма Адамовича, члена французской компартии) ездил в Советский Союз (он был французским гражданином по рождению).

№ 4: АДАМОВИЧ — КАНТОРУ

[Без даты. Помета МЛК: «Пол. 16/7/35»]

Дорогой Михаил Львович

Toutes mes excuses. Нет, правда — я чувствую свою вину, потрясен и подавлен. Но как всегда, добрые намерения не сбылись, отъезд мой был хлопотливым, позвонил я Вам поздно и в результате, вот я в Ницце, а Вы, конечно, меня всячески попрекаете.

Но это непоправимо. Поэтому постараясь «списаться». Я не помню, какие вопросы у нас остались спорные — кроме поездки в Тург[еневскую] библиотеку, которую Вы приняли на себя. Савин? По моему — нет. Но если Вы найдете у него чтонибудь хотя бы на 3- — я не возражаю. Я пришлю Вам несколько стихотворений Шумакова (или весь сборник с отметками) на просмотр. Его надо бы взять. «Излучины»? На Ваше усмотрение.

Да, еще просьба: сообщите мне, пожалуйста, какие мои стихи пойдут (первые строчки). Если Вы согласны, я бы просил изъять «Смерть», которая Вам по непонятным причинам, кажется, нравится. Ну, вот. Статью я напишу и пришлю au plus tard к 25. Вообще согласен «включиться в работу сто-процентно», хотя бы и на расстоянии. Всего хорошего — и еще раз приношу извинения. Кланяйтесь, пожалуйста, Ирине Александровне.

Ваш Г. Адамович

Савин — псевдоним Ивана Саволайнена (1899-1927), безвременно скончавшегося в Финляндии молодого поэта, участника гражданской войны в рядах Добровольческой армии, попавшего в плен к большевикам, приговоренного к расстрелу и чудом спасшегося от смерти. В стихах Савина сильно звучала патриотическая гражданская нота (его сборник «Ладонка» был издан в Белграде Обществом Галлиполийцев), но то, что Адамович и Кантор забраковали его стихи, было несправедливо. Когда в 1953 г. в нью-йоркском журнале «Опыты» был напечатан его рассказ «Дроля», автор вступительной заметки, скрывшийся под инициалами Т. Т., писал: «Савин думал и писал только о России. Трудно сказать, что стало бы с творчеством Савина, если бы он остался жить. Стал ли бы он большим писателем? Во всяком случае 'настоящим' он был». Ю. П. Иваск включил одно его стихотворение в антологию «На Западе». В последнее время в литературных кругах в США появился новый интерес к поэзии Савина.

Шумаков, Юрий Дмитриевич (р. 1912) — один из четырех живших в Эстонии поэтов, попавших в «Якорь». В 1934 г. выпустил сборник стихов «Третья встреча». О дальнейшей судьбе его нам ничего неизвестно.

«*Излучины*» — так назывался вышедший в Харбине сборник стихов дальневосточных поэтов.

«*Какие мои стихи...*» — в «Якорь» вошли следующие восемь стихотворений Адамовича: «За слово, что помнил когда-то...», «Ну вот и кончено теперь...», «Один сказал: 'Нам этой жизни мало'...», «Безлунным вечером, в гостинице, вдвоем», «Патрон за стойкою глядит привычно-сонно...», «Там где-нибудь, когда-нибудь...», «Ни с кем не говори. Не пей вина...»

Ирина Александровна — жена М. Л. Кантора.

№ 5: КАНТОР — АДАМОВИЧУ

Дорогой Георгий Викторович,

16 июля 1935

напрасно Вы извиняетесь. То, что мои предсказания в точности оправдались, доставило мне удовлетворение, испугающее отчасти огорчение, причиненное невозможностью повидать Вас перед отъездом. Неудобно, конечно, что придется писать длинные письма о том, что можно было бы уладить в полчасовом разговоре, но это пустяки. Главное, *совершенно необходимо* закончить все к 28 июля, так как 1-го

авг[уста] меня уже в Париже не будет, а до этого рукопись должна быть сдана в набор.

Все эти дни усердно работаю по приведению книги в готовый для печати вид, и это оказалось делом несравненно более хлопотным, чем можно было предполагать. Составляя сборник, я не очень задумывался о размере (14 печ[атных] листов для текста и лист для всего остального: предисловия и пр.), и брали мы у каждого автора столько, сколько считали нужным и возможным. Могло случиться, что книга оказалась бы в два раза больше или меньше намеченного размера. Вышло сравнительно благополучно, но все же страниц 30 лишних в рукописи оказалось (после очень кропотливых подсчетов). Так как это пришлось бы оплачивать из моего кармана, то я вынужден был заняться сокращениями, чтобы вдавить материал в прокрустово ложе; нелегкая это была задача, но, кажется, я разрешил ее довольно удачно. Отнял у тех, кому мы уделили слишком много места, по одному, редко по два, стихотворения, или заменил длинные более короткими.

В ближайшие два-три дня изготовлю (и пришлю Вам) небольшое «техническое» предисловие: объяснение нашего метода, распределения материала, благодарности разным лицам и пр. От Вас я жду: 1) литературное предисловие (по размышлении, думаю, что размер, о котором Вы говорили, подвал «П[оследних] Н[овостей]», пожалуй, достаточен); 2) Стихи Аминада (3-4, не больше); 3) Стихи Шумакова (одно уже есть, можно еще 1-2); 4) Ваше одобрение прилагаемого порядка помещения «ветеранов»; 5) Ваши предположения относительно *названия* антологии.

Ваше мнение о Савине разделяю. Но все-таки, для полноты картины, не взять ли прилагаемое стихотворение? Оно как будто лучше остальных. Из «Излучин» взять разве (Вами отмеченное) восьмистишие Перелешина (прилагаю и его)? Вообще, приходится сжиматься: места мало. В библиотеке я был, но поживился там не очень многим: нашел кое-что Цветаевой, несколько новых стихов Георгия Иванова и Кузьмину-Караваеву (которую включил только из уважения к чину).

Вот и все пока. Ир. Ал. уехала вчера в Швейцарию.

Ваш М. Кантор

Привет Фельзену. Скажите ему, кстати, что, если уже найдено было нужным взять с меня 10 фр[анков], как подписчика на их издания, то следовало, по крайней мере, хоть книжку послать. Пишу это не потому, что жажду читать Яновского, а во имя поправленной справедливости.

Размеры «Якоря» — стихи в «Якоре» занимали 235 страниц, т.е. немного больше 14 печатных листов. Но на остальной материал пошло меньше полутора листов: стр. 237-242 составляли «Указатель», который сочетал оглавление с очень краткими (и часто неполными) био-библиографическими справками о поэтах; предисловие Адамовича занимало пять страниц, а то, что Кантор называл «техническим» предисловием — полторы страницы.

«Аминад» — Шполянский, Аминад Петрович (1888-1957), писавший под псевдонимом «Дон-Аминадо». Печатал главным образом маленькие фельетоны в стихах в газетах.

«Ветераны» — те, кого Кантор называл «ветеранами» и с кого начинался первый отдел антологии, были даны в следующем порядке (с указанием в скобках числа стихотворений): Мережковский (3), Вячеслав Иванов (2), Гиппиус (10), Бунин (6), Тэффи (2), Ходасевич (7), Северянин (4). За ними в том же отделе следовали: Цветаева (5), Амари (М. Цетлин, (3), Георгий Иванов (11), Оцуп (9), Адамович (8), Михаил Струве (1), Одоевцева (4), Дон-Аминадо (2), Злобин (3), Кузьмина-Караваева (мать Мария, (2) и В. Гарднер (1).

«Ваше мнение о Савине...» — приложенное к письму стихотворение в архиве М. Л. Кантора не сохранилось.

Перелешин — псевдоним Валерия Францевича Салатко-Петрище (р. 1913). В «Якорь» были включены два его стихотворения: кроме восьмистишия, еще длинное стихотворение (32 строки) «Избранник». Ни то, ни другое стихотворение не вошло в его первую книгу стихов «В пути» (Харбин, 1937). Автор проживает сейчас в Бразилии. На Дальнем Востоке он выпустил четыре книги стихов, а после Второй мировой войны — еще две, не считая переводов с китайского. Печатается в «Новом журнале» и в других зарубежных журналах и газетах. Из других дальневосточных поэтов в «Якорь» вошли более, чем он, тогда известные Арсений Несмелов и Алексей Ачаир, а также Николай Щеголев.

Фельзен, Юрий — псевдоним Николая Бернардовича Фрейденштейна (1894-1943), молодого парижского прозаика, стоявшего особенно близко к «Встречам», журналу Адамовича и Кантора. Погиб во время войны при попытке перехода швейцарской границы.

«...читать Яновского...» — речь идет, вероятно, о повести В. С. Яновского «Любовь вторая», выпущенной в 1935 г. парижским Объединением молодых писателей, в котором видную роль играл Фельзен.

№ 6: АДАМОВИЧ — КАНТОРУ

[Без даты]

Дорогой Михаил Львович

Отвечаю по пунктам: 1) Предисловие я напишу, — надеюсь к сроку. 2) Стихи Аминадо прилагаю. Не Бог весть что — конечно. Мне больше всего по вкусу «Начало дней» и, пожалуй, «Тюильри». На Ваше усмотрение. 3) Шумакова посылаю тоже. По-моему, в стихах его есть истинная прелесть, хотя это и лепет. (Как хорошо — неожиданно у него вынырнул Ив. С. Тургенев). 4) Название. Не одобрите ли Вы — «Якорь»? Мне нравится некоторая старомодность этого слова, как названия. Во-вторых — в нем есть смысл и нет его, как угодно. Если бы Вы его приняли, я бы подвел к нему предисловие, кончив его Боратынским:

Подняли якорь — надежды символ!

Мне тут некого спросить. Важно в таких случаях видеть сразу — первое впечатление от слова. Я опасаюсь, что есть в «Якоре» что-то чересчур короленковское. Но, по-моему — это ничего, лучше чем эстетико-футуристический штамп бессмыслицы полной.

5) Ветераны. Расположение приемлемо. Но надо туда же и Аминадо (по-моему, между Тэффи и Северяниным). Не ветеран ли Берберова? Справились бы Вы у нее по телефону. (В Посл[едних] Нов[остях] после 5 ч.). 6) Мои стихи. Не много ли в сравнении с прочими? Можно бы выбросить «Один сказал» — на Ваше усмотрение. Во всяком случае я не могу занять больше места, чем Иванов, Оцуп и тем более Марина. 7) Савин — Ох! Разве что только для беспристрастия. Но беспристрастие может нас увести далеко. Конечно, это по качеству — вроде Аминадо, но тот хоть не совсем серьезен. Перелешина — из «Излучин», по-моему, надо взять.

Вот пока все. Гибну от жары. Не попадете ли Вы в наши африканские края?

Ваш Г. Адамович

«Стихи Аминадо» — упоминаемые Адамовичем два стихотворения не вошли в «Якорь».

«Как хорошо... у [Шумакова] вынырнул Ив. С.Тургенев» — стихотворение Шумакова кончалось строками:

Ушел в закат, сиренев,
Не помышляя ни о чем,
Иван Сергеевич Тургенев
С двустволкой за плечом.

Марина — Цветаева.

№ 7: КАНТОР — АДАМОВИЧУ

Дорогой Георгий Викторович,

26 июля 1935

спасибо за письмо и присыл. Из Шумакова взял Тургенева и синеустность. Это какой-то дуанье Руссо в поэзии. Из Аминада — Август и Уездную Сирень. Тюильри — слишком длинно, да и не лучше другого, по-моему. Савина похоронил, как и Барта, из которого при желании можно было взять что-нибудь — да надобности нет. Амари прислал с полдюжины стихотворений. Ужас! Я взял три. Никакая культурность не спасает, видно, если нет... хотя бы того, что есть у Шумакова.

На Ваш счет, в рассуждении Оцуа, можете быть спокойны: у Вас 8 стих[отворений], занимающих пять страниц печатных, у О[цуа] столько же, но страниц 6. Из Цветаевой взял 5 стих[отворений], но, по причине ее болтливости, они занимают семь страниц, так что и тут все в порядке.

Теперь рукопись совершенно готова, и я завтра сдаю ее издательству. Предисловия от Вас еще не получил. Зная энергию г. Манделя, убежден, что вина не почты, а Ваша. Правда, я тоже не изготовил «технического» предисловия, но это всего несколько строк. Я уезжаю только в понедельник, 29-го, и до этого времени надеюсь получить Вашу рукопись. Название «Якорь», пожалуй, недурно, но, признаться, энтузиазма у меня не вызывает. Что Вы думаете о «Чаша» (горькая, полная и пр.)? Напишите. Или «Остров»? Впрочем, в такую жару приходят названия все больше прохладительные.

Еще не знаю сам, куда поеду. Не исключается возмож-

ность, что попаду в Ваши края. Как называется то место в горах, куда Вы ездили два года назад? И где там жить? Во всяком случае, пишите мне в Париж, почта будет за мною следовать.

Ваш М. Кантор

«...синеустность» — в одном из стихотворений Шумакова есть строки: «В неизвестности / В синеустности...» В «Якорь» вошли три стихотворения Шумакова.

«Из Аминада» — именно «Август» и «Уездная сирень» были окончательно выбраны для антологии.

Барт, С. — псевдоним проживавшего в Варшаве поэта С. В. Копельмана. Его стихи не вошли ни в одну антологию русской зарубежной поэзии.

Амари — литературный псевдоним Михаила Осиповича Цетлина (1882-1946), основателя и первого редактора «Нового журнала», автора романа «Декабристы».

Оцуп, Николай Авдеевич (1894-1959) — известный петербургский поэт, видный участник второго Цеха Поэтов.

Г-н Мандель — французский политический деятель Жорж Мандель, министр почт и телеграфа в тогдашнем кабинете.

№ 8: КАНТОР — АДАМОВИЧУ

Дорогой Георгий Викторович,

29 июля 1935

все еще нет Вашего предисловия. Сдаю сегодня рукопись изд[ательст]ву, за исключением предисловия и указателя. При сем «техн[ическое] предисловие» и указатель на Ваш просмотр. Может быть, в указателе Вы что-нибудь дополните или исправите.

Я, верно, уеду сегодня. Пожалуйста, пришлите мне в Париж Ваше предисловие и верните указатель (а также мое предисловие, если захотите его изменить). Почта будет мне пересылаться.

Всего Вам хорошего.

М. Кантор

№ 9: АДАМОВИЧ — КАНТОРУ

Дорогой Михаил Львович

[Без даты]

Посылаю — авес excuses за опоздание — предисловие. Я его написал сначала размашисто, но затем сократил и подсушил для солидности. Сообщите, пожалуйста, как Вы его нашли и на все ли в нем согласны. Просьба: у меня тут нет — и негде достать — Боратынского. У Вас он — насколько помню — есть. Посмотрите в стихотворении «Пироскаф» цитату, которую я привожу. Надо перепечатать всю строфу — 6 строк: я не помню ее начала!

Очень бы хотел видеть корректуру своих стихов — но нечего делать! Затем отвечаю на Ваши сомнения.

Должен признаться, что я просто *не понимаю*, как Вам такие опасения пришли в голову. М.б. юридически Вы правы (да и то — для меня это полная неожиданность). Но кто же станет протестовать? И если даже станет, неужели дойдет до суда? Это абсолютно невероятно. Все мечтают попасть, и всем лестно, т[ак] к[ак] это книга на вечные (или полувечные) времена.

Вчера видел Оцуа, которому передал Ваши мысли. Он тоже был поражен и считает, что опасаться нечего, п[отому] что никто не догадается, что протестовать можно, даже если бы протестовать желал.

Представьте себе, — я пишу в кафе, и не могу вспомнить в точности — в чем второй вопрос. А послать хочу не откладывая. Кажется — рисунок обложки: он мне нравится. По моему, составили Г. А. и М. К. не только правильней, чем под редакцией, но и элегантнее. Я за «составили». Всего хорошего пока. Простите, если что не так.

Ваш Г. Адамович

Включен ли Эйсер: «Человек начинается с горя...»?

[Приписка сбоку на первой странице]:

Я поставил под предисловием дату. Почему-то это мне хочется. Если, по-Вашему, это претенциозно — выбросьте. Я сейчас не соображаю, по-моему, с датой лучше.

«Должен признаться, что я просто *не понимаю...*» — о каких «опасениях» М. Л. Кантора говорит здесь Адамович, не совсем понятно.

Похоже, что копия письма, на которое он отзывается, не сохранилась.

Эйснер, Алексей Владимирович — молодой поэт и критик, живший сначала в Праге и входивший в «Скит», а потом переселившийся в Париж. Много печатался в пражской «Воле России». В 30-х годах уехал в Испанию и принял участие в гражданской войне на стороне красных, а в 1939 г. вернулся в Советскую Россию, где сейчас и проживает. Называемое Адамовичем стихотворение вошло в «Якорь». Строкой, которую он приводит, начинается второе четверостишие.

Дата — под предисловием Г. В. Адамовича к «Якорю» стояла дата: 12 сентября 1935.

№ 10: КАНТОР — АДАМОВИЧУ

Дорогой Георгий Викторович, 14 сент[ября] 1935

спасибо за письмо и предисловие. Оно прибыло, можно сказать, уже в самую последнюю минуту. Предисловие мне, в общем, очень нравится. В нем есть та *élévation*, которая в данном случае была необходима, есть «идея». Правы ли по существу — вопрос другой: я не спорю, заметьте, а только подчеркиваю спорность, что не одно и то же. Сам-то я скорее с Вами согласен.

Несколько замечаний у меня все-таки есть; вот они: 1) Вы пишете: «Скажут: ничего нет удивительного, 'бытие определяет сознание'! Да, пожалуй, на девять десятых это верно. Но в какой-то мельчайшей (и важнейшей) доле это не так...» и т.д. Не лучше ли: «*Кое-кто* скажет»? Затем: «*отчасти* это верно». И соответственно: «*пусть* мельчайшей (*но* важнейшей)»? Ведь не обязательно критики наши будут марксисты! 2) «Как фон или аккомпанемент возникает советская Россия». Обязательно ли здесь «советская»? Т.е. внутренне, м.б., и обязательно, но по форме это немного — как бы это сказать — слишком в лоб. Не сказать ли просто — Россия, или современная Россия, или что-нибудь в этом роде? 3) «Поэт на первый взгляд говорит сам с собой, нередко только о себе и говорит: времена трибунов миновали», и т.д. Двоеточие здесь сбивает с толку. Можно читать как будто бы после «о себе» стояла запятая, и тогда «времена трибунов» есть как бы изложение

того, что говорит поэт. Надо бы поставить точку с запятой, или как-нибудь переставить слова. 4) «Такие стихи существуют, но мы их не включили в сборник, и едва ли когда-нибудь придется в этом раскаиваться». Это, мне кажется, слишком откровенно. Зачем подставлять себя под удары? Я предпочел бы подчеркивать не столько наше *нежелание* включать такие стихи в антологию, сколько *невозможность* (как бы объективную) их включить. Напр[имер], сказать, что мы хотели их включить, но вследствие полемического характера они успели за немногие годы настолько увянуть, что сейчас это уже не стихи, а публицистика. Как Вы об этом думаете? 5) «...книгу эту стоило и следовало выпустить. В ней много бледных стихотворений — что скрывать? кого и зачем обманывать?» Это обидно для наших авторов — как бы нарушение правил гостеприимства. Мне кажется, надо это смягчить. 6) Возвращаюсь к началу. «Едва ли... возможна надежда на то, чтобы в эмиграции был когда-нибудь еще раз издан подобный сборник; все знают, что для этого нужно было бы чудо, чудеса же не повторяются». Тут мы немного задаемся. Сами мы, мол [могли?] дать чудо, и никогда уж второго такого чуда не будет. Я был бы очень за то, чтобы это сказать как-нибудь иначе.

Простите за этот дождь замечаний. Вы сами решайте, насколько они основательны. Только ответьте мне *поскорее*. Можете сослаться просто на №№ для краткости: у меня есть копия этого письма (оттого и пишу карандашом, с пробивкой).

Ир. Ал. Вам кланяется. Она в ужасе от названия «Якорь».

Всего Вам хорошего. Ваш М. Кантор

Вы успокоили меня относительно авторских скандалов. Все-таки Бальмонта побаиваюсь. Не написать ли ему — не прося разрешения, а, скажем, для проверки библиографич[еских] данных в нашем указателе? Что Вы об этом думаете? Корректуру Ваших стихов пришлю: второй экз[емпляр], у меня имеющийся. И если Вы что-нибудь исправите, можно будет внести во вторую корректуру (в сверстанном виде).

М. К.

Пункты письма Кантора — 1) Осталось, как было у Адамовича; 2) слово «советская» Адамович выбросил, оставив просто: Россия; 3) Адамович принял точку с запятой перед «времена трибунов»;

4) Адамович сохранил свой текст, вставив лишь слово «нам» после «придется»; 5) эта фраза тоже осталась, как была; 6) в окончательном печатном тексте фраза, против которой возражал Кантор, читается так: «Едва ли, в самом деле, возможна надежда на то, чтобы в эмиграции, при наших здешних материальных условиях, был когда-нибудь еще раз издан подобный сборник». О «чуде» было отброшено. Ответ Адамовича см. в следующем письме.

№ 11: АДАМОВИЧ — КАНТОРУ

[Без даты. На письме пометы рукой МЛК: «Пол. 18/9/35» и «19/9 писал и послал копию пред[исло]вия и 2-ой экз[емпляр] гранок»].

Дорогой Михаил Львович

Отвечаю по пунктам — относительно предисловия.

1) «Кое-кто скажет» — вместо «скажут» — мне не нравится, потому что в «кое-кто» есть какой-то намек, кивок в чью-то сторону. Лучше «Некоторые скажут...» хотя я предпочел бы оставить, как есть. Я вообще боюсь исправлений текста, п[отому] что у меня под рукой его нет — и я не слышу, как *звучит* фраза с изменениями. Между тем я к этому крайне чувствителен. М.б. это и пустяки — но в целом это всегда имеет значение, и только написавший это может проверить. «Пусть мельчайшей» — по моему, не надо. Лучше просто — мельчайшей. А «но» вместо «и» в скобках цепляется за вступительное «но» для всей фразы — потому я и написал «и».

2) Убрать «советскую» согласен. Просто «Россия» лучше (но не современная). 3) Поставим вместо двоеточия — точку с запятой или просто точку. 4) Я бы оставил *так, как есть*.

Объективности у нас вообще хоть отбавляй. Во фразе, которую Вы подчеркнули, есть хоть намек на выбор, волю и т.д. А под удары подставляться не страшно, п[отому] что какие же будут удары? Одно развлечение.

5) Тоже — по-моему, надо оставить, как есть. Обиды не будет, п[отому] что каждый подумает, что это не про него, а про соседа. А между тем плохие стихи, правда, есть — и

сказать правду никогда не плохо. Насчет пунктов 5 и 4 — я вообще очень стою за их оставление в первоначальном виде.

6) В слове «чудо» — я имел в виду не самовосхваление, а поклон в сторону издательницы. Всякому ведь ясно, что чудо — *издать*, а никак не — *составить*. Можно в скобках после слова «чудо» добавить: (в материальном смысле, конечно). *Или еще лучше*: «всякий знает, что при наших здешних условиях для этого нужно было бы чудо...»

Насчет фразы: «И вполне возможно, что не все авторы будут с нами вполне согласны» — два «вполне», конечно — ошибка. Второе *надо удалить*. Но по существу — не понимаю, что Вас тут смущает? Наоборот, это не «переть на рожон» — а извинение: «простите, господа, м.б. мы не то выбрали, что следовало». Я эту фразу так и ощущаю. Это вежливость, самоунижение, а не заносчивость. Мне кажется, что только так это и можно истолковать.

Простите за мое упорство. Но, по-моему, Вы уж очень всех представляете церберами, которые к каждому слову станут придирааться. А немного *laisser-aller* всегда хорошо — пусть и останется это. Конечно, если Вы настаиваете — дело Ваше: над предисловием Вы редактор один, т[ак] к[ак] я автор. Корректуру прилагаю. Не объявить ли в печати о скором выходе книги?

Ваш Г. Адамович

Есть ли у нас Шаховская из Брюсселя? Я вдруг о ней вспомнил. Пожалуйста: при верстке — поставьте меня *после* Оцуа. Tous les miens Вам кланяются. Здесь жарче, чем было в августе.

«Насчет пунктов 5 и 4» — эта фраза специально отчеркнута Адамовичем сбоку страницы.

«...поклон в сторону издательницы» — таковой была, по-видимому, Е. В. Маковская, которой в «техническом» предисловии была выражена особая благодарность.

«Есть ли у нас Шаховская из Брюсселя?» — Зинаида Алексеевна Шаховская, в замужестве Малевская-Малевич (р. 1906). В 1934 г. выпустила сборник стихов «Уход». В «Якорь» вошло два ее стихотворения. Впоследствии стала известной французской писательницей, но продолжала писать стихи по-русски и недавно

выпустила новый сборник. В настоящее время — редактор парижской газеты «Русская Мысль».

«...поставьте меня после Оцула» — так оно и было сделано в «Якоре».

№ 12: АДАМОВИЧ — КАНТОРУ

[Без даты. Помета рукой: МЛК: «Пол. 24/9 35 веч.!!!]

Дорогой Михаил Львович

Получил утром корректуру.

Если есть еще возможность, по-моему, *необходимо* кое-что изменить. У меня отшибло, вероятно, память — я не помню некоторых наших разговоров и договоров в точности.

1) Стихи Гиппиус. Есть два — совсем плохие. «Молчи, молчи» и «Как этот странный...» В особенности второе. Помните, мы говорили о стихах, которые кончаются словами «ну, а теперь — домой, домой». Она сама их хотела (они есть в «Совр[еменных] Зап[исках]»). Затем — «Лягушка», крайне гиппиусовское. Тоже — в «Записках». По размеру это приблизительно то же, а будет гораздо лучше. Можно ли заменить?

2) Ходасевич. Что-то уж чересчур много. Баллада об Орфее написана в Петербурге. Он ее всюду там читал — едва ли это эмигрантская поэзия в строгом смысле. Вообще, он как то выделяется в первом отделе. Это не мои козни, а справедливость. Я бы убрал у него одно — и прибавил бы одно Иванову: чистая справедливость! 3) Кондратьев. Никто его не знает и не помнит. Стихи — *никуда*. Это абсолютный балласт — я бы его убрал совсем.

4) Места в 1-м отделе. По моему — лучше так:

Тэффи — после Бунина и *перед* Ходасевичем (возраст!) Дон Аминадо помещен слишком почетно — и все будут смеяться. Лучше бы его подальше. Я предлагаю порядок такой: — Мережк[овский], Вяч[еслав] Иванов, Бальмонт, Гиппиус, Бунин, Тэффи, Ходасевич, Северянин, Амари, Цветаева, Г. Иванов, Оцуп, Адамович, Одоевцева, Дон-Аминадо, Злобин, Караваева, Гарднер. Если Вы непременно настаиваете на Кондратьеве (?), то его перед Караваевой, в явный хлам, печатаемый лишь из уважения.

Я очень Вас прошу принять мои резоны, если они Вам приемлемы. Невозможно Аминадо поставить раньше Цветаевой и Иванова — да и в возрасте разницы большой нет. Ходасевича можно бы сократить и в пользу Бунина. Это будет обида: лауреата у нас маловато. Но Иванов — прелестный поэт, а представлен не по заслугам кратко.

2-й ОТДЕЛ:

1) Бакунина. Слишком много. Это же хлам — и только «курьезно».

2) Невообразимо много места занял Кнут. Я бы убрал у него первые два, а то и три стихотворения. А то у него чуть ли не больше всех и страниц и строк.

3) Штейгер. J'insiste sur ce point-là. И помню — инсистировал еще в наших разговорах. Это один из лучших среди молодых. А его — меньше всех. Всяких Щербаковых и Головиных больше. Помимо моей с ним дружбы, это объективно совершенно не верно. Добавить легко — хотя бы из последних «Совр[еменных] Зап[исок]». Я бы добавил по крайней мере три-четыре стихотворения, ведь они все по несколько строк.

4) Горлин. Мы сомневались, включать ли его вообще. Это круглая бездарность. А его оказалось целых 3 шедевра!

5) Гомолицкий — слишком обилен! Нельзя ли сократить в пользу Кельберина, или Софиева — или других, из все-таки лучших, чем он?

Вот, кажется, все. Если Вы в принципе со мной согласны, но исправления делать поздно — может быть, *можно задержать типографию телеграммой?* Я принимаю расход на свой счет с удовольствием. По-моему, лучше задержать, заплатить, опоздать и т.д. — но не делать такого дела с упущениями.

Корректуру возвращаю сегодня же. Буду ждать ответа и с трепетом. Знаете, читая текст и у меня создалось впечатление, что антология составлена именно пристрастно: неожиданный результат усиленного беспристрастия и объективности. Главное, ведь все-таки не возраст, не уважаемость или популярность, а *valeur poétique*. У нас это не во всем соблюдено. Пишу это и чувствую такое смущение, что согласен ехать в Париж — и опять с Вами просидеть три вечера над матерья-

лом. Во всяком случае, лучше задержать хотя бы на год, но не делать наспех. В последнюю минуту многое видно яснее.

Прошу прощения, если смущаю и Вас.

A bientôt. Ваш Г. Адамович

«Стихи Гиппиус» — второе из названных Адамовичем стихотворений вошло в «Якорь» под названием «Быть может», несмотря на отрицательный отзыв в этом письме. Первого стихотворения в антологии нет. Стихотворения «Домой» и «Лягушка» оба были включены в «Якорь».

Ходасевич — возражения Адамовича против включения «Баллады» имели под собой формальные основания, но стихотворение все же вошло в «Якорь». В конечном итоге в антологии на семь стихотворений Ходасевича оказалось одиннадцать стихотворений Георгия Иванова.

Кондратьев, Александр Александрович (1876-1966) — несправедливо забытый писатель эпохи символизма, поэт и прозаик, которого ценили и Брюсов, и Блок. После революции проживал в глуши в русской части Польши и стоял вне большой дороги литературы, хотя и печатался изредка в «Возрождении», «России», «России и Славянстве», «Русской Мысли». После Второй войны долго скитался по Европе (Австрия, Югославия, Швейцария) и наконец выбрался в США, где скончался в возрасте 90 лет. Среди его зарубежных стихов на темы славянской мифологии были очень хорошо сделанные, и полное невключение его в антологию в числе «ветеранов» было явной несправедливостью. На письме Адамовича против абзаца о Кондратьеве М. Л. Кантор написал красным карандашом: «Вон!»

Тэффи — два ее стихотворения были помещены между Буниным и Ходасевичем.

Порядок — с небольшими отступлениями (Цветаева *перед* Амари и включение Михаила Струве *перед* Одоевцевой) предложенный здесь порядок был соблюден в первом отделе. См. также примечания к письму № 5.

Бакунина, Екатерина Васильевна — на полях Кантор написал: «Согл.» В антологию вошло два стихотворения. Сколько намечалось первоначально, мы не знаем. Бакунина — автор большой книги стихов («Стихи», Париж, 1931) и романа «Тело», который некоторые критики называли порнографическим. На визитных карточках она называла себя «Бакунина-Новоселова» (по мужу?).

Кнут, Довид Миронович (1900-1955) — парижский поэт, автор не-

скольких сборников. В «Якорь» вошли четыре его стихотворения, но одно из них было очень длинное, и они заняли семь страниц. Рядом с абзацем о Кнута Кантор тоже написал: «согл.», но мы не знаем, были ли какие-нибудь стихотворения изъяты.

Штейгер, барон Анатолий Сергеевич (1907-1944) — молодой парижский поэт, к которому особенно благоволил Адамович. В «Якорь» вошли семь его стихотворений, все очень короткие.

«*Всяких Щербаковых и Головиных...*» — стихов Щербакова в «Якоре» не было. Был такой поэт на Дальнем Востоке (Михаил Щербаков), но, может быть, Адамович имел в виду Николая Щеголева, тоже дальневосточного поэта. Головина, Алла Сергеевна (р. 1911), сестра Штейгера, принадлежала к пражскому Скиту поэтов, потом жила в Париже и Брюсселе. Автор сборника «Лебединая карусель» (1935). В «Якорь» вошли три ее стихотворения. Пренебрежительный отзыв о ней Адамовича не совсем понятен.

Гомолицкий, Лев Николаевич (р. 1903?) — варшавский поэт. Позднее стал известен как историк литературы, в частности своими работами о Пушкине и Мицкевиче. В «Якорь» вошло два его стихотворения.

Горлин, Михаил Генрихович (1909-1943) — сначала берлинский, а потом парижский поэт, автор ценных историко-литературных работ. Вместе со своей женой, Раисой Блох, тоже поэтом и медиэвисткой, погиб во время войны в немецком концентрационном лагере.

№ 13: АДАМОВИЧ — КАНТОРУ

[Без даты. Рукой МЛК помета: «Отв. 26/9 Пол. 26/9»]

Дорогой Михаил Львович,

Я собрался сейчас отсылать Вам корректуру стихов — но перечел Ваше письмо, и вижу, что она Вам не нужна, т[ак] к[ак] это второй экземпляр. Tant mieux. Оставляю ее пока у себя, для изучения и чтения. Вы, вероятно, удивились моему паническому предыдущему письму. Если поздно, что же делать! Сойдет! Изменять можно без конца. Но если еще не поздно — было бы лучше.

Предисловие: действительно «общее наше оправдание» лучше, чем «наше общее». Так пусть и будет. Важное упущение: Мих[аила] Струве — надо в первый отдел. Он пе-

тербуржец, наш поэтический сверстник. Обида была [бы] непоправимая. Куда его деть? Я думаю, в соседство к Злобину. (Или м.б. между мной и Одоевцевой?).

Всего хорошего. Еще сомнение: как сочетать мое принципиально-эмигрантское предисловие с участием Вяч[еслава] Иванова? Впрочем, это пустяк. Я угрызаюсь, что доставляю Вам, может быть, неприятности своими колебаниями. Простите, если так.

Ваш Г. А.

Струве, Михаил Александрович (1890-1948) — участник петербургского Цеха Поэтов, друг Н. С. Гумилева. Выпустил всего один сборник стихов, еще до революции («Стая», 1916).

Злобин, Владимир Ананиевич (1894-1967) — вошел в литературу еще до революции. Выехал из России с Мережковскими и в Варшаве и в Париже был их секретарем.

«Как сочетать ... с участием Вяч. Иванова?» — В. И. Иванов, выехавший за границу вполне законно, с советским паспортом, и поселившийся в Италии, стоял в то время в стороне от эмиграции. Позднее он стал печататься в «Современных записках».

№ 14: АДАМОВИЧ — КАНТОРУ

Дорогой Михаил Львович

28. IX. 1935

Только что получил Ваше письмо. Тронут Вашей *mansuétude* и отзывчивостью к моим запоздалым сомнениям. Правда. Очень жалею, что доставил Вам хлопоты.

Нет, я вовсе не разочарован антологией и общее мое впечатление не плохое. Но это дело настолько тонкое и хрупкое, что все кажется не так. В сущности, дурное впечатление создается не от *антологии*, а от самих *авторов*: много дурных стихов (Бальмонт! Бунин! и т.д.) — но что мы тут можем сделать! Наши вкусы и оценки в общем совпадают, чему было много примеров. Едва ли мои сомнения вызваны — как Вы предполагаете — тем, что мы мало работали вдвоем. Просто само по себе это *полу-провал* на экзамене, вопреки моему предисловию, и надежд, что будущее поставит эмиграции за поэзию 12 — мало.

Насчет Вяч[еслава] Иванова — думаю, оставим как есть.

«Неувязка» слабая, и нельзя же все понимать в предисловии буквально. Лучше не обращать внимание читателей на нее — они и не заметят. Остальное — в порядке. Одоевцева обидится, что она после Струве — но не знаю, как сделать. Можно бы и до него, но, вероятно, поздно. Я все боюсь, не слишком ли много меня. Ну, что я скажу, например, тому же Мишке Струве, моему соседу по антологии?

Всего хорошего. Телеграмма — повторяю — на мой счет, и расходы другие надо бы очевидно тоже.

Ваш Г. Адамович

Никогда, кажется, у нас не было столь обильной переписки! Получили ли корректуру?

Письмо М. Л. Кантора, на которое отвечает Адамович, по-видимому, не сохранилось в архиве.

«Насчет Вяч. Иванова» — см. примечания к предыдущему письму.

№ 15: КАНТОР — АДАМОВИЧУ

Дорогой Георгий Викторович,

28 сент[ября] 1935

не считаете ли Вы, что было бы полезно к стихам Вяч. Иванова прибавить такое примечание (в виде выноски): — «Предлагаемые два сонета Вяч. Иванова воспроизводятся по статье И. Голенищева-Кутузова, помещенной в 'Современных Записках', кн. XLIII (1930)»? Я испытываю какую-то неловкость в отношении этих стихов: точно мы их украли откуда-то. Что Вы об этом думаете? Напишите, пожалуйста, *сейчас же*. Я успею включить во вторую (и последнюю) корректуру эту выноску.

Вышла еще история с Пиотровским. Зная, что он скандалист, я счел благоразумным запросить его о том, правильны ли наши данные о выпущенных им книжках. В ответ он прислал 8 стихотворений со всевозможными просьбами: сообщить, что именно мы выбрали (если не напечатаем все 8!), дать ему корректуру и пр. Предосторожность моя, так[им] обр[азом], оказалась основательной, но из присланных им стихов только одно совпало с нашим выбором, остальных двух он не прислал вовсе. Чтобы избежать историй, я переменял два других, взяв

их из присланных им (все они приблизительно одинаковы: гладко, но пусто), но Вам их уже не успею послать. Я ему написал, и если он будет еще привередничать, то выкину его вовсе, чорт с ним.

Я еще не получил от Вас гранок. Перемены наши, кажется, сойдут гладко, так как, по счастью, верстка еще не начиналась (теперь уже, верно, началась). Пожалуйста, напишите немедленно. Когда Вы будете в Париже? Я очень хотел бы, чтобы Вы успели просмотреть вторую корректуру.

Ир. Ал. Вам кланяется.

Ваш М. Кантор

Голенищев-Кутузов, Илья Николаевич (1904-1969) — молодой поэт из Югославии, но жил и учился одно время в Париже. Его книжка стихов «Память» (1931) вышла с предисловием Вячеслава Иванова. Одно его стихотворение вошло в «Якорь». После войны был выслан из Югославии и уехал сначала в Будапешт, а потом в СССР, где выдвинулся как итальянист. Автор работ о Данте, о литературе барокко и др.

«...история с Пиотровским...» — Владимир Львович Корвин-Пиотровский (1891-1966), один из безусловно наиболее талантливых и своеобразных поэтов, дебютировавших уже в Зарубежье, не был «скандалистом», но в некоторых отношениях был что называется «трудным» человеком, болезненно самолюбивым и обидчивым. В результате этой «истории» ни одно его стихотворение так и не вошло в «Якорь», и это не могло не быть воспринято как большое упущение, более заметное, чем включение отдельных посредственных поэтов и бледных стихотворений. Из примечания к следующему письму будет видно, что М. Л. Кантор отдавал себе в этом отчет. В обе позднейшие антологии зарубежной поэзии — «На Западе» и «Муза Диаспоры» — вошло по пяти стихотворений Пиотровского, причем выбор в обеих антологиях не совпадал. В 1968-69 гг. в издании В. П. Камкина (Вашингтон) вышло посмертно двухтомное собрание стихов Пиотровского «Поздний гость».

№ 16: АДАМОВИЧ — КАНТОРУ

Дорогой Михаил Львович

1 октября 35

Насчет Вяч[еслава] Иванова: примечание сделать, по моему, хорошо — но не в *тексте*, а в *оглавлении* или в «би-

ографич[еских] данных». Формально — это то же и так же нас пугает, — а приятнее.

Пиотровскому, на мой взгляд — не отвечать ничего и *passer outre*. Я бы на Вашем месте не стал ничего его и спрашивать.

Получили корректуру? Да, о словах «эмигрантской» и «зарубежной». Я не совсем согласен с Вашим предложением второго слова — и не заметил ошибки в заметке в газете. «Зарубежное» — говорится так, будто в «эмигрантском» есть что-то стыдное. Понятие то же, но слово более вуалированное, его охотнее употребляют. По моему надо ставить точки над *i*. Ведь в естественном разговоре никто никогда «зарубежная» не скажет: всегда «эмигрантская». Появляется же эта зарубежность только в условно-печатной, обезличенно-пристойной речи. Я за «эмигрантскую» поэзию: точнее, живее, проще.

Я надеюсь быть в Париже 11-го, в пятницу. Тогда же Вам позвоню.

Ваш Г. А.

«Насчет Вяч. Иванова» — примечание было сделано, как предлагал здесь Адамович, в оглавлении-указателе.

«Пиотровскому на мой взгляд...» — М. Л. не последовал совету Адамовича и 6-го октября написал Пиотровскому, жившему тогда в Берлине, второе письмо. Он писал, что не может согласиться с поставленным Пиотровским условием «количественного равноправия» с другими поэтами, а потому, так как он ставит это непременно условием, ему пришлось подчиниться и «вовсе отказаться от помещения Ваших стихов в Антологии». К этому Кантор прибавлял: «Верьте мне, что я делаю это с искренним сожалением и что исключение Ваших стихов я считаю для нас истинной потерей». Оба письма Пиотровского и копии обоих ответов М. Л. Кантора сохранились в его архиве.

«...о словах 'эмигрантской' и 'зарубежной'...» — «Якорь» был назван «Антологией зарубежной поэзии», как хотел М. Л. Кантор. Это словоупотребление шло, однако, вразрез с общепринятым в Советском Союзе, где это слово служит синонимом слова «иностран-ный», и было бы лучше, если бы составители «Якоря» сказали: «русской зарубежной поэзии».

РУССКИЕ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ПОЭТЫ

Приступая к краткому обзору русской поэзии, выросшей на китайской почве в пореволюционные годы (1920-1950), должен оговориться, что, хотя мне известно около шестидесяти имен поэтов, как пользовавшихся широким признанием в дальневосточных центрах русского рассеяния — Харбине, Шанхае, Тяньцзине и Пекине, так и малоизвестных и оставшихся вовсе незамеченными, я намерен ограничиться только поэтами, издавшими собственные сборники или хотя бы участвовавшими в изданной в Шанхае в 1946 году антологии «Остров», по своему уровню превзошедшей все ранее изданные на Дальнем Востоке антологии. Упомяну и об очень немногих одаренных поэтах, своих книг не издавших.

О поэтах двадцатых годов мне известно очень мало — и только «из вторых рук» — так как мое первое выступление во «взрослой» печати относится к 1930-му году (а было мне тогда 17 лет), но назову уже тогда признанных Арсения Несмелова, Алексея Ачаира, Всеволода Иванова, Марианну Колосову. С. Ф. Степанов (первый по времени поэт, переводивший на русский язык классическую поэзию Китая), Сергей Алымов и Яков Аракин тоже выступили на поэтическую арену в первые годы беженства.

В тридцатые и сороковые годы сборники стихов выпустили (в алфавитном порядке фамилий): Лариса Андерсен («По земным лугам...»), Алексей Ачаир («Первая книга стихов», «Лаконизмы», «Полынь и солнце» и «Тропы»), Мария Визи (два сборника, оба озаглавленные просто: Стихи), Г. Горностаев (Н. А. Сетницкий — «Лицо эры»), Фаина Дмитриева («Цветы в конверте»), Александр Жемчужный («Северные цветы», «Холодные зори»), Марианна Колосова («Армия песен», «Медный гул», «Не покорюсь!» и «Господи, спаси Россию!»), Ю. В. фон Крузенштерн-Петерек (Стихи), Василий Логинов («Створа триптиха»), Елена Недельская («У порога», «Белая роща»), Арсений Несмелов («Кровавый отблеск», «Без Рос-

сии», «Полустанок» и «Белая флотилия», поэмы «Через океан» и «Протопопица»), Василий Обухов («Песчаный берег»), Изид Орлова («Черные иммортели» под псевдонимом Кши-жанна Зороастра, потом «Мистические розы»), Валерий Перелешин («В пути», «Добрый улей», «Звезда над морем» и «Жертва»), Наталия Резникова («Песни земли» и «Ты»), Григорий Сатовский-Ржевский («Золотые кораблики»), Николай Светлов («Сторукая»), Ольга Тельтофт («Бренные песни»), Лидия Хаиндрова («Крылья», «Ступени», «На распутьи»), Черниловская-Сокол («Тебе») и Михаил Щербаков («Отгул»).

Лариса Андерсен совмещает «вещность» с проникновением в тайники психологии, сложность и тонкость рисунка с продуманной архитектоникой замысла. Одно из ее лучших (и наиболее характерных) стихотворений — «Зеркала» (в антологии «Остров»).

Алексей Ачаир — поэт разнообразный, от тем казачьих пришедший к темам стихийного движения России на восток, поэт доброй воли и гуманности, часто умевший облечь свои замыслы в одежды великой гармонии и музыкальности. В его менее удачных вещах преобладает нота назидательности, но мы оцениваем поэта не по его срывам, а по его способности иногда приблизиться к совершенству.

Мария Визи — воплощение тихости и какой-то тяги к самообезличиванию (безликой кажется и ее обычная подпись «М. Визи»). Ее тонкие, очень высокие по ремеслу стихотворения появляются в печати и теперь, и ее Муза радуется «лица необщим выраженьем».

Марианна Колосова подписывала этим именем свои лучшие стихи, и это были стихи в мажорном тоне, стихи о долге, о мужестве, о непримиримости. Было в ней некое кликушество, одержимость одной высокой идеей. Писала она также и «женские» стихи, но подписывала их гетеронимами «Джунгар» или «Е. Инсарова». Были в них отдельные находки, но сама Колосова никакого значения им не придавала. Писала их «для заработка».

Ю. В. Крузенштерн-Петерек печатается редко, но ее стихотворения всегда эмоциональны (даже больше, чем у Ларисы Андерсен), но также и умны. Поэтесса неуклонно растет: отделка становится более тщательной, исчезают риф-

моиды и ассонансы, и всё чаще в ее поэзии слышится биенье живого человеческого сердца.

Арсений Несмелов — крупнейший из дальневосточных поэтов. Как и Колосова, он жил своим литературным трудом, укрывался за гетеронимы, редактировал юношескую страницу, ежедневно давал стихотворный фельетон, писал даже стихи для рекламы ресторанов и врачей. Всегда страшно спешил, и этим объясняются его нередкие срывы, небрежность, недодержанность образов. В первый период (Москва и Владивосток) случались у Несмелова и северянинские ноты, но к тридцатым годам это был поэт трезвый, замечательный мастер и новатор (создал много чудесных гиперметрических строк и внес в свои стихи особую интонацию торопливого говорка). Поразительным было у Несмелова «чувство времени»: он знал о предстоящем — и скором — конце русской эмиграции в Китае, предвидел утрату русского характера единственным в мире русским городом на чужой земле — Харбином, умопостигал чрезмерное усиление ненавистного ему коммунистического строя, сумевшего оседлать творчески неисчерпаемые силы русского народа.

Николай Светлов был, пожалуй, самым ярким из поэтов чураевской антологии «Семеро» (Харбин, 1930), но в дальнейшем как-то поблек и был оттеснен на задний план.

О многих поэтах я не пишу — по разным соображениям: одни — в бывшей России, другие вообще не успели развернуться и созреть. Больно было бы писать о Григории Сатовском-Ржевском, скромном и кротком ценителе красоты, умершем в Харбине в крайней бедности. Больно было бы писать о ворчливом, неуживчивом, быстро опускавшемся Василии Логинове, о трагически погибшей в первые дни советской оккупации Ольге Тельтофт, о застрелившемся во Франции Михаиле Щербакове.

Лично я не знал одареннейшей Нины Завадской, рано умершей девушки, написавшей удивительное по мастерству стихотворение «Одна ночь» — об убийстве Ричардом III двух малолетних племянников. Сборника Нина Завадская не издала, но ведь не издали сборников ни Сергей Сергин, ни Николай Петерец, ни Николай Щеголев, ни Варвара Иевлева, ни Ирина Лесная, ни Мария Коростовец, ни Владимир Померанцев (ко-

торый, кстати сказать, не имеет никакого отношения к советскому писателю В. Померанцеву). Не все дальневосточные поэты успели издать свои сборники, но это обстоятельство не мешает им по праву стать в первые ряды дальневосточных поэтов, — быть-может, и в ряды значительных поэтов русского Зарубежья в целом.

Большинство этих имен было так или иначе связано с лучшим на Дальнем Востоке русским журналом «Рубеж», редактором которого до сороковых годов был М. С. Рокотов (Бибинов), ныне проживающий в Калифорнии. Сам не поэт, он обладал вкусом и был чрезвычайно широк и терпим. От поэтов он требовал, прежде всего, здравого смысла, не выносил жеманства и всякого рода «кувыркания под куполом»: выпирающих аллитераций, «рванных» строк, не разрешал начинать строки с маленькой буквы или пренебрегать знаками препинания. Многие поэты, начинавшие свой путь на страницах «Рубежа», навсегда сохранили благодарность этому на редкость доброжелательному и совсем «нестрашному» редактору за ту прививку внутренней дисциплины, которую получили от него и которая предотвратила их от уклонов в «невнятицу» и вошедший теперь в моду «формализм бесформенности».

Из вышеперечисленных поэтов только Ю. В. Крузенштерн, А. Жемчужный, И. Орлова, М. Щербаков и Черниловская-Сокол, кажется, никогда не включались в сферу влияния «Рубежа».

Огромное формирующее влияние на поэтическую молодежь тридцатых годов оказал кружок Чураевка. Первоначально созданная Алексеем Ачаиrom как будто бы для работы по линии сибирского и уральского регионализма, Чураевка уже в начале тридцатых годов, когда в кружок влились новые силы (Николай Щеголев, Л. Андерсен, Николай Петерец, Сергей Сергин, Валерий Перелешин, Владимир Слободчиков и другие), отвергла казачьи мотивы и северянинские ноты. В начале 1933 года Чураевка объявила своим учителем Гумилева (хотя идеолог этой «революции» Н. Петерец по секрету признавался мне, что лично ему был более созвучен Георгий Иванов).

Под консервативным руководством Н. Петереца и В. Перелешина Чураевка стала школой поэтического ремесла. Гумилевское знамя обязывало к добросовестной работе над сти-

хом, к серьезности тона, к ясности и последовательности, но по-настоящему акмеистом — и на много лет — стал один В. Перелешин. У всех других рано наметился отход от акмеистического метода, и едва ли можно сказать, что Л. Андерсен, Н. Петерц, Л. Хаиндрова или Н. Щеголев когда-либо были в полной мере акмеистами. До конца остался верен акмеизму в его романтическом разрезе В. Обухов, умерший в 1945 году. У него есть и нарядность, и яркие краски, и по тону он всегда оставался «кавалером де Гриэ», но, в общем, не перерос стадии ученичества.

В первую половину тридцатых годов в поэтической панораме Харбина преобладают из старшего поколения А. Несмелов, А. Ачаир, М. Колосова, В. Логинов, В. Иванов (значительный поэт и прозаик, умерший в Хабаровске 9 декабря 1971 года), а из молодых — Л. Андерсен, В. Перелешин, Н. Петерц, Н. Резникова, Л. Хаиндрова, Н. Щеголев. Эти имена постоянно встречаются и на страницах «Рубежа».

«Духовный отец» Чураевки, А. Ачаир, стоял в тридцатых годах в известной оппозиции к этой молодой плеяде. А. Несмелов и В. Иванов скорее поощряли молодых. В. Логинов то сближался с чураевцами, то от них отмежевывался. Особняком стояла М. Колосова — чрезвычайно талантливая, но раз навсегда запретившая своей музе петь о чем-либо, кроме любви к России и ненависти к ее поработителям. М. Колосова изредка появлялась на открытых собраниях Чураевки, но в ее работе не участвовала. Не примыкал к Чураевке непосредственно, но был дружен со многими чураевцами Г. Сатовский-Ржевский, и к тридцатым годам от нее успел несколько отдалиться В. Обухов. Вокруг чураевского ядра вращалась довольно многочисленная группа еще более молодых, из которых одна Ольга Тельтофт впоследствии выпустила сборник стихов.

Никогда не входил в Чураевку единственный харбинский поэт, бывший ко времени основания кружка известной величиной — гордый Арсений Несмелов, поэт крупного масштаба, глубокий, проникновенный, зоркий, временами почти ясно-видящий.

Декабрь 1934 года ознаменовался трагедией в жизни Чураевки. Кроткий С. Сергин (Петров) и бывший чураевец Георгий Гранин (Сапрыкин) вместе покончили самоубийством. Психологическая сторона этого события так и осталась не

до конца разгаданной. Эта трагедия послужила поводом к яростной кампании против Чураевки, которую возглавила японская газета «Наш путь», номинально издававшаяся «Всероссийской фашистской партией», и эта травля скоро привела к тому, что Христианский Союз Молодых Людей, с первого дня существования Чураевки предоставлявший ей помещение, был вынужден закрыть кружок.

Еще в двадцатых годах чураевцы и примыкавшие к ним поэты издали антологию «Лестница в облака», затем антологию «Семеро». Теперь же, после смерти Сергина и закрытия Чураевки, вышла антология «Излучины», участниками которой были пятеро бывших чураевцев и привлеченный к незримому участию Сережа Сергин.

Правда, «Рубеж» продолжал существовать, но бывшие чураевцы устремились на юг, где японская оккупация еще не ощущалась так тяжело, как в Маньчжурии. В Шанхай уехали Л. Андерсен, О. Тельтофт, Л. Хаиндрова, Н. Петерц, Н. Щеголев. В. Перелешин уехал в Пекин, а в ноябре 1943 года тоже появился в Шанхае, и это обстоятельство послужило сигналом к оживлению там поэтической работы.

Уже через несколько недель после приезда Перелешина в Шанхай Н. Петерц создал там литературный кружок Пятница, собиравшийся еженедельно более двух лет. Здесь объединились Л. Андерсен, Варвара Иевлева, Мария Коростовец, Ю. В. Крузенштерн-Петерц, В. Перелешин, Н. Петерц (умерший в 1944 году), В. Померанцев, Л. Хаиндрова и Н. Щеголев.

Существовали в Шанхае и другие литературные объединения: у В. Валя (Присяжникова) собирался Понедельник, у Александры Паркау — Среда. Теперь средоточие дальневосточной поэзии переместилось в Шанхай. Некоторые из перечисленных выше сборников были изданы в Шанхае, другие напечатаны в Харбине, когда их авторы уже жили в Шанхае. И уже после войны стихи Е. Е. Яшнова были изданы в Шанхае его вдовой, Л. Г. Бессоновой.

Между тем, поэзия не умерла и в Харбине, где оставались Несмелов, Ачаир, Логинов, Сатовский-Ржевский, Обухов и появились новые имена — Елена Недельская, Елена Даль (Плакеева), Людмила Наполова. Их стихи печатались в «Рубеже» и «Луче Азии», в сборниках «Прибой», «У родных рубежей» и др.

Смертельный удар русской литературе в Маньчжурии был нанесен советской оккупацией в августе 1945 года, когда были разгромлены последние уцелевшие при японцах русские учебные заведения и когда огромными кострами сгорели библиотеки ХСМЛ и Коммерческого Собрания. Это был конец не только для поэзии, но и для большинства поэтов. Насильно увезены из Харбина в СССР были Несмелов (умер тогда же) и Ачаир (умер около 1965 года). Умерли Логинов, Сатовский-Ржевский, Обухов, Я. Аракин (от голода на крыльце чужого дома), Ольга Тельтофт.

В Шанхае поэтическая деятельность русских тоже закончилась в начале пятидесятих годов. Уехали в СССР В. Иванов, Щеголев, Хаиндрова, Слободчиков, Иевлева (умерла вскоре), Светлов (умер в шестидесятих годах), Лев Гроссе (умер в тюрьме), В. Померанцев (исчез бесследно).

Остальные рассеялись кто куда. Ю. В. Крузенштерн-Петерц, Мария Визи, Н. Резникова, Виктория Янковская, Людмила Наполова, М. Волин живут в США, Л. Андерсен — во Франции, И. Орлова — в Аргентине, В. Перелешин — в Бразилии, Мария Коростовец, Е. Недельская и А. Жемчужный — в Австралии, Елизавета Рачинская — в Лондоне, Ирина Лесная — в Парагвае. Кирилл Батулин умер в Нью-Йорке в 1971 году. Марианна Колосова умерла в Чили.

Поэты не подлежат классификации по признаку географического соседства. Мало общего у Несмелова с Ачаиром или Колосовой. Однако общего у этих поэтов с поэтами групп парижской, пражской, эстонской или берлинской еще меньше. У Ачаира, Несмелова, Колосовой, Крузенштерн, Сатовского-Ржевского есть некая общая нота, которую я назвал бы «горечью изгнания». Своеобразие Логинова — в темах освоения Сибири. Андерсен женственна, но подчас очень глубока. Просто очень женственна Н. Резникова. И. Орлова тянется к мистицизму. В общем, почти каждый своеобразен, почти у каждого свое лицо, свой голос или хотя бы своя нота.

Есть у русских поэтов Китая еще одна почти общая черта, но черта скорее отрицательного порядка. В то время, как русские поэты в Европе не могли не войти в общение с культурой приютивших их стран, в Китае у русских поэтов не произошло сближения с древней культурой этого самобытного народа. Причина в том, что китайским языком овладели только

С. Ф. Степанов, Н. Светлов и В. Перелешин, а все остальные, в лучшем случае, только скользнули по поверхности этой неисчерпаемой сокровищницы. Важным обстоятельством было и то, что Китай нисколько не стремился поглотить ничтожное по численности русское меньшинство, но просто его игнорировал. Со своей стороны и русские игнорировали Китай, ошибочно полагая, что изгнание скоро закончится.

Вот почему русские поэты Дальнего Востока остались «сами по себе» из-за дальности расстояния и не откликались на новые веяния, возникавшие хотя бы в Париже. Они принесли с собою из России символизм и акмеизм, влияние Маяковского, Есенина, Пастернака и даже Северянина, а затем изживали эти влияния каждый по-своему и в разной мере.

В настоящее время от пестрой плеяды русских поэтов, писавших в Китае, уцелели в свободном мире, как поэты, — Лариса Андерсен, Мария Визи, Михаил Волин, Ю. В. Крузенштерн-Петерец и Валерий Перелешин. Все эти имена встречаются на страницах зарубежных журналов и газет.

Остальные — И. Орлова, И. Лесная, М. Коростовец, Л. Наполова, А. Жемчужный, Е. Рачинская, Н. Резникова; В. Янковская и другие, как поэты, замолкли. Но и те, чьи имена встречаются в печати, давно перестали быть поэтами дальневосточными. Теперь все они — поэты всего русского Запада.

Валерий Перелешин

СООБЩЕНИЯ И ЗАМЕТКИ

И. А. И В. Н. БУНИНЫ В КАНУН ЭМИГРАЦИИ

Из дневника В. Н. Буниной

Публикация Л. Ф. Зурова

Приводимые ниже два отрывка из дневника Веры Николаевны Муромцевой-Буниной с поразительной яркостью передают атмосферу, в которой встречалась Пасха на родине перед уходом Буниных в эмиграцию. То, что произошло в Москве весной 1918 г. и в Одессе весной 1919 г., перекликается с замечательным рассказом А. Солженицына «Крестный ход в Переделкине», относящимся уже к нашему времени. «Окаянные дни», увы! продолжают. И ясно, что для Ивана Алексеевича и Веры Николаевны Буниных эмиграция началась духовно не на английском пароходе в Черном море в 1920 г., а в Москве в 1918 г. Л. З.

«К весне 1918 г., особенно после Брестского мира, большевики стали держать себя в Москве как дома и становилось тяжело дышать...

Пасха была поздняя — 22 апреля. Первое мая нового стиля пришлось в среду на страстную. Большевики истративши много денег на праздник пролетариата отметили его, как и подобает в подобных случаях, красным цветом, шествиями, музыкой, пением интернационала рабочими и работницами, которые, приплясывая, нестерпимо перевирая мотив кричали: вперед, вперед, вперед!... иллюминацией, и всю ночь Москва, давно уже с заходом солнца погружавшаяся во тьму, пылала всеми огнями до самого рассвета. А в Святую ночь новые хозяева не только решились нарушить вековой обычай — лишить москвичей Кремля и волнующих полновесных ударов Ивана Великого, — но даже ради такого Большого праздника не позволили хотя бы скудно осветить первопрестольную. И все мы, пробиравшиеся в полной темноте в свои приходы или в соседние

Эту публикацию, приготовленную покойным Л. Ф. Зуровым, мы получили от его душеприказчицы М. Э. Грин из его архива. РЕД.

церкви, ежеминутно оступались, спотыкались, — уже дворники или как их было приказано величать «смотрители двора» — ничего не делали, на тротуарах не скалывали льда, который и образовал неровные бугры.

Мы с Яном были у Николе на Курьих Ножках. Родители не рискнули пробираться в темноте. Маленькая уютная старинная церковка была полна народом. Когда мы вошли в нее, пели «Волною морскою», и слова «гонители» и «мучители» отзывались в сердце совершенно по-новому. Настроение было совершенно непасхальное. Многие плакали. И первый раз «Христос Воскресе» не вызвал праздничной радости. И тут может быть мы впервые ясно ощутили и поняли, что дышать с большевиками одним воздухом невозможно...»

6/19 апр. 1919 г.

«...Часов в одиннадцать мы с Яном идем в архиерейскую церковь к заутрене. Улицы темны и пусты, жутко пробираться по ним, попадают навстречу люди, пугливо озирающиеся по сторонам. Откуда-то доносятся выстрелы. Вот мы и перед церковной оградой, в воротах сталкиваемся с толпой хулиганов, в шапках на затылок, которые с гоготом и бранью проходят мимо нас.

Ян говорит: — Нет, не могу, пойдем домой, — это невыразимо тяжело!

Дорогой он рассказывает мне, что вечером он пошел в церковь на базаре, и стоял там как каменный, не зная что делать. Прошел батюшка, посмотрел на него пристально. Ян вышел из церкви, сел без шапки на паперти и снова окаменел, чувствуя лишь отчаяние.

Вот и светлая ночь! Сажу одна и пишу. Ян затворился в своей комнате, вероятно тоже не спит. Не спят, конечно, и в Москве... Но кто жив из близких? Лучше не думать...»

О ЧЕНСТОХОВСКОЙ ИКОНЕ БОГОМАТЕРИ

В связи с празднованием тысячелетия крещения польского князя Мешка в 966 году, в заграничной прессе часто упоминалась «статуя Черной Богородицы». Тут странное недоразумение: никакой «статуи Черной Богородицы» не существует, а речь идет о глубоко почитаемой в Польше *иконе* Богоматери, находящейся почти шесть веков в монастыре в Ченстохове, которую в 1966 году возили в Варшаву. Поляки всегда называют ее: «Пресвятая Богоматерь (Матка Бозка) Ченстоховская».

Интересно напомнить, что это икона византийского письма, о чем свидетельствуют греческие буквы: МР ΘΥ, находящиеся на ней. В монастыре рассказывают даже, что она была написана еванге-

листом Лукой. Однако историкам известно, что в 1382 году последний венгерский наместник в Галиции, силезский князь Владислав Опольский, покидая эту страну, взял икону из города Белза и передал ее основанному им монастырю паулинов в Ченстохове. Следует поговорить о Белзе, городке на речке Жолкви, притоке Солокии, впадающей в Западный Буг. Он был с 1772 года в составе австрийской Галиции, а сейчас находится на советской территории, недалеко от польской границы. Это один из древнейших русских городов. В 1030 году Ярослав Мудрый отнял у поляков Белз, и с тех пор этот город был частью Червенской земли. В нем сидели свои князья, сперва сын великого князя Мстислава II — Всеволод, упомянутый еще в 1213 году, затем его сын Александр, у которого его отнимал Василько, брат Даниила Галицкого. В 1230 году Александр Всеволодович опять получил Белз и Червень. У Александра был сын Всеволод, подчинившийся Даниилу Галицкому, а в 1288 году в Белзе, Червне и Холме княжил внук Даниила, Юрий Львович: видно, что Белз в это время был как-будто значительнее Холма. Надо напомнить, что в XIII веке Галицко-Волинская земля, сравнительно пощаженная татарским нашествием, богатели и развивалась. Та же летопись подробно рассказывает о чудных иконах Спаса и Богородицы во многих церквах, построенных королем Даниилом в Холме и его племянником Владимиром Васильковичем в волинских городах. Одни были написаны на золоте, другие украшены дорогими камнями, жемчугом и золотом. Белзская икона Богоматери, ставшая Ченстоховской, вероятно, была написана в XIII веке, если не раньше, и является древнейшей русско-византийской иконой после знаменитой Владимирской, которая была привезена из Царьграда в 1140-х годах вместе с исчезнувшей Богородицей Пирогощей.

Укажем, что у Всеволода Александровича Белзского не было сыновей, а что дочь его Гремислава вышла замуж за князя Болеслава Опольского, умершего в 1314 году. Владислав Опольский был ее родным внуком: он и взял эту икону, перед которой молились его прадед и бабка, как семейную реликвию, и увез ее в Польшу.

В Ченстоховском монастыре она не сразу приобрела всеобщее почитание. В 1430 году, когда Польшу затронуло гусситское движение, один пан-гуссит ограбил монастырь и нанес иконе два удара саблей, следы которых и сейчас видны на правой щеке лика Богоматери. Посетивший Польшу в 1516 году, проездом в Россию, Сигизмунд Герберштейн, пишет, что эта икона находится в большом почитании «особенно у Русинов». Она прославилась в 1655 году, когда Польша была занята шведами, но монастырь выдержал долгую осаду, так же как и Троице-Сергиевская лавра. Семьдесят монахов и сто пятьдесят воинов, под начальством геройского ксендза Кордецкого, дали отпор девяти тысячам шведов, которые после этого

были изгнаны из страны. Эта славная защита была описана самим Кордецким в книге «Новая гигантомахия», а позднее Генрихом Сенкевичем в его романе «Потоп». Польская победа была чудом этой иконы, и она стала палладиумом Польши. Сотни тысяч богомольцев стекались к ней в XIX веке и продолжают это паломничество и теперь; ее именно и возили по Польше в 1966 году, что не нравилось коммунистическим властям, решившим, на зло католикам, устроить гражданское празднование «тысячелетия польского государства», наперекор истории, свидетельствующей, что уже в 963 году князь Мешко одержал победу над немцами, а что государство создано еще при Пясте, в середине IX века.

Проф. Александр Соловьев, Женева

П. И. ЧАЙКОВСКИЙ И ЕГО МУЗЫКА

Русская Музыка может гордиться целым рядом гениальных и талантливых композиторов, — достаточно назвать Глинку, Даргомыжского, Мусоргского, Бородина, Римского-Корсакова, Рахманинова, Скрябина, Стравинского. Но можно смело сказать, что наиболее известным, наиболее популярным из них не только у нас, но и во всем мире является Петр Ильич Чайковский.

Его творчество отличается редкой искренностью и безыскусственностью, а вместе с тем целостностью и постоянством основных черт. Вся его духовная жизнь нашла свое выражение в музыке, вся его биография тесно связана с его творчеством.

Напомним основные некоторые данные его биографии. П. И. Чайковский родился в 1840 г. на Урале, где его отец, военный инженер, был директором литейного завода. По отцу он потомок украинского казака Чайки, участника Полтавской битвы, получившего при Петре Великом дворянство. Мать П. И. Чайковского — Александра Ивановна Дасьер — была внучкой французского эмигранта. Может быть, эта примесь французской крови объясняет, почему у Чайковского его славянская чувствительность тесно сливается с западной четкостью формальной структуры его произведений.

Чайковский вступил в жизнь в первые годы царствования Александра II, в эпоху великих реформ. Под влиянием нового направления зарождается общее стремление служить народу всею силой своих способностей. В литературе появляются лучшие труды молодого Льва Толстого, Достоевского, Тургенева, Некрасова.

В музыке Даргомыжский провозглашает «правду выражения» идеалом искусства: «музыка должна быть средством выражения чувства и эмоций». Это направление вело к народническому натурализму и к некоторому пренебрежению западной школой.

Прекрасно окончив СПб-ю консерваторию в 1866 году, Чайковский был назначен профессором теории музыки в Москве и с того времени жил там, всецело посвятив себя музыке. С 1867 года, когда с большим успехом прошла его увертюра «Ромео и Джульетта», он в течение 26 лет своей довольно короткой музыкальной жизни неустанно творит. Работая минимум по пяти часов в сутки над писанием, переписыванием и инструментовкой своих трудов, он создал очень много, хотя и не все его творения на одной высоте: рядом с гениальными были и вещи случайные, написанные по заказу, в том числе некоторые балеты.

В начале своего творчества Чайковский находился под влиянием идеолога «могучей кучки» Балакирева, давшего ему сюжет для «Ромео и Джульетты». Но вскоре он разошелся с «кучкой», не соглашаясь с ее радикализмом и пренебрежением к западу. Пройдя серьезную школу, Чайковский научился ценить западноевропейскую технику и все наследие великих мастеров. И все же он остался истинно-национальным талантом. Дух народности не состоит только в обработке народных попевок и в искании чисто народных мелодических и гармонических приемов. Народническое направление в музыке целиком связано с народной песней, поэтому оно может создать прекрасные оперы, хоры и романсы. В этом сила «могучей кучки», особенно гениального Мусоргского.

Но столь же ценно и другое направление, когда композитор создает чисто инструментальную музыку, освобожденную от слов. Тогда ему трудно остаться на фольклорной почве, так как простому народу неизвестна симфоническая музыка.

Никто не станет упрекать Бетховена в том, что он мало национален, что он мало обрабатывал ниже-австрийские или рейнские мотивы. Он ими пользовался иногда, но он поднимался над этим материалом, создавая силою своей индивидуальности творения, которые подчиняют каждого человека. Так же творил и Чайковский. Он любил пользоваться народными мотивами, особенно в операх, из которых некоторые написаны на фольклорные и исторические темы, например «Опричник», «Чародейка», «Кузнец Вакула», но вершина его творчества не в этих операх.

Чайковский воспекает и национальные идеалы. В «Мазепе» он прославляет Петра I симфонической картиной Полтавской битвы. Изобразил и блеск Екатерининского двора в «Черевичках» и в «Пиковой даме». Сюда относится и увертюра «1812 год».

Он увлекается и церковными песнопениями. В своей «Литургии» и, в особенности, во «Всенощном бдении» он отходит от итальянских влияний к строгим старо-церковным мелодиям и гармониям. Его «Литургия» была поэтому даже воспрещена к исполнению дирек-

тором Придворной капеллы Бартеневым, сторонником итальянского пения.

Но мировое величие Чайковского все же не в этих патристических и церковных творениях. Главная заслуга его в том, что он дал русской музыке шесть величественных симфоний, три концерта для рояля с оркестром, один скрипичный концерт, четыре сюиты, четыре квартета, отличное трио и целый ряд симфонических увертур. В этих произведениях Чайковский блестяще справился с классическими формами западноевропейской техники.

Его значение — «в соединении русского звукоощущения с западными достижениями», по выражению музыкального критика Игоря Глебова.

В слиянии тонкого понимания русской души и западного богатства форм Чайковский нашел то «золотое сечение» и ту гармонию, благодаря которым отдельные его творения поднялись на вершины всей европейской музыки. Он близок душе и сердцу каждого культурного человека, так как он говорит «понятным сердцу языком» о самом значительном в жизни: о бесконечной силе и тоске любви, о вечной красоте, о борьбе человека с судьбой и о тайне неумолимой и неизбежной смерти. И он победил смерть именно тем, что так глубоко и сильно выразил ее, приобретя право на бессмертие.

Чайковский был чутким музыкальным критиком. В своих статьях он проникновенно писал о творчестве любимых им Моцарта, Бетховена, Шумана, Грига. Мы можем в заключение привести его слова о Бетховене, которые можно применить и к симфониям Чайковского: «Он говорит нам о муках человеческой души в борьбе с судьбой и с лишением земной жизни. В своих симфониях композитор стремится выразить убеждение, что если человеческая душа бессильна и осуждена на вечные терзания и муки, все же в конце концов в мире дух побеждает тело, жизнь побеждает смерть, небо побеждает землю!»

Проф. Александр Соловьев, Женева

БИБЛИОГРАФИЯ

ПО ПОВОДУ КНИГИ Д. С. АНИНА

Д. С. АНИН. «Революция 1917 г. глазами ее руководителей». Изд. «Аврора». Рим. 1971 (стр. 528).

Публицист Давид С. Анин является наиболее часто цитируемым автором русского происхождения в советских исторических журналах и книгах о революции 1917 г. Как правило в СССР принято замалчивать исследования ученых из русской эмиграции, но исключение, которое делается в отношении Д. Анина, объясняется очень просто: большая эрудиция Д. Анина, знание как западной так и советской литературы и его необыкновенная способность находить всегда ахиллесову пятю бесконечно меняющихся советских схем и концепций истории революции 1917 г. провоцируют советских историков вступить с Аниным в полемику. Еще большую реакцию ждет в СССР данная, во всех отношениях отличная, книга. Я не сомневаюсь, что она найдет дорогу и к рядовым советским читателям через самиздат.

Будучи переведена на иностранные языки, она безусловно станет весьма полезным учебным пособием в университетских семинарах, изучающих историю СССР. Не меньшее значение она имеет и для массового читателя. Устами руководителей революции 1917 г. и своими введением и заключением, основанными на новейших исследованиях и публикациях на Западе и в СССР, Д. Анин дает убедительные ответы на вопросы: почему пала царская династия, почему погибла первая русская демократия, почему победили Ленин и Троцкий.

Тем более обидно, что Д. Анин механически повторяет некоторые предрассудки, укоренившиеся в западной литературе о революции, о большевицкой партии и о Ленине, предрассудки, которые легко опровергаются документами эпохи.

Я остановлюсь здесь на трех таких предрассудках: 1. О «неожиданности» революции для Ленина, 2. Ленин как «бланкист-бакуинец», 3. Октябрьский переворот — переворот Ленина и Троцкого против воли ЦК большевиков.

Анин пишет: «Известно, например, что несмотря на разработанные им теории, Ленин сам сомневался в возможности близкой революции в России. Так за два месяца до революции в одном из своих выступлений в Цюрихе он заявил: «мы, старики, быть может до

грядущей революции не доживем» (стр. 46). Эту якобы ленинскую цитату автор приводит из вторых рук (из книги Мельгунова), но, во-первых, цитата не точна, во-вторых, на основании одной случайной, из контекста вырванной цитаты, нельзя делать такой фундаментальный вывод, какой Анин, вслед за некоторыми западными историками, делает: для Ленина революция 1917 г. была неожиданностью. Ведь в том и заключается вся суть ленинизма, что любая большая война, особенно мировая война в «эпоху империализма» есть источник революции. Ленин ни на секунду не сомневался в том, что в конце первой мировой войны в Европе, в том числе и в России в первую очередь («слабое звено»!) обязательно вспыхнет революция. Как доказательство этого тезиса можно привести из Ленина не одну, а тысячи цитат и даже целую книгу «Империализм, как высшая стадия капитализма» (написана весной 1916 г., вышла в апреле 1917 г.). В этом нет нужды. Приведем только цитату из того доклада Ленина в январе 1917 г., на который ссылается Д. Анин. Там Ленин говорит: «Нас не должна обманывать теперешняя грубая тишина в Европе. *Европа чревата революцией...* Ближайшие годы как раз в связи с этой хищнической войной приведут в Европе к *народным восстаниям*». Далее идет то место, которое цитирует наш автор: «Мы, старики, может быть не доживем до *решающих битв* этой грядущей революции» (Ленин, т. XIX, стр. 357, 3 изд.). В ленинском понимании мы не дожили «до решающих битв» даже сегодня, ибо под «решающими битвами» Ленин имел в виду торжество европейской или даже мировой революции. Наш автор, выключив из цитаты слова «решающие битвы», делает академически опрометчивый и исторически неверный вывод: революция 1917 г. явилась для Ленина неожиданностью. Я не помню сейчас, как цитирует Ленина С. Мельгунов и как он трактует вопрос о «неожиданности» но С. Мельгунов, добросовестный исследователь эпохи 1917 г., вполне мог ошибиться в данном случае, тем более, если он не знал публицистического творчества Ленина в целом.

Приведу еще одну цитату из статьи Ленина от 31 января 1917 г., которая называется «Поворот в мировой политике». В этой статье категорически сказано: «Революционная ситуация в Европе налицо» (там же, стр. 385). Более того, Ленин в той же статье называет политиков, которые составят новое революционное правительство, если царь заключит сепаратный мир с кайзером. Ленин говорит, что это правительство будут возглавлять «Милюков и Гучков, если не Милюков и Керенский». (Там же, стр. 381). Когда эти политики пришли к власти и без сепаратного мира, но в результате народной стихийной революции, то Ленин внес в свой прогноз лишь один корректив: «Оказалось и-и: все трое вместе. Премило!..» (там же, т. XX, стр. 5-6).

Д. Анин думает, что не только Ленин за границей, но и большевики в России были застигнуты врасплох начавшейся революцией. Увы, и это утверждение опровергается десятками документов. Здесь приведем только одну выдержку из письма Бюро ЦК большевиков в Петрограде, которое глава этого Бюро А. Шляпников направил Ленину 11 февраля 1917 г. В этом письме говорится: «Политическая борьба с каждым днем обостряется. Недовольство бушует по всей стране. Со дня на день может вспыхнуть революционный ураган... Настроение угрожающее...» (журнал «Вопросы истории КПСС», № 9, стр. 81, 1965).

Не прав Д. Анин и в том, что в дни октябрьской революции «большевицкой партией руководил не ЦК» (стр. 493). Раз это так, то и октябрьской революцией у Анина руководит не ЦК, а «группа большевицких активистов, инспирируемых Лениным, и группа «межрайонцев», возглавляемых Троцким». Ленин, по мнению Анина, на путях к восстанию «игнорировал» ЦК, а обращался через его голову к «отдельным товарищам», «ЦК как бы перестало существовать» (стр. 494). К сожалению, Д. Анин игнорирует столь решающие источники, опровергающие данное утверждение, как протоколы заседаний ЦК за сентябрь, а также решающие заседания ЦК 10, 16, 20 и 24 октября. Он игнорирует также и письма Ленина в ЦК от 12-14, 13-14, 29 сентября и 24 октября, в которых ставится один и тот же вопрос именно перед ЦК: восстание. Не только Ленин, но и Троцкий не мыслит этого восстания иначе, как под руководством ЦК и через его первоклассную разветвленную сеть партийных, советских, профсоюзных и военных ячеек.

Поскольку в «Новом журнале» печатались мои статьи на эту тему, основанные на анализе протоколов ЦК и писем Ленина в ЦК, я не вижу необходимости доказывать ту истину, что без большевицкой машины во главе с ЦК не было бы и большевицкой революции. Другое дело, как туго эта машина шла на восстание, как беспрестанно и настойчиво Ленин, что называется, из-под палки, толкал ее на восстание. Однако в сентябре правда была на стороне Ленина. Ленин, будучи оторван от партии и ЦК в своем финляндском подполье, не всегда верно оценивал ситуацию, предлагая преждевременно начать восстание. Ведь в стратегии Ленина всегда присутствует определенная доза авантюризма. Но знающий и ситуацию и свои возможности, ЦК всегда единодушно отводил советы Ленина, что и привело, в конце концов, Ленина в бешенство — 29 сентября он уже угрожал в письме ЦК уходом из его состава для организации по существу новой партии и нового ЦК.

У Ленина была и одна личная причина спешить с восстанием — он со дня на день ожидал ареста и суда из-за немецких денег. Он

хотел любой ценой и поскорее победить, хорошо зная, что победителей не судят. Восстание 25 октября назначил не Ленин, а тот же ЦК, когда оно по его убеждению назрело и могло быть проведено без риска. Это случилось на упомянутом заседании ЦК 24 октября под председательством Каменева, который раньше вместе с Зиновьевым вообще был против восстания. На этом же заседании были распределены члены ЦК по районам и точкам для непосредственного руководства восстанием, кроме Сталина и Зиновьева, которые не присутствовали на названном заседании и местопребывание которых в ночь на 25 октября остается до сих пор неизвестным. Так что помимо ЦК и против воли ЦК никакого восстания не было и не могло быть. Как Ленин спешил, как и почему ЦК его не послушался, Сталин рассказывал в 1920 г.: «несмотря на все требования Ильича, мы не послушались его... довели дело до съезда Советов 25 октября, до успешного восстания ...(потом) Ильич сказал: «да вы, пожалуй, были правы» (Сталин, т. 4, стр. 317-318)...

Спорной является, на мой взгляд, и характеристика, которую дает Анин Ленину, как «заговорщику-бланкисту и бакунинцу». Что Ленин был величайшим заговорщиком в истории, — спорить не приходится, но объявить его одновременно и бланкистом и бакунином — это значит делать незаслуженные комплименты по адресу Бланки и Бакунина и сравнивать величины несравнимые. Бланки, как конспиратор, был дилетант, а как глава партии кустарь-одиночка по сравнению с Лениным (в его лучшие времена Бланки имел армию заговорщиков 500-600 человек, а Ленин накануне Октября имел армию зарегистрированных с партбилетами заговорщиков 350 тыс. человек!)

Что же касается Ленина-«бакуинца», то такой ярлык «анархиста» никак не подходит к отцу тоталитаризма, величайшему государственнику и супер-абсолютисту, каким был основоположник нынешней большевицкой империи. Теперь одно тематическое замечание. Так как Д. Анин составил книгу-«хрестоматию» («Революция 1917 г. глазами ее руководителей»), то из нее никак нельзя исключить самые главные «глаза» — глаза Ленина, так же как нельзя исключить свидетельства или выступления в то время Мартова, Зиновьева, Каменева и Сталина. Они начисто отсутствуют у Анина. Ведь на революцию 1917 г. надо смотреть глазами обоих лагерей. Автор может возразить, что о Ленине и Сталине советский читатель хорошо осведомлен (книга адресована в первую очередь к нему), а о других он пишет в порядке разбора их позиции. Но писания названных лиц важны именно в данной книге для сопоставления позиций сторон. Еще более это станет важным, когда книга будет переведена на иностранные языки.

Мои критические замечания не умаляют значения большой ра-

боты, которую проделал Д. Анин. Книга Д. Анина сослужит великую службу в руках интеллектуальной оппозиции в СССР в деле осмысления вечной проблемы: «откуда пошла есть Советская Русь...».

А. Авторханов

А. Г. Достоевская. *Воспоминания*. Вступ. статья, подготовка текста и примечания С. В. Белова и В. А. Туманова. Москва, 1971. стр. 494.

Среди книг, изданных в связи со столетием рождения Достоевского, «Воспоминания» второй жены писателя в настоящем их переиздании, имеют особое значение. Редко чьи мемуары — описание жизни мужа — дают столь много сведений и интересных деталей из жизни и творчества, характера и обстановки великого человека, как эта книга. Известно, что самые важные произведения писателя («Игрок», «Преступление и наказание», «Вечный муж», «Идиот», «Бесы», «Дневник писателя», «Подросток», «Братья Карамазовы») стенографировались и переписывались женой Достоевского. Много ценнейшего биографического материала, слов и дел Феодора Михайловича сохранилось благодаря Анне Григорьевне. Весь облик творца «Идиота», психолога, нервно-раздражительного, но и благородно, самозабвенно доброго человека, проходит перед нами не легкой полупрозрачной тенью, а во плоти, во всех обстоятельствах жизни и неустанного горения его духа.

Начала свои воспоминания Анна Григорьевна в 1911 г., когда ей исполнилось семьдесят лет. Хорошо и проникновенно написали издатели о ней в своей обстоятельнейшей предисловии: «Актер Л. М. Леонидов так передает впечатление от встречи с Анной Григорьевной Достоевской: «Я увидел и услышал *что-то*, ни на что не похожее, но через это *что-то*, через эту десятиминутную встречу, через его вдову я ощутил Достоевского... Я ощутил около себя дыхание его, ДОСТОЕВСКОГО». О Достоевском было так много написано самого противоречивого. Тайна его личности манила к себе исследователей. «Достоевский в освещении современников непостоянен, переменчив, многолик; порой он представляется личностью отталкивающей, вызывающей острую неприязнь. А одновременно, на страницах других воспоминаний о писателе, лучезарно сияет лицо идеалиста, романтика, праведника».

Анна Григорьевна не погружается в трудно доступный мир видений Добра и Зла писателя, в его сомнения, его темное, порой, отчаяние, колебания и веру. Она дает часть правды, но «что особенно важно — именно ПРАВДЫ», пишут издатели. Всё в книге жены Достоевского описано точно, просто и по-настоящему аргументировано и доказано. Перед нами писатель в семье и своей частной жизни, среди родных, родственников и друзей. Анна Григорьевна вела

стенографически дневниковые записи, которые позднее были расшифрованы. Отсюда необычайная свежесть многих страниц. Так, из почти детски непосредственного дневника двадцатилетней женщины 1867 г., мы постепенно вступаем в семью Достоевских и сразу в трудное для нее время (долги, долги... кредиторы, заботы, беспокойства, болезни). Суть осталась, хотя кое-что в воспоминаниях смягчено, освещено несколько иначе. Годы взяли свое и дали многому свое объяснение.

В центре всех воспоминаний, пожалуй, описание эстетических идеалов и характеристика вкусов писателя (литература, живопись, музыка, журналистика). Необычайно живо и ярко всюду проступает и некий *романтический гуманизм* писателя и его нервная впечатлительность. Часто Анна Григорьевна справедливо возражает против фантастических измышлений кое-кого из «друзей» писателя. В «Воспоминаниях» четко и определенно выступает и деловитость, и ум, и практицизм жены Достоевского, сумевшей упорядочить буквально все дела непрактичного Феодора Михайловича и обеспечить семью. Беда настала лишь после слома всей жизни в России. Перенесли ее прах из Крыма в Ленинград только в 1968 году! Изданы «Воспоминания» прекрасно: красивая со вкусом сделанная обложка, хорошая бумага, отличная корректура и красивый художественный переплет, редчайшие фотографии украшают книгу. Однако, самым замечательным в этом переиздании книги Анны Григорьевны следует считать обстоятельность 296-ти примечаний составителей. Это исключительно ценная и большая работа сама по себе. Использовано многое-множество книг, журналов и газет, таких даже, как «Петербургский листок». Радует сердце осведомленность составителей примечаний в области почти необозримой — работ и воспоминаний о Достоевском. Ряд даже заграничных работ и воспоминаний о Достоевском русских и иностранных писателей и ученых не ускользнул от внимания С. В. Белова и В. А. Туманова. Важна и внимательная объективность ко всему, что сообщает Анна Григорьевна. Где она ошиблась, забыла или обошла кое-что, там были на страже и ученость и любовь к правде и истине. Да, редкая книга, прекрасная, увлекательная своей правдивостью и исторической складкой.

Р. Плетнев

Русская Академическая Группа в США. «ЗАПИСКИ», т. 5. Нью Йорк. 1971 (266 стр.).

Как известно, в 1971 г. исполнилось 150 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского. Этот юбилей был отмечен Русской Академической Группой симпозиумом, посвященным творчеству великого писателя.

Доклады, прочитанные на этом собрании, и составили главным образом содержание пятого тома *Записок РАГ*.

Статьи в сборнике делятся на четыре раздела: I. статьи о Достоевском, II. документы из русской истории, III. статьи о русской культуре и общие статьи, IV. из жизни РАГ.

Первый раздел содержит одиннадцать статей на английском и русском языках, касающихся творчества Ф. М. Достоевского. Глубока по содержанию статья проф. Н. С. Арсеньева: «Центральная тема творчества Достоевского», в которой автор рассматривает писателя как изобразителя «реальности страдающего Бога...» Статья проф. психиатрии М. Кэмпбелл интересна тем, что в наши дни, когда так модно прибегать к психоанализу для изучения творчества великих писателей, она показывает узость и односторонность такого метода, особенно в приложении к Достоевскому. Статья И. И. Дэнлопа «Бедные Люди Достоевского» написана очень живо и дает полное представление о романе, которым так восхищался Некрасов. Для студентов, изучающих сравнительную литературу, особый интерес представит статья Р. Хаука, «Достоевский и Хауфорт», в которой автор, противопоставляя два романа этих писателей, доказывает, что не все авторы поддаются сравнению и этим разбивает утверждения В. Астрова и К. Маннинга, нашедших много общего между этими русским и американским писателями.

Оригинальна в своих выводах статья проф. Г. Кругового, «Эвклидов метод в композиционном построении и идеологическом замысле романов Ф. М. Достоевского», еще раз доказывающая необыкновенную многогранность творчества писателя. Интересна также статья проф. С. Левицкого, «Фантастический реализм Достоевского» (об иерархической структуре его романов). В ней автор анализирует творчество Достоевского в его «вертикальном» разрезе, т.е. пытается уточнить параболу, что «произведения Достоевского развиваются не столько вширь, сколько вглубь», и этот анализ структуры романов писателя тесно связан с философским и психологическим значением его творчества. Эту же связь между Достоевским-художником и Достоевским-мыслителем показывает проф. Н. Натова в статье, «Некоторые сюжетные инварианты в произведениях Ф. М. Достоевского как выражение его идей». Тема добра и зла занимает одно из главных мест в произведениях Достоевского и ей посвящена статья проф. А. Небольсина «Одновременность добра и зла: Лебедев в 'Идиоте'».

Доклад проф. Н. Полторацкого, «Бердяев и Достоевский», в *Записках* не напечатан полностью, а лишь в сжатой форме даны его основные положения, в которых главным образом отмечается роль Бердяева как крупного «достоевсковеда». Основой для статьи проф. А. Поплюйко, «Эйнштейн и Достоевский» является дискуссия, которая

велась в Советском Союзе вокруг проблемы Эйнштейн — Достоевский и в которой принимали участие многие советские литературоведы, критики и публицисты. Приводя многочисленные отрывки из высказываний и заключений советских ученых и анализируя их, проф. Поплюйко отмечает их однобокость, видя в отношении великого ученого к творчеству русского писателя более сложную связь.

Заключительная статья первого раздела — работа проф. В. Седуро, в которой собраны ценные библиографические материалы и которая содержит серьезное исследование о состоянии науки о Достоевском в СССР в 1960 годах.

Начиная с этого номера, в *Записках РАГ* будут печататься на английском языке некоторые документы, относящиеся к русской истории и культуре, которые никогда еще не были переведены на этот язык. Настоящий сборник содержит три таких документа с комментариями Н. Итсиниса и Н. Лупинина: «Ответ Патриарха Иоанна Каликас Митрополиту Всея Руси, 1339»; «Письмо Царя Алексея Михайловича Патриарху Никону»; и «Неизвестное письмо Ленина членам политбюро, 1922 г.», переведенное В. Даниловым.

В третьем разделе пятого тома *Записок* напечатаны три статьи на русском языке профессоров Г. В. Вернадского, Г. К. Гинса и Е. В. Спекторского. Первая посвящена деятельности Русской Академии Наук, созданной Петром I-ым. В ней автор, касаясь различных областей науки, подробно развивает их историю в России в XVIII веке, а также дает ценную библиографию по этому вопросу. Интересна статья ныне покойного проф. Гинса, «Коммунизм и сверхкапитализм в зеркале права», в которой противопоставляются два типа государства: СССР и США. Статья проф. Спекторского «Духовное наследие XIX-го века» ставит перед читателем очень важный вопрос; а именно, в наше время, когда многие начинают волноваться об истощении материальных ресурсов нашей планеты, не пора ли подумать о том, «а как обстоит дело с духовными ресурсами?» Идеология, преобладавшая в XIX веке и которую унаследовали люди XX века, к сожалению не помогает дать на этот вопрос ободряющий ответ.

Записки заканчиваются небольшим разделом «Из жизни РАГ», где отмечаются знаменательные годовщины и даются некрологи некоторых членов Группы.

Сборник ценный и заслуживает распространения среди широкого круга читателей.

Т. Сорокина

Владимир Корвин-Пиотровский. Поздний Гость. Стихи, поэмы, драматические поэмы. В двух томах. Том 1, 1968. Том 2, 1969. Изд. Русск. книж. дела в США В. Камкина. Вашингтон.

Для нашего времени характерна одна особенность: мы стали забывчивы и по отношению к событиям, и к людям. Отдадим здесь должное нашей зарубежной печати — она борется с этой забывчивостью, как может.

И вот, хочется напомнить читателям о книгах Корвина-Пиотровского († 1966) потому, что этого поэта не стоит забывать. Не надо забывать и того, что история зарубежной поэзии войдет потом в историю русской литературы, как история свободной части русской поэзии — будем надеяться, что только — XX-ого века.

Корвин-Пиотровский, как поэт, и своеобразен, и неповторим, а техника его стиха высока. Эта техника заслуживает внимания при всём высоком уровне техники современной русской поэзии, зарубежной в особенности.

Если задачей поэта является возможно более полное и наиболее умелое выражение своей неповторимости, и если задачей критика является анатомия творчества поэта, то задача рецензента заключается в том, чтобы помочь поэту найти своего читателя, и читателю — своего поэта. Для многих стихи Корвина-Пиотровского будут интересны, а для некоторых читателей он может стать и «любимым поэтом», т.е. они смогут найти в этих стихах самих себя — выраженных так, как они, эти читатели, себя выразить не умеют.

Стихотворения первого тома распадаются хронологически на циклы: берлинский (1923-1939), парижский (1939-1960) и калифорнийский (1960-1966). О каждом цикле нужно будет говорить особо. Пока же нужно указать для общей ориентировки читателя местонахождение поэта Корвина-Пиотровского на обширном поле русской поэзии. На этом поле вежи — имена. Вежами они названы потому, что они и характерны, и высоки, и знакомы всем. Быть где-то около такой вежи — еще не значит подражать или повторять. По своему общему тону Корвин-Пиотровский находится где-то между Гумилевым и Блоком, может-быть, не так далеко от Иннокентия Анненского. От заветов Гумилева (а не от почерка самого Гумилева!) у Корвина-Пиотровского — тщательная выработка стиха и сильная вещная образность, от Блока — двуплановость, о которой речь будет ниже. С Анненским его сближает взгляд в самого себя и аллегорическая эпиграмматичность передачи виденного; у Анненского: «...И было мукою для них, / Что людям музыкой казалось...» у Корвина: «...Оставь меня в моем круженье, / Возврата позднего не жди, / Я всадник в гибельном сраженье / С засохшей розой на груди».

Берлинский цикл характерен своей акмеистической и именно

вещной образностью: «Метель, как лошадь скаковая, / На крыше распустила хвост...» Или в другом стихотворении того же цикла, вьюга: «Глуша прохожего звонками, / Срывает шляпы и платки / И мчит огромными прыжками / Увертливые котелки». В этом Берлине Корвина-Пиотровского — «...Здесь, только здесь и может сниться / Сон невозможный наяву / Лёд, сжавший чёрную Неву / И в бездне — Зимняя Столица...»

Это — линия и к Гумилёву, и к Блоку, и к Пушкину, которому у Корвина-Пиотровского посвящен особый цикл в берлинских стихах. От Пушкина же идут ямбы Корвина: за исключением двух стихотворений, всё остальное написано ямбом, в лирических стихотворениях заключенном в классический катрен. Но иногда катрены вдруг переходят в пятистрочную строфу, что дает тогда эффект особой выразительности:

«И кресло крытое чехлом,
На спинке тронутое молью, —
Мир, переполненный теплом,
Любовью и привычным злом,
Весь освященный нашей болью».

Формально можно было бы назвать Корвина-Пиотровского продолжателем традиций акмеизма. Но законченность его стиха — только внешняя форма. За этой внешней законченностью просматривается какая-то глубина. В парижском цикле законченность в видении внешнего мира переходит в как-бы отрывочность восприятия, прерываемую проблесками видения другого, внутреннего мира — та двуплановость, которая была упомянута выше. И получается парадоксальная законченная незаконченность стиха: — «Но, Боже мой, как всё не то / Как всё навек непоправимо! / Твое лицо, твои пальто / Твои ладони — мимо, мимо —». Эту характерную для Корвина-Пиотровского черту уже давно отметила критика: Георгий Адамович в своей рецензии на сборник «Поражение» (см.: «Поздний Гость», II том, стр. 219) говорит: «А ведь какая у него изощренность в игре и в смещении двух планов, реального, и другого, призрачного, но ещё хранящего все признаки реальности!».

Блок пытался выразить свое ощущение какого-то другого мира, который открывался ему не в виде явных картин, а в смутных отзвуках или непередаваемых красках, — отсюда и Блоковская символика, так как слов для таких ощущений — пока — нет. Двуплановость Корвина иная — это ощущение своего, внутреннего мира — приходящее проблесками на фоне внешнего мира. Получается как бы разговор с появляющимся и опять ускользающим двойником. Отсюда и кажущаяся разбросанность и отрывочность текста стихов парижского цикла. Это особенно чувствуется в «Воздушном Змее» — продолжении парижского цикла. В «Воздушном Змее» прямо упо-

минается двойник: «...возник / Виденьем светлым иль морокой / Мой неопознанный двойник / Я рвусь к нему, но он не слышит / Что я ему вослед кричу...» В «Воздушном Змее» звучит тема отрешения от «пыльных камней» внешнего мира: «И в восхождении высоком / С воздушно-солнечных дорог / Глядим, уже бессмертным оком / На тех, кто улететь не мог...» Это отрешение звучит ещё сильнее в «Калифорнийских Стихах» наряду с темами музыки, ночного сада и осени. Это — предчувствие освобождения, «стихи о гибели вчерне». В «Калифорнийских Стихах» Корвин-Пиотровский особенно часто применяет приём недосказанности: фраза начинается, не заканчивается, начинается другая — точно человек торопится высказать скорее самое важное.

Второй том содержит лирические (автобиографические) и драматические поэмы и, как приложение, автобиографическую справку, ряд критических статей и посмертных очерков, посвященных Корвину-Пиотровскому и его творчеству.

В этом томе главное внимание привлекают короткие драматические поэмы. Они явно и намеренно стилизованы: форма их следует Пушкину, а диалог — Шекспировским текстам. Такая стилизация обязывает автора к значительности тематики. И Корвин-Пиотровский не разочаровывает читателя. Общая тема, или вернее, две темы затронутые в этих драматических произведениях — гений и злодейство. Эти темы контрастируют друг с другом. Беатриче Ченчи принимает убийц отца; регент Фома убивает пятилетнего сына-короля — чтобы стать королем самому; Пушкин, как Моцарт, говорит с черным человеком в ночь перед дуэлью; в Композиторе и Критике («Бродяга Глюк») узнаём Бетховена и Сальери. Интересна новая трактовка темы Дон-Жуана: душа Дон-Жуана заключается в цветное стекло капеллы кладбища и скованный Дон-Жуан становится свидетелем искусного (и вполне мещанского) обольщения Донны Анны своим наследником — Лепорелло. Но Дон-Жуан уже свободен от земных пут — стекло рассыпается.

Диалоги этих драматических поэм блестящи. Насколько калифорнийские стихи говорят недосказанностями, настолько закончены и отточены фразы и афоризмы этих диалогов и монологов.

Корвин-Пиотровский поэт не лёгкий: несмотря на его сильную образность, его надо решать, как задачу. Он будет близок тем, кто чувствует, как он, свою отрешенность от «пыльных камней». Но и те, кто любят мир здешний, найдут его четкую передачу в стихе Корвина. Кстати, о стихе Корвина-Пиотровского: он дал особое, певучее звучание ямбу, и этот ямб долго еще звучит, как мелодия, в памяти по прочтении его книг. А это делает с читателем только настоящий поэт.

ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН. ЮЖНЫЙ ДОМ. Пятая книга стихотворений. Мюнхен, Издание автора, 1968. **ВАЛЕРИЙ ПЕРЕЛЕШИН. КАЧЕЛЬ.** Шестая книга стихотворений. Франкфурт-на-Майне. Посев, 1971.

Как ни странно, Валерий Перелешин малоизвестен за пределами узкого круга знатоков поэтики. Его стихотворения не представлены ни в одной антологии русской поэзии, изданной на Западе, кроме «Якоря» (Париж, 1936), а дальневосточные антологии «Излучины» (Харбин, 1935) и «Остров» (Шанхай, 1946) на Запад фактически не проникли.

Тираж его первых сборников («В пути» — Харбин, 1937, «Добрый улей», Харбин, 1939, и «Звезда над морем», Харбин, 1941) всегда был один и тот же: двести экземпляров. Только «Жертва» (Харбин, 1944) была выпущена тиражом в пятьсот экземпляров. Тем же малым тиражом вышло «Сказание старого моряка» С. Т. Колриджа в переводе Перелешина (Харбин, 1940).

Только в 1968 году был издан пятый сборник стихотворений Перелешина — «Южный Дом» (Мюнхен, 500 экз.), а в 1970 году — антология китайской классической поэзии «Стихи на веере» (Посев, Франкфурт-на-Майне, 500 экз.) и, наконец, шестая книга его стихотворений «Качель» (Посев, 1971, 500 экз.). Итак, общий тираж шести сборников Перелешина, не считая переводов — 2100 экземпляров за 35 лет.

Валерий Перелешин (Валерий Францевич Салатко-Петрище) принадлежит к польско-белорусскому дворянскому роду. Родился 20 июля 1913 г. в Иркутске, где его отец был строителем второго кругобайкальского пути Сибирской железной дороги. В 1920 г. мать поэта, Евгения Александровна, впоследствии известная на Дальнем Востоке журналистка, увезла его в Харбин, где он окончил гимназию ХСМЛ, а затем Юридический и Богословский факультеты. В четырнадцать лет он дебютировал на странице Юного Читателя харбинской газеты «Рупор». Стихи туда он посылал по почте и потому познакомился с редактором этой страницы поэтом Арсением Несмеловым только через пять-шесть лет.

Несколько лет (1939-43) Валерий Перелешин, по-настоящему «открытый» редактором харбинского журнала «Рубеж» М. С. Рокотовым (Бибиновым) и в короткий срок ставший одним из любимейших поэтов Харбина, провел в Пекине, откуда перебрался в Шанхай. Встретившись с матерью в Тяньцзине в 1950 году, он выехал вместе с нею в Бразилию в сентябре 1952 года. Теперь, вернувшись в литературу, Валерий Перелешин называет себя «бразильским поэтом, пишущим по-русски».

В детстве его любимейшим поэтом был Лермонтов, но уже в

его первой книге ничего от Лермонтова нет. Есть подчеркнутая эмоциональность, влечение к тонкому психологизму. Есть и лирическая камерность, далекая от прекрасного декадентства «парижской ноты». Перелешин — поэт музыки смысла, и даже в этот период господствует у него «холодная» линия Баратынского, Гиппиус, Гумилева, Ходасевича. Непосредственным своим учителем поэт признает Гумилева, хотя в поздней перспективе сам он стоит — на мой взгляд — духовно выше Гумилева.

Тридцать два года детства, отрочества и юности в Китае не могли не связать поэта чувством слиянности с этой страной древней тонкой культуры. Несмотря на романтический театральный жест, Перелешин — не турист и не искатель приключений. Вторая родина — Китай — подчас бывает поэту ближе, чем первая («Издалека»), и на этом красочном фоне он размышляет о природе и искусстве, об их последнем синтезе во времени («Хусиньтин»).

Стремление к скульптурной четкости формы, пластической завершенности ритмического рисунка, к конечной ясности, к философской углубленности содержания — вот чем отличается шестая книга поэта «Качель». Здесь поэт — абсолютист классической формы, но также и визионер. Свой героический пейзаж он строит по правилам уравновешенного распределения масс в их величавых формах. Даже за внешней сдержанностью в них всегда избыточествует внутренняя жизнь, затаенное чувство, наполняющее и его широкие полотна, как «Крестный Путь», «Валаам» «Поэма о мироздании».

Сокровеннейших глубин мистики касается Перелешин в своей «Пирамиде». Боговедение, богопознание — путь, который в лучшем случае приведет к тому, что душа человеческая обретет в себе некое внутреннее окно-око, через которое будет созерцать Бога, как бы соприкасаясь с Ним в одной точке. Свет богопознания никогда не проникнет в тайники и подвалы нашего подсознательного мира. Чтобы достичь слияния с Богом, надо как бы «перевернуться». Пирамида должна встать на свою вершину, на свое богопознавшее острие. Тогда Бог будет всё во всем. В пирамиду Он будет проникать не через узкий люк, а через целую грань, теперь открытую свету и ветру:

«Иль лучше, пирамиду эту
Переверни на острие:
Открой полуденному свету
И ветру вольному ее!

Пусть всем широким основанием
Она глядит в Твои глаза,
Пусть ходит в ней Твоим дыханьем
Животворящая гроза.

И только то окно, что люком
Единственным глядит в тоске, —
Закрой его лучам и звукам,
Похорони его в песке.

Мне было б лучшею судьбою
Тебя не зная, не любя,
Настолько полным быть Тобою,
Чтоб чувствовать собой Тебя!»

Преднамеренная, утонченная «старомодность» поэта, его некоторая «сухость» — это и есть неоклассически сдержанное искусство. Триумф заранее обдуманного подчеркивается Перелешиним в его акrostихе, посвященном Геннадию Панину («Ремесло», печатается впервые):

Герой труда не ищет вдохновенья:
Едва ли мы взлетаем в облака.
Нас некая упрямая рука
Направила на путь стихосложенья.
Акrostихов — хитрейшего плетенья —
Для нас игра нисколько не мелка,
И мы кладем любовно на шелка
Искусные цветы воображенья.
Поэзия — не хаос и не бред,
А ремесло. Ни муз, ни крыльев нет,
Ни ангелов на поприще поэта.
И жаль, что мне для нового сонета
Не задана последняя строка!

В общей перспективе становится ясно, что Перелешин пристально всматривается в индивидуальные черты своей мысли, стремясь передать особенности ее. Лаконизм, скупость в применении художественных средств — его всегдашняя цель, и если местами, пусть изредка, классицист уступает романтику, то всё же это романтика линии, а не краски.

Иейльский Университет

Алексис Раннит

GLEB STRUVE. *Russian Literature Under Lenin and Stalin 1917–1953*. University of Oklahoma Press: Norman, 1971. 454 pp. \$9.25.

В своем предисловии к новому изданию *Русской литературы при Ленине и Сталине* Глеб Струве отмечает, что данный труд есть синтез, выросший из предыдущих изданий 1935, 1944 и 1951 годов. Новое издание доводит историю литературы до 1953 года — вехи,

знаменующейся смертью Сталина. Автор намерен продолжить свой труд эпохой послесталинской литературы.

Русская литература... (30 глав) разделена на семь периодов: период военного коммунизма (1917-21), период НЭПа, первая половина которого (1921-24) посвящена творчеству «революционных романтиков», вторая (1924-29) — возрождению романа; период начала пятилетки и коллективизации (1929-32); период установления соцреализма (1932-41), период Второй Мировой Войны (1941-46) и период послевоенный — ждановский (1946-53). Заключительная глава подводит итоги ждановщине и завершается смертью Сталина.

Внушительная библиография содержит, кроме книг, указанных в сносках, труды по советской литературе на языках английском, немецком, французском, итальянском и шведском, а также и произведения советских писателей в английских переводах.

Тех, кто знаком с предпоследним изданием *Русской литературы*, приятно поражают новые черты внешнего оформления, способствующие наглядности пособия: подзаголовки выделены крупным шрифтом и имена писателей с их датами вынесены на поля.

Подача материала осуществляется по принципу хронологического. Каждому периоду предшествует абрис социально-политической среды с литературными группировками и конфликтами, обсуждаются литературные явления данного периода, место писателей в них с их идеологической платформой, а затем следует оценка их произведений. Такой метод, стоящий, пожалуй, ближе всего к социологическому, выявляет наиболее выпукло всю сложную диалектику творчества советского писателя в постоянно меняющихся условиях этого творчества. Помимо идеологических, авторы рассматриваются и в контексте жанровых группировок (бытовика, сатирики, авторы социально-исторических романов итд.).

Подобный метод ведет к известной композиционной мозаичности, и крупные фигуры, как Федин, Леонов, Олеша, такое дробление выдерживают; менее крупные, как Твардовский, Алигер, несколько теряют в своей цельности. Творчество Леонова, например, рассматривается в шести разделах книги.

Сторонникам чисто монографического метода хотелось бы иметь всю информацию о писателе сконцентрированной в одном разделе, пишущему же эти строки кажется, что данный труд дает лучшую из возможностей ориентироваться в сложной обстановке эпохи и в обилии материала.

Следует отметить, что автор широко пользуется цитатами, как документов, так и литературных произведений. О широте эстетических воззрений автора свидетельствует анализ таких различных явлений литературы, как поэзия Блока, проза Пильняка и сюжетосложение Каверина. Особая продуманность выявляется в оценке ли-

тературных явлений 20-ых годов. Об эрудиции автора говорит его стремление связать — где это возможно — русскую литературу с зарубежной, а также и в литературных заключениях, как указание на перекличку мотивов в «Барсуках» Леонова (Сказание о Калафате) и в «Мы» Замятина, в его пророчестве о стандартизированном государстве.

В главе первой, параллельно с обзором поэзии предреволюционного периода, хотелось бы иметь и краткий обзор прозы, в особенности узнать о том течении, что стало называться нео-реализмом. Иначе не совсем ясно, почему А. Н. Толстого и Сергеева-Ценского автор классифицирует как нео-реалистов, а Вересаева как реалиста старой школы.

В связи с добавлением нового материала в этом издании, следует отметить и известный пересмотр творчества некоторых писателей в главе 29-ой. Романы Федина «Первые радости» и «Необыкновенное лето» с добавлением к ним третьей части «Костер» (1961) рассматриваются теперь в аспекте трилогии. В категорию трилогий перешли также роман Каверина «Открытая книга» с появлением «Доктора Власенковой» (1952) и «Поисков и надежд» (1956) и «Повесть о детстве» Гладкова — с опубликованием «Вольницы» (1950) и «Лихой години» (1954). Творчество Эренбурга пополнилось «Девятым валом» (1953), а катаевские «Белеет парус» и «За власть советов» перегруппировались в тетралогию после появления «Хуторка в степи» (1956) и «Зимнего ветра» (1960-1).

Среди новых материалов упоминаются военный роман Василия Гроссмана «За правое дело» (1952) и повесть «Все течет» (1955-63), вывезенная нелегально из Советского Союза в 1970 году. В последней, отмечает Глеб Струве, Ленин впервые в произведении советского писателя заклеен как убийца русской свободы. Сталин в сущности только продолжил его дело. Анализ повести появится в следующем томе, который начнется с «оттепели».

Шероховатости, неизбежные во всяком обширном труде, есть и в *Русской литературе*. Страницы, данные в указателе не всегда точно соответствуют предмету указываемому: Леонов указан на странице 106, в то время как информация о нем кончается на 105-ой (442); Панова указана на 382-383 стр., но появляется только на 383 (446); опущены заглавие третьей части трилогии Федина «Костер» и дата появления «Доктора Власенковой» Каверина (380).

Но эти мелкие упущения отнюдь не умаляют *Русской литературы* — труда детального, не только дающего объективное документированное освещение периода литературы 1917-1953 гг., но и убедительно выявляющего процесс последовательно проводимого выхода художественной литературы и вместе с тем трагически-безвыходное положение советского писателя на прокрустовом ложе

политической системы страны. Погибшим писателям — Осипу Ман-дельштамму, Исааку Бабелю, Борису Пильняку и всем незаконно репрессированным советским писателям посвящает свой труд Глеб Струве.

Ольга Сорокина, Берклейский университет

Abraham Rothberg. Aleksandr Solzenitsyn. The Major Novels. Cornell University Press, Ithaca, New York, 1971. Pp. 215.

Со времени опубликования «Одного дня Ивана Денисовича» (ноябрь 1962 г.) появилось и появляется огромное количество критическо-исследовательской литературы о творчестве Солженицына. С точки зрения русского читателя, следящего за этой литературой, книга А. Ротберга ничего особенно нового собой не представляет. Другое дело, если на нее смотреть глазами американца и, опять таки американца, неискушенного в «российских» делах. Под этим углом зрения книга Ротберга интересна и полезна, как хорошо составленное резюме главных произведений Солженицына за исключением «Августа 1914 года», который не успел войти в его труд, да и не подошел бы к общей схеме книги.

Книга Ротберга начинается с краткого введения, в котором автор подчеркивает значительность явления Солженицына и отождествляет его с совестью и голосом русского народа. За этим следует подробно составленная хронология жизни и творчества Солженицына, кончающаяся июнем 1971 года. Содержание книги Ротберг разделил на пять глав. Заканчивается книга довольно обширной библиографией и индексом.

О личной жизни Солженицына мы узнаём очень немного. Скудные биографические данные Ротберг черпает главным образом из интервью чешского писателя Павла Личко, взятого им у Солженицына и опубликованного 31-го марта 1967 года в словацком журнале "Kulturný Život" и из разрозненных сообщений, которые появлялись в разных западных печатных органах, а также дополняет очевидными автобиографическими сведениями из многих произведений писателя.

Ротберг, ознакомляя читателя с содержанием того или иного романа Солженицына (кстати, «Один день Ивана Денисовича» не роман, а повесть), разбирает довольно подробно тех или иных героев; сравнивает солженицынские описания концлагеря с описаниями Марченко, в которых последний «не выдумал ни одного лица и ни одного происшествия», с описаниями Бориса Дьякова, Галины Серебряковой, Евгении Гинзбург; полемизирует с советской казенной критикой; приводит многочисленные суждения западных «солженицыноведов», между иными и русских эмигрантов.

Интересна полемика Ротберга с некоторыми западными крити-

ками. Например он решительно отрицает мнение Макса Хейварда, что повесть «Один день Ивана Денисовича» символична для человеческой жизни в том же роде, как «Процесс» Кафки. Совершенно справедливо Ротберг пишет, «как бы ни неприятна и ни трагична была жизнь большей части человечества, жизнь эта однако не поймана в капкан таким страшным способом, каким Гулаг ловит своих ээка». И стократно прав Ротберг, отвечая другому критику, что не в пресловутом «мудрствовании» в западном стиле, а в необыкновенно ясной, захватывающей простоте лежит величие Солженицына. При чтении книги Ротберга встречаются оригинальные наблюдения автора, оброненные как бы мимоходом, без дальнейшего углубления. Ново замечание, что женщины, портреты которых Солженицын рисует с большим мастерством, не занимают однако первенствующего места в его произведениях.

Не ускользнули от внимания Ротберга, ставшие уже «классическими» (кавычки мои, С. К.), высоко-художественные сцены, как например сцена свидания Нержина с женой или сцена Яконова с Агнией возле церкви Иоанна Предтечи. Он указывает на символическое значение мира животных в «Раковом корпусе», на символику некоторых фамилий, на готовность многих героев пожертвовать жизнью ради идеи. Он отмечает, что хотя короткие рассказы Солженицына кончаются почти всегда трагически, но его большие произведения, несмотря на зло присущее человеческой натуре («Злой человек сыпнул табака в глаза макаке-резус»), звучат все же оптимистически.

Ротберг опытный писатель, прекрасно осведомленный о советской действительности, не в пример многим «специалистам по русскому вопросу». Его способ изложения прост и ясен, изредка с журналистически-звучащими нотами, что не уменьшает достоинства его книги. На двухстах страницах он сумел дать верный и убедительный образ Солженицына человека и писателя.

Оберлин, Охайо

Сергей Крыжицкий

ФРЕСКИ ФЕРАПОНТОВА МОНАСТЫРЯ. Издательство «Искусство». Москва 1970. Фотографии А. Г. Симонова и Э. И. Стейпертс. Автор текста И. Е. Данилова. (Текст на русск. и англ. языках).

Впервые в 1911 г. был опубликован большой труд В. Т. Георгиевского, посвященный фрескам церкви Рождества Богородицы в Ферапонтовом монастыре на северо-восток от гор. Кириллова Новгородской губернии. Ферапонтов монастырь основан в конце 14 века Ферапонтом — другом и сподвижником Кирилла Белозерского. Соборный храм во имя Рождества Богородицы с приделом в честь св. Николая Чудотворца был построен в конце 15 в.

Нужно долго ехать по Белозерскому краю, чтобы добраться до Ферапонтова, но никто не пожалеет затраченного времени и сил, чтобы увидеть роспись храма Рождества Богородицы. На стене храма удалось восстановить надпись, гласившую: — «В лето 7008 (т.е. 1500) месяца августа в 6 день на Преображение Господа нашего Иисуса Христа начата бысть подписывати церковь и кончана на 2 лето месяца сентявреа в 8 на Рождество Пресвятыя Владычица наша Богородица Мария при благоверном великом князе Иване Васильевиче всея Руси, при великом князе Василии Ивановиче всея Руси и при архиепископе Тихоне, а писци Деонисие иконник со своими чады. О Владыке Христе, всех Царю, избави их Господи мук вечных».

Надпись точно устанавливала имя расписавшего храм мастера Дионисия и время исполнения им этой росписи. В историю русского искусства с 1911 г. неизменно включались росписи Ферапонтова монастыря. По-видимому, это была последняя большая работа Дионисия. Фрески покрывают все стены храма от пола до купола и образуют как бы 4 ряда: 1) нижний ряд медальонов и платов, 2) над ним ряд изображений Вселенских Соборов, на которых утверждалось значение Богоматери, потом 3) ряд, посвященный жизни Девы Марии, и наконец 4) ряд евангельских сцен. В куполе, как обычно, изображение Господа Вседержителя, в центральной апсиде Богоматерь, а в апсиде придела св. Николай Чудотворец.

Приглушенные, светлые краски росписи прекрасно сочетаются с архитектурой храма. Храм посвящен жизни Девы Марии, поэтому прославляет Ее милосердие. В росписи храма преобладают декоративные моменты, это иконописная плоскостная стилизация, в которой не чувствуется никакой пространственности и объемности фигур и зданий.

Обо всем, что я здесь писал, мы знаем по прекрасной статье акад. В. Н. Лазарева «Дионисий и его школа» («История русского искусства», том III, стр. 482-541), но совсем не по рецензируемой книге И. Е. Даниловой, которая поражает отсутствием конкретных данных о постройке храма, о творчестве самого Дионисия и о значении описываемой росписи в истории русского искусства.

Книга-альбом нелепо напечатана и состоит как бы из двух книг, включенных в один переплет. Не знаешь, с какого конца начинать чтение. Правую часть альбома надо читать с конца к началу, а левую часть как обычно. Снимки повторяются, около половины фотографий (а их всего 280) можно без ущерба исключить. Нигде нет указаний на размеры росписей. Кому пришло в голову так «намудрить» в этом издании, что в нем нельзя разобраться? А так хотелось бы видеть толковое описание этого редкого памятника древней русской живописи, чудом сохранившегося до наших дней.

Судя по роскошному внешнему виду, книга-альбом напечатана не в СССР, но типография нигде не помечена, как не указан и тираж издания.

Е. Климов

А. Шилева. Борис Зайцев и его беллетризованные биографии. Изд. русского книжного магазина «Волга». Нью-Йорк. 1971.

Недавно вышедшая книга Ариадны Шилевой — первый труд посвященный трем писательским биографиям в творчестве Бориса Зайцева, а именно: «Жизнь Тургенева» (1932), «Жуковский» (1952) и «Чехов» (1954). Работа А. Шилевой представляет собой интересную попытку рассмотреть беллетризованные биографии Зайцева с точки зрения литературоведа-формалиста. Главный предмет разбора в книге Шилевой — поэтика Зайцева, которую Шилева, по мнению Л. Ржевского, написавшего вступление к книге, раскрывает «с завидной тщательностью».

Книга состоит из пяти глав: 1) жанр творческой биографии и его история; 2) творческий путь Б. К. Зайцева и биографические темы в его творчестве; 3) «Жизнь Тургенева»; 4) «Жуковский»; 5) «Чехов». В конце книги — довольно обширная библиография. В первой главе дается содержательный общий обзор жанра творческой биографии. Здесь Шилева не только приводит ряд примеров из творческих биографий, появившихся на Западе и в Советском Союзе, особенно в 1920-х и 1930-х годах, но также делает попытку установить точное определение жанра такой биографии. Во всех трех биографиях, написанных Зайцевым, хотя и в разной степени, чувствуется не только внутренняя симпатия автора к описываемому герою, но и сродство с ним (особенно с Жуковским). Поэтому «собственная личность Бориса Зайцева, — пишет Шилева — его мироощущение и внутренняя настроенность явились для него ключом к раскрытию душевного мира каждого из избранных им героев».

Во второй главе Шилева дает краткую биографию самого автора и упоминает вкратце все его главные произведения, появившиеся с 1901 года, в которых есть биографические темы. Остальные главы посвящены целиком подробному анализу трех творческих биографий.

В своем интересном труде А. Шилева отчетливо указала на наличие в биографическом творчестве Зайцева двух главных черт его поэтики: импрессионизма и метода подчеркнутой реконструкции. «Благодаря этим чертам поэтики Бориса Зайцева, равно как и его сосредоточению на раскрытии душевного мира героев, его книги занимают единственное в своем роде место в жанре творческой биографии», пишет А. Шилева. Книга читается с большим интересом.

Ирина Шведе

М. И. Цветаева. *Несобранные стихотворения*. Вильгельм Финк Ферляг. Мюнхен. 1971. (693 стр.)

В Америке были изданы наиболее полные собрания сочинений Гумилева, Ахматовой, Пастернака, Мандельштама, но Цветаевой как-то не повезло: нет собрания хотя бы всех ее опубликованных произведений. Правда, в СССР, в 60-х г.г. издали две книги ее стихов и одну — прозы. В Америке был издан ее «Лебединый стан», недавно переизданный во Франции, а избранная проза была опубликована Чеховским издательством.

Самое ценное в книге «Несобранных произведений» стихи Цветаевой из ее юношеских сборников, которые так трудно получить и многие из них я прочел впервые. Есть прелесть в этих ее ранних стихах, оцененных еще Гумилевым:

Детство верни мне, верни,
Все разноцветные бусы, —
Маленькой, мирной Тарусы
Летние дни.

Жаль, что редактор не включил все стихотворения из довоенных сборников Цветаевой. Но благодарим его за другие тексты, в «Воле России», в «Числах», которые не всегда доступны читателям.

Выделяю замечательный очерк «Твоя смерть»: это цветаяевские «Три смерти» русского мальчика, французской учительницы и Райнера Марии Рильке. Значительны и другие очерки: «О Германии», «Два лесных царя» (Гёте и Жуковского), «Поэт о критике», «Поэзия и время».

Включены в книгу многие стихотворения и поэмы Цветаевой 20-х и 30-х г.г., сборники «Ремесло», «Молодец», трагедия «Федра».

В приложении, с разрешения г-жи Рут Фрицше-Рильке, помещено немецкое письмо Пастернака (1926 г.) к Рильке, в котором он заочно знакомит Рильке с Мариной Цветаевой.

Ю. Иваск.

Е. Олицкая. *«Мои воспоминания»*. Том I и II. Изд. «Посев», 1971. (стр. 318 + 270).

«Как озаглавить мои воспоминания?» Так начинается повесть о своей жизни Е. Олицкая. Это длинная автобиография русской женщины, проводшей более двух третей своей сознательной жизни под страшным ярлыком «враг народа». Какой же это «враг народа»?

Екатерина Олицкая родилась в интеллигентной русско-еврейской семье. Отец ее, ученый агроном, либерал-идеалист, женись на православной, принял крещение, приобрел «небольшое поместье в 250

десятин земли в самом центре России, в черноземной полосе, в Курской губернии» и всецело отдался своему любимому делу, стараясь вести его не только образцово, но и в полном мире с соседними крестьянами.

Мать Олицкой происходила из состоятельной дворянско-помещицкой семьи Халютиных, потомков по прямой линии «небезызвестного палача Малюты Скуратова». В Цюрихе мать окончила медицинский факультет.

Е. Олицкая провела раннее детство в деревне, окруженная заботой родителей и старушки-няни. По окончании Курской гимназии, в 1916 году поступает на курсы в Сельскохозяйственный институт в Петрограде. Еще подростком в гимназии Олицкая и ее друзья преклоняясь «перед революционерами, были полны презрения и ненависти к царскому правительству». «В нашей семье сошлись представители всех точек зрения. Отец, исходя из своих народнических воззрений, симпатизировал эсерам. Мать вступила в партию социал-демократов. Старшая сестра стала большевичкой. Я — эсерка».

С Октябрьской революцией, которая «возмутила нас [эсеров] методами насилия», начались, собственно говоря, настоящие мытарства Олицкой и ее семьи. Чтобы проследить все аресты, тюрьмы, допросы, лагеря, ссылки, этапы Олицкой, а позже и ее мужа-эсера и ее партийных соратников, приходится не раз возвращаться к уже прочитанному. Все это сливается в какой-то бесконечный, кошмарный сон наяву.

Из книги Олицкой вырисовывается отчетливо один факт — постепенный, всё растущий, зажим тюремно-лагерного режима, который достигает апогея в годы перед второй войной и остается неизменным до освобождения автора в 1947 году из Магаданского лагпункта. Ее первая ссылка на Соловки в 20-ых годах может показаться чем-то вроде побывки на курорте. «Нас не так уж плохо кормили. И камеры были не так уж плохи. Мы получали газеты, журналы, книги, по пяти в декаду от библиотекаря, или встречались с товарищами по прогулке, в камерах были у нас все наши вещи — письменные принадлежности, нитки, иголки, ножницы, даже бритвы. Жены сидели в камерах с мужьями, братья и сестры соединялись на прогулке. Мы имели право написать и получить по три письма в месяц (ближайшим родственникам)».

По существу, с небольшими вариантами, такое положение продолжалось и в дальнейших сидениях по тюрьмам и ссылкам и после Соловков: в Верхне-Уральском изоляторе, в ссылке в Чимкенте, в Челябинской тюрьме, на Лубянке-2, в Бутырках, в Суздальском полит-изоляторе (Суздальском монастыре), в Ярославском централье... Насколько, во всяком случае в первые без малого два десятилетия, Олицкая была на привилегированном положении показательно хотя

бы следующее замечание насчет слухов о зверствах ГПУ. «Верить рассказам или не верить? Со мною в стенах ГПУ во время следствия и допросов ничего недозволенного не допускалось».

И только последнее десятилетие жизни Олицкой в заключении подводит читателя к настоящей советской лагерной действительности, знакомой по книгам Юлия Марголина, А. Солженицына, Е. Гинзбург, А. Марченко и многих других прошедших этот крестный путь. Ее путь в пересыльный лагерь во Владивосток в вагонах с надписью «Крупный рогатый скот», этап на пароходе на Колыму, женская зона лагеря в Магадане (этап на совхоз Эльген) — один из добавочных, жутких документов лихолетья России.

«Мои воспоминания» вносят свой вклад в мемуарную литературу о советской «стране зэка». Это история подсоветского периода партии эсеров, уход ее в подполье, ее разгром и, в конечном итоге, ее уничтожение. Это история одной семьи — либеральной, идеалистически мыслящей, ищущей сближения с «народом» и желающей служить ему всеми своими силами. Это длинный, печальный рассказ о том, как Олицкая и ей подобные получают клеймо «врага народа» от истинных его врагов. Будущий историк найдет в этой книге не одну известную фамилию, не один ответ на судьбу того или иного члена партии эсеров, эсдеков и некоторых большевиков. Уже этим одним оправдывается появление этой книги, ибо вымирают последние живые свидетели этого страшного времени.

Оберлин, Охайо

С. Крыжицкий

В. Максимов. Семь дней творения. «Посев», Франкфурт. 1971 (507 стр.).

Однажды, беседуя с Борисом Константиновичем Зайцевым, я спросил его, что он думает о русской литературе в Советской России. Я записал его ответ на магнитофонную ленту: «Русская литература в России никогда не умирала. Её куда-то глубоко загнали, голос её приглушили, но она осталась жива». Читая отчетную книгу В. Максимова, вспоминаю это определение. Да, живет она, наша русская литература! Живет, несмотря на полувековой гнет советской власти, наперекор ее дикой цензуре.

В. Максимов написал великолепную, русскую книгу. Изложить кратко ее содержание, как это полагается в рецензиях, невозможно, как невозможно рассказать вкратце содержание «Войны и мира» или «Преступления и наказания». Я умышленно упомянул этих литературных гигантов рядом с именем Максимова. Разумеется, я не провожу никаких литературных параллелей между ними и Максимовым, хотя голос Достоевского мощно прорывается во многих ме-

стах книги, а идея Толстого чувствуется хотя бы в грандиозности замысла — создания огромной эпопеи, истории семьи Лашковых на историческом фоне, от революции и почти до наших дней.

Петр Лашков, житель уездного городка Узловска, «потомственный» железнодорожник, старый коммунист, комиссар в первые годы революции, тип честного, идейного большевика — связующее звено романа из семи частей «Семь дней творения». Судьбы его двух братьев, дочери Антонины и внука Вадима играют тоже немаловажную роль. Десятки, если не сотни, первостепенной важности персонажей и других, как будто случайных пришельцев, наполняют это монументальное произведение. Перед нами проходит жизнь нашего народа, жизнь людей, взятых из самой народной гущи, людей обыкновенных и необыкновенных, слабых и волевых, коммунистов, лжекоммунистов и антикоммунистов.

Максимов, затрагивая на страницах своей книги самые разнообразные вопросы подсоветской жизни, заставляет читателя не раз задуматься над непостижимой тайной души русского человека. Вот, например, вечный, неразрешенный вопрос: что представляет собой русский крестьянин? Кто он? Богоносец, мужик Марей, Платон Каратаев, солженицынский Иван Денисович или Спиридон, или жестокий, примитивный мужик бунинской «Деревни»? Ветеринар Бобошко говорит: — «Вот вам мужик русский в полной красе. Нету у него, у этого мужика берегов. Убили человека словно муху, а теперь жалеть будут, нудиться, пьянку, глядишь, по этому поводу затеют мертвую... Что ни говори, а чего только в российской голове не намешано!»

И мужик, и рабочий, и интеллигент пьянствуют. Пьянствуют, чтобы заполнить пустоту существования. Пьют стаканами, при малейшей okazji, пьют, собирая на бутылку последние медяки, пьют теперь, как пили и при Сталине. «Кругом тоска белая...». «На хлеб нету, а на водку всегда найдут». Пьют, ибо народ испытывает «гложащее чувство обреченности».

Вопрос церкви, религии, верующих — одна из важных тем книги Максимова. Показаны жуткие картины разрушения и осквернения храмов (загон скота во время эвакуации в 1941 году). Интересно, что верующие всегда изображены не какими-нибудь полоумными кликушами или юродивыми, а людьми с высокими этическими устоями, людьми честными, трудовыми, готовыми отречься от жизненных благ во имя истинно христианских чувств. Верующий Гупак своим умом, спокойствием и твердостью убеждений привлекает к себе, в конце концов, закоренелого атеиста, Петра Лашкова.

В широкой панораме жизни России Максимов старается ничего не упустить. Он касается и истоков антисемитизма, и стремления евреев покинуть Совсоюз, и взяточничества, и конфликта между

молодым и старым поколением, и страдания детей арестованных родителей, детей, которых везут куда-то в ссылку в обмотанных колючей проволокой вагонах. — «Он [Петр Лашков] никак не мог взять в толк всего случившегося: «Детей-то, детей-то зачем? Какая за ними вина?» Ответ напрашивался сам собой, но согласиться, с ним — с этим ответом — у Петра Васильевича не хватало ни мужества, ни готовности. «Зачем же я жил тогда!» — отгонял от себя соблазн сомнения, мысленно протестовал он».

Сильно описаны сцены арестов от простого рабочего до царского полковника Козлова, показанного рыцарем без страха и упрека. В женщине в черном шелковом платье мы узнаем А. Ахматову, но только не в очереди перед тюрьмой на Крестах в Ленинграде, а в Бутырской тюрьме. Не забыт и русский эмигрант из Франции, вернувшийся в Советский Союз и отсидживающий срок за сроком. Тепло выведен бывший корниловец, ветеринар Бобошко. Жалок, глуп и гнусен сексот Никишкин.

Все эти мечущиеся, страдающие, прожигающие жизнь люди связаны одним общим, исконно русским стремлением: жить по справедливости, по совести. Несмотря на преобладание мрачных явлений подсоветской жизни, книга отнюдь не оставляет впечатления обреченности и безнадежности судьбы России. Степан Цыганков, в прошлом бунтарь, вор и пьяница, становится странником. Исходив всю Россию, он нелегально навещает Москву и встречается тайком с Василием Лашковым: «Старцы говорят, что всегда эдак у нас: верх — сам по себе, низ — сам по себе... И током мы — спервоначалу перетряхнутые — уже ни к селу, ни к городу... А другой чудак сел наверху и тешится: распотрошил Рассею. А она, родимая, токмо и сделала, что замутилась, и сизнова текет, как сто лет тому...».

И вот на восьмом десятке лет, мучимый сомнениями и противоречиями, коммунист Петр Лашков видит и сознает всю пустоту, ничтожность и ложность пройденного пути: — «Правда, видно, не в чужом огороде прячется» — его мысли текли умиротворенно и ровно, — «а в нас самих. Верно Гупак говорит: Тот Христос не хлеб — душу свою делил, потому всем хватило. Чужое раздать нехитро, ты своим поделись. Надо полагать, куда труднее будет. Вон Гусев в разговорах справедливости не ищет, — делом занят, ремеслом. Помрет — работа его после него останется. А от меня что? Что останется? Одно пустое сотрясение воздуха? Спеши, Лашков, торопись, куда дух вон не вышел».

Последняя глава, еще не написанная, только озаглавлена: «И наступил седьмой день — день надежды и воскресенья...» В связи с этим невольно приходят на ум заключительные слова из «Преступления и наказания»: — «Но тут уж начинается новая история...

Это могло бы составить тему нового рассказа, — но теперешний рассказ наш окончен.»

Язык Максимова прекрасный. Собственный, чистый, порой оригинален, современен, но не перегружен новаторством. Язык его персонажей необыкновенно богат, эластичен, народен. Советский жаргон сливается с многообразием русского просторечия. Книга сорокалетнего В. Максимова, выросшего в детдоме, окончившего фабрично-заводскую школу, наказанного уже сумасшедшим домом, ценное и большого значения явление в русской литературе.

Оберлин, Охайо

Сергей Крыжицкий

В. Злобин. Тяжелая Душа. Изд. Русск. книжн. дела В. Камкина. Вашингтон. 1970 (141 стр.).

Чужая душа — потёмки. Кроме души поэта, который освещает свою душу словом изнутри — и для себя, и для других. В этом — слово и дело поэта. И, пожалуй, душа в этом деле важнее слова: хитросплетённые слова читатели прочитают, почитают, подивятся, а потом забудут, если эти слова — без соответственного душевного покрытия. Но что делать, если душа поэта тяжелая, тёмная, может быть, тёмная прежде всего для него самого? Тогда нужно, чтобы кто-то, кто эту душу знает до потайных её уголков, объяснил нам «самое Главное» в этой «тяжелой душе».

Именно таким объяснением является книга В. Злобина о Зинаиде Гиппиус. Автор был близким другом четы Мережковских. Видно, что он любил этих двух своеобразных и столь разных людей; но книга написана с любящей беспощадностью. Почему был беспощаден В. Злобин к самым интимным сторонам тяжелой души поэта Зинаиды Гиппиус? Да потому, что поэту нужно быть беспощадно откровенным с самим собой, а поэт Зинаида Гиппиус, чрезвычайно щедрая на слова и в письмах, и в дневниках, заботливо скрывает за этими обильными словами свое «самое Главное». Зинаиду Гиппиус нельзя упрекнуть в многословии в стихах: её стихи отточены по форме, с заострением главной мысли, часто по-лермонтовски соединяющей два противоположных момента. Но зашифрованы эти стихи как секретная дипломатическая корреспонденция. Прежде всего, почти все стихотворения написаны в мужском роде. Они абстрактны: в них очень много от ума. Но в них чувствуется также напряженная — и заботливо скрытая — эмоциональность.

В свое время Зинаида Гиппиус была заметным представителем «Серебряного Века»: отдавали должное её оригинальности (и упрекали в оригинальничаньи), и очень считались с её острым языком в критических статьях, подписанных псевдонимом «Антон Крайний»,

но всё же не ставили её стихов вровень со стихами поочередно сменявшихся «властителей дум»: Бальмонта, Брюсова, Белого, Блока.

Но теперь наступает переоценка ценностей и возникает интерес и к стихам, и к личности этого поэта. Здесь достаточно указать на работы Темиры Пахмусс, на публикации отрывков из дневников и прозы самой З. Гиппиус. В. Злобиным дано перечисление работ о З. Гиппиус в предисловии к книге.

Злобин без обиняков называет стихи Мережковского слабыми. А про Гиппиус говорит: «Но главное — стихи. Вот её настоящая автобиография. В них вся её жизнь, без прикрас, со всеми срывами и взлетами. Но надо уметь их прочесть. Если нет к ним ключа, лучше не трогать: попадешь в лабиринт, из которого не выбраться».

Что же скрывалось за сугубой интеллектуальностью несомненно хороших стихов Гиппиус, стихов, которым не хватает — внешне — доводящей их до читателя эмоциональности?

Злобин рассказывает нам об этой буре «за зеркалами». Книга вскрывает отношения Гиппиус к мужу, Дмитрию Мережковскому, к любимому ей Дмитрию Философову, и её религиозные устремления — в которых её «тяжелая душа» как-то смешивала образ Христа и добра с образом дьявола и зла. Пусть то и другое кажутся нам теперь путаньем в словах, интеллектуальным фантазированием, но для самой Гиппиус эти фантазии были источником самого реального страдания. Должно ли и можно ли рассказывать всё это, пользуясь не только стихами и мемуарами, но и дневниками и письмами?

В предисловии Злобин касается этого вопроса, своих сомнений и своего решения всё-таки поведать читателю то, что ему самому известно. Он принимает решение: «...невзирая на критику, по существу благожелательную, моя книга о Гиппиус выйдет без единой купюры, ни одного слова не будет из неё выкинуто или заменено другим».

Здесь можно только наметить основные линии повествования Злобина о «тяжёлой душе»: прежде всего Зинаида Гиппиус была натурой не только интеллектуальной, но и наделённой страстью доминировать. И её встречи и с Дмитрием Мережковским, и с Дмитрием Философовым, были, как она сама их определила, «провиденциальными». Она искренне и сильно любила — обоих и одновременно. Оба они были как раз её прямыми дополнениями, но по-разному, — натурами слабовольными и пассивными. Злобин утверждает, что Мережковский, обладавший колоссальной эрудицией и неутомимой книжной работоспособностью, получал свои основные религиозно-философские идеи от Зинаиды Гиппиус, причем она умело оставалась в тени. Философова же надо было «обращать в свою правду» и «спасать» — и от него же самого, и от его дворянского брата Дягилева, и от Савинкова, и от постоянного желания Филосо-

фова освободиться от влияния Гиппиус. Это — в плоскости житейской.

В плоскости же религиозной — выплывает лик дьявола, чорта — или Демона? Недаром в стихах Гиппиус проскальзывают нотки из Лермонтова. Злобин задает вопрос: а была ли счастлива Тамара потом, в раю, без своего Демона? И, вот, Тамара — или Зинаида? — хочет оправдания дьявола и объяснения его сущности. Здесь Злобин воссоздает исходную точку чувства «тяжёлой души»: «...ибо не в спасении дьявола тайна, а в его падении, в том *почему* он пал, кто он на самом деле. Этим всё решается». В одном из своих рассказов («Он — белый», в сборнике «Лунные муравьи») З. Гиппиус дает свой ответ: в начале мира дьявол добровольно взял на себя бремя зла. Здесь Злобин говорит: «Это, собственно, даже не догадка, а мечта. И мечта опасная. Но Гиппиус, повидимому, не сознавала того, что делает, потому что её белого дьявола *нельзя не любить*». По словам Злобина, в религиозно-философских кружках Петербурга Гиппиус звали: «Белая Дьяволица».

Тамара «...страдала и любила, И рай открылся для любви». З. Гиппиус в письме к Философову: «...а это холод — холод сгущенного воздуха, и бытие — как бытие в Дантовом аду, знаешь, в том ледяном озере...» Тут *ад* «открылся для любви». А вот и стихи:

Будь счастлив, Дант, что по заботе друга,
В жилище мертвых ты не все узнал,
Что спутник твой отвел тебя от круга
Последнего. Его ты не видал.
И если б ты не умер от испуга,
Нам все равно о нем бы не сказал.

Комментарий Злобина: — «Из этого явствует, что в ад она заглянула глубже, чем Дант. О том же, что ей в последнем круге открылось, она молчит». Что остается нам, читателям? Мы не судьи, мы читатели. Нам остаются стихи. Книга Злобина открывает нам душу написавшего их поэта.

Борис Нарциссов

Half a Century of Russian Serials, 1917-1968. Cumulative Index of Serials Published Outside the USSR. Compiled by Michael Schatoff. Edited by N. A. Hale. Part III, 1917-1956. S-Z. Supplement and Directories. Russian Book Chamber Abroad, New York, 1972.

Вышел третий том библиографического указателя по русской зарубежной периодической печати — «Полвека русской периодики. 1917-1968». Этим томом заканчивается первая часть, охватывающая период с 1917 по 1956 год. В четвертом томе будут приведены издания 1957-1968 гг.

Следует сразу отметить, что этот труд Русской Зарубежной Книжной Палаты, составителем которого был М. В. Шатов и редактором — Н. А. Хэйл, высоко оценен американскими специалистами. Журнал «Чойс», орган американских научных и университетских библиотек, поместил первый том в списке наиболее выдающихся новинок за 1970 год, в отделе справочных и библиографических книг. Журнал «Новейшие книги для научных библиотек» в номере за апрель т.г., в отделе «Библиография и библиотечное дело», рекомендует тома 2-й и 3-й.

Указатель напечатан по-английски. Транслитерация дана по правилам Библиотеки Конгресса. Зарегистрированы альманахи, бюллетени, газеты, ежегодники, журналы, календари и т.д., выходившие на русском языке вне Советского Союза, а после Второй мировой войны — вне блока коммунистических государств. Включена также периодика, выходившая на территории Советского Союза, оккупированной Германией и Румынией во время Второй мировой войны.

О каждом издании приведены, по мере возможности, следующие данные: издательство, редактор, место выхода, год выпуска первого номера, количество выпущенных номеров, способ печати (есть даже рукописные). В третьем томе помещены данные о 860 изданиях и дополнительный список из 121 названия — сведения о них поступили во время печатания указателя.

Третий том кончается № 3182, но в нескольких, немногих случаях под одним и тем же номером зарегистрированы по два издания. Таким образом, в указатель внесено около 3.200 русских периодических изданий, выходивших вне Советского Союза с 1917 по 1956 год.

В конце третьего тома дана их классификация по разным признакам. Сначала они распределены по темам. Обращает на себя внимание большое количество изданий религиозных, философских и военных, но немало и экономических, юридических и других. Затем дано распределение по историческим периодам. За ним следует список издателей и редакторов. В нем около 1400 имен. Каждое имя снабжено номером или номерами, по которым легко найти соответствующие издания. Мелькают знакомые имена. Большинства уже нет на свете. Все они, или почти все, думали о России, трудились для России и упокоились в чужой земле.

Дано распределение периодических изданий и по странам. Наибольшее количество падает на Германию — около 500. Затем в нисходящем порядке — Франция, Соединенные Штаты, Китай, Чехословакия. Как это ни странно, места наибольшего скопления русских — Югославия, Болгария, Польша, Латвия, Литва, Эстония — значительно отстают количественно от перечисленных выше. В Индии, Иране, Ливане, Норвегии и Эфиопии вышло по одному изданию, на

оккупированной Германией и Румынией территории Советского Союза — 85.

Возможно, что некоторые малоизвестные издания в указателе не были отмечены. Есть, вероятно, в нем и ошибки. Но упущенное будет восполнено, ошибки — исправлены. Главное — М. В. Шатов и Н. А. Хэйл проделали огромную кропотливую работу, проделали по собственной инициативе и почти без чьей-либо помощи. И в результате появился основоположный труд, без которого уже не смогут обойтись исследователи и историки единственного в своем роде государства без территории и правительства — Зарубежной России.

Ю. Сречинский

М. Каратеев. Арабески истории. Очерки. Издание автора. Буэнос Айрес, 1971 (222 стр.).

Имя М. Д. Каратеева хорошо известно русским читателям, главным образом, по его исторической эпопее «Русь и Орда», рисующей взаимоотношения тогдашней, еще удельной Руси с начинающей уже распадаться Ордой. В противоположность установившемуся, так-сказать, стандартному взгляду на подчинение Руси Орде, как на абсолютное историческое зло, Каратеев видит в этом длительном историческом явлении и некоторые положительные стороны в смысле объединения раздробленной Руси в национальное государство; при этом он рисует татар и Орду без сгущения темных красок. Несомненно, что в Орде были жестокости и созидание ордынских империй совершалось грубой силой. Но это был 14-ый век, а этот век был, как, увы! и последующие, озаменован такими же, если не большими жестокостями и на Руси, и на Западе. Тут следует отметить исключительное уважение татар к религиям покоряемых ими народов.

Объективное отношение и представление о нашем прошлом может только помочь правильно подойти и к наследию этого прошлого — нашему настоящему. К 19-ому веку, те же народы на той же территории образуют одно государственное целое — с той разницей, что это государственное целое ведут народы русско-славянские, а не монголо-тюркские. Но по переписи 1970 года последние уже сейчас составляют одну пятую славянского населения, являясь притом коренными жителями одной четвертой общей территории России, причем ежегодный прирост народов мусульманской группы в четыре раза превышает прирост славянской.

В предисловии к своей книге Каратеев говорит по поводу вышеприведенных им там же данных: «Это обязывает нас к основательному знакомству с Востоком, а вместе с тем исторические

познания о нём у рядового русского человека ничтожны по сравнению с тем, что он знает о Западе...» И далее: «Эти данные красноречиво говорят о том, что мы не имеем права игнорировать историю наших мусульманских сограждан или, что еще хуже, покоиться на совершенно неверных, часто даже предвзятых представлениях как об этой истории, так и о тех духовно-религиозных основах, на которых выросли народы ислама, их мироощущение, традиции и культура».

М. Каратеев основательно знаком и с русскими летописями, и с подлинниками восточных источников. Это определяет его широкий исторический кругозор.

Из десяти очерков отчетной книги восемь посвящены так или иначе Востоку: исламу и взаимоотношениям Руси и татар. Очерк «Магомет и ислам» дает подробную характеристику положения дел в Аравии в 6-ом веке по Р. Х., жизнеописание Магомета (правильнее Мухаммеда), его проповеди и содержание его учения, с дальнейшим развитием ислама при преемниках Магомета в 7-ом веке. Очерки «Коран» и «Мусульманская Сунна» информируют читателя о создании и содержании этих священных книг ислама. Очень интересен очерк: «Исмаилиты и ассасины», в котором дается история возникновения и намечается содержание тайного учения секты исмаилитов. В этом учении положения ислама соединялись с древней религией персов — учением Зороастра, а также с философией Аристотеля и позднейшим гностицизмом. В дальнейшем, в 11-ом веке, остатки исмаилитов образовали могущественный тайный орден ассасинов под владычеством «Старца Горы», которому беспрекословно повиновались, идя на верную смерть, юноши «федави» — «жертвующие собой за веру». Они готовились к своей миссии приёмами гашиша — по арабски — «хашшашин». Крестоносцы, которым они наносили весьма чувствительные потери, стали называть членов этого ордена в своем искаженном произношении: «ассасин».

Взаимоотношениям Руси и татар посвящены очерки «Русь и татары» и «Казанское царство». В заключении первого из этих очерков Каратеев говорит: «И если татарское нашествие в свое время принесло Руси много зла и бедствий, то они в какой то мере искупились богатым наследием, оставленным нам татарами и тем полновесным вкладом, который татарские выходцы и их потомки внесли в дело защиты России и в развитие её культуры».

Второй очерк описывает историю Казанского царства, в котором с самого начала его возникновения боролись две партии: про-московская и про-турецкая, поддерживаемая также и крымским ханом. Постоянные убоицы в этом царстве, сопровождаемые нападениями на Москву, заставили Иоанна Грозного окончательно взять это царство под свою руку.

Несколько в стороне от главной темы стоят очерки о зулусском диктаторе Чака, объединившем жестокими мерами племена зулусов в начале 19-го столетия.

В конце книги приложены династические таблицы, позволяющие читателю легко ориентироваться в сравнительной хронологии событий на Западе, Руси и Востоке. Как всегда, язык Каратеева жив и образен и его очерки читаются с большим интересом.

Борис Нарциссов

КНИГИ ДЛЯ ОТЗЫВА

- З. Н. Гиппиус. Литературный дневник. (1899-1907). Изд. Финк Ферляг. Мюнхен. 1970 (453 стр.).
- Валерий Брюсов. Огненный Ангел. Вступл. Бригитты Фликингер. Изд. Финк Ферляг. Мюнхен. 1971 (371 стр.).
- Ольга Биринцова. Благодарность. Стихи. Париж. 1971 (42 стр.).
- William W. Rowe. Nabokov's Deceptive World. N. Y. University Press. N. Y. 1971 (p. 193).
- Ewa M. Thompson. Russian Formalism and Anglo-American new Criticism. Mouton. Indiana University. The Hague-Paris. 1971 (p. 161).
- Robert C. Williams. Culture in Exile. Russian Emigrés in Germany (1881-1941). Cornell University Press. Ithaca and London. 1972 (p. 104).
- Abraham Rothberg. The Heirs of Stalin. Dissidence and the Soviet Regime, 1953-1970. Cornell University Press. Ithaca and London. 1972 (p. 450).
- Catofy the Clever by Cynthia Jameson, illustrated by Wallace Tripp. Coward, McCann and Geoghegan, Inc. N. Y. 1972.
- Ivan Ivanovich Gapanovich. Biographical outline and bibliography by V. N. Jernakov. University of Melburn. 1971 (p. 7).
- Protopresbyter George Grabbe. The Canonical and Legal Position of the Moscow Patriarchate. The Russian Ecclesiastical Mission in Jerusalem. 1971 (p. 54).
- Abraham Rothberg. Aleksandr Solzenitsyn. The Major Novels. Cornell University Press. Ithaca, N. Y. 1971 (p. 215).
- Kees Verheul. The Theme of Time in the Poetry of Anna Akhmatova. Mouton. The Hague-Paris. 1971 (p. 230).
- Вл. Варшавский. Ожидание. Изд. ИМКА-Пресс. Париж. 1972. (303 стр.).
- Андрей Амальрик. Статьи и письма (1967-1970). Фонд им. Герцена. Амстердам, 1971. (100 стр.).
- Ольга Жигалова. Шалая Кассандра. Изд. кн. магазин В. Камкина. Вашингтон, 1971 (329 стр.).

- Г. Нео-Сильвестр*. На буреломе. (Воспом. русск. журналиста). Изд. «Посев», Франкфурт/М. 1971 (140 стр.).
- Святослав Малевский-Малевиц*. СССР сегодня и завтра. Введение проф. А. Авторханова. Париж. 1972 (184 стр.).
- Сергей Шаршун*. Без себя. Скучная проза. Изд. «Вопрос». Париж. 1972 (84 стр.).
3. *Аксеновская*. Хрустальный звон. Стихи. Изд. «Сеятель». Буенос-Айрес, 1972 (101 стр.).
- Зинаида Гиппиус*. Стихотворения и поэмы. Том 1: от 1899-1918. Том 2: 1918-1945. Под редак. и с вступл. проф. Темиры Пахмусс. Изд. Вильгельм Финк. Мюнхен. 1972 (437-565 стр.).
- Протопресвитер Георгий Граббе*. Отрицание вместо утверждения. (По поводу брош. арх. И. Шаховского). Джорданвилль. 1971. (24 стр.).
- Ж. А. Медеведев*. Международное сотрудничество ученых и национальные границы. Тайна переписки охраняется законом. Изд. Макмиллан. Лондон. 1972 (597 стр.).
- Петр Якир*. Детство в тюрьме. Мемуары. Изд. Макмиллан. Лондон. 1972 (151 стр.).
- Лея Надеждина*. Стихи. Конарос Афины.
— Друзьям. 1971 (30 стр.).
— Часы. Стихи. Афины. 1970 (31 стр.).
- Г. Солдатов*. Арсений Мацеевич. Митрополит Ростовский, 1696-1772. Предисл. Е. Магеровского. 1972 (130 стр.).
- Н. Арсеньев*. О Достоевском. Четыре очерка. Изд. «Жизнь с Богом». Брюссель. 1972 (64 стр.).
- Н. Альникин* (Борис Незлобин). Рифмованные кончики. Казачьи думы, песни о родине, 1915-27-ых гг. Париж. 1960 (95 стр.).
- Yevgeny Zamyatin*. We. Translated by Mirra Ginsburg. The Viking Press. New York, 1972 (pp. 204).
- Alexandra and Sverre Lynstad*. Ivan Goncharov. Twayne Publishers, Inc. New York, 1972 (pp. 184).
- Tatiana Loguine*. Goncharova et Larionov. Cinquante ans Saint Germain-des-Pres. Klincksieck. Paris, 1971 (pp. 240).
- Half a Century Serials*. 1917-1968. Part II. Compiled by M. Schatoff. Edited by N. Hale. Russian Book Chambers Abroad. New York, 1971 (pp. 355).
- Gica Bobich*. Les Problèmes de notre temps vus par. N. S. Timasheff. Fondation Européenne Dragan. Rome, 1971 (pp. 24).

- Edward L. Keenan.* The Kurbskii—Groznyi Apocrypha. The Seventeenth Century Genesis of the "Correspondence" attributed to Prince A. M. Kurbskii and Tsar Ivan IV. Harvard University Press. Cambridge, 1971 (p. 241).
- Nadejda Mandelstam.* Contre tout espoir. Souvenirs. Préface de Michel Aucouturier. Traduit du Russe par Maya Minoustchine. Gallimard. Paris, 1972 (p. 437).
- Meyer Galler & Harlan E. Marquess.* Soviet Prison Camp Speech: a survivor's glossary. The University of Wisconsin Press. Madison. 1972 (p. 216).
- Vasily Rosanov.* Dostoevsky and the Legend of the Grand Inquisitor. Translated and with an afterword by Spencer E. Roberts. Cornell University Press. Ithaca, 1972 p. 232).
- Abbott Gleason.* European and Muscovite, Ivan Kireevsky and the Origins of Slavophilism. Harvard University Press. Cambridge, Mass. 1972 (p. 376).
- California Slavic Studies.* Vol. VI. R. P. Hughes, S. Karlinsky, V. Markov—Editors. California Press. Berkeley, 1971 (p. 175).
- Vera Inber.* Leningrad Diary. Trans. by Serge M. Wolff and Rachel Grieve. St. Martin's Press. 1971 (p. 207).
- Józef Mackiewicz.* W Cieniu Krzyża. Kontra. Londyn. 1972 (194).
- Роман Гуль.* К вопросу об «автокефалии». Изд. автора. Нью Йорк. 1972 (32 стр.).
- И. Ежов и Е. Шамурин.* Русская поэзия XX века. Антология русской лирики от символизма до наших дней. «Новая Москва». М. 1925. Перепечатано изд. Вильгельм Финк Ферляг. Мюнхен. 1972 (671 стр.).
- Лидия Чуковская.* Спуск под воду. Повесть. Изд. Имени Чехова. Нью Йорк. 1972 (131 стр.).

Роман Гуль
«ЧИТАЯ 'АВГУСТ 1914-го'
А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА»

С ПОРТРЕТОМ СОЛЖЕНИЦЫНА

Первый подробный разбор знаменитого последнего романа
А. И. СОЛЖЕНИЦЫНА

Цена 1 дол. 50 ц. Книготорговцам обычная скидка

Заказы направлять:

RAUSEN PUBLISHERS AND DISTRIBUTORS,
124 West 72 Street, New York, N. Y. 10023 Tel. (212) 874-1547



Роман Гуль
К ВОПРОСУ ОБ «АВТОКЕФАЛИИ»

Содержание: Послания четырех патриархов, отвергающие законность «автокефалии». — Подрывная работа в Мировом Совете Церквей — Что дали два года «автокефалии»? — Великопостное письмо А. И. Солженицына патриарху Пимену (полный текст).

Цена 1 долл. Книготорговцам обычная скидка.

Заказы направлять по адресу «Нового Журнала»
“The New Review,” 2700 Broadway, New York, N.Y. 10025

Н О В Ы Й Ж У Р Н А Л

под редакцией
РОМАНА ГУЛЯ



ТРИДЦАТЬ ПЕРВЫЙ ГОД ИЗДАНИЯ



В 1972 году выйдут ЧЕТЫРЕ КНИГИ



Подписная цена на 1972 год 15 долларов
(за 4 книги)

Цена одной книги — 4 доллара
Во Франции — 15 франков



ЗАКАЗЫ АДРЕСОВАТЬ В КОНТОРУ
«НОВОГО ЖУРНАЛА»

THE NEW REVIEW, 2700 BROADWAY
NEW YORK, N.Y. 10025

Телефон редакции и конторы: МО 6-1692

Прием по делам редакции и конторы — ежедневно,
кроме праздников и суббот, от 5-ти до 6-ти час. дня
